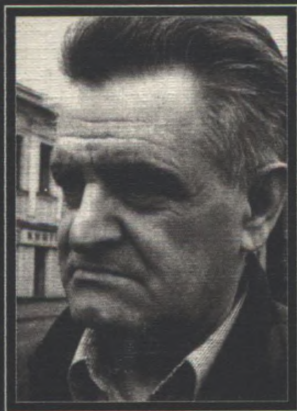


# ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР



## *Софичка*



# ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

*Софичка*

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

М О С К В А

• В А Г Р И У С • 1 9 9 7

**УДК 882-32**  
**ББК 84Р7**  
**И86**

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ**  
**ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**  
**ВСЕЙ КНИГИ**  
**ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ**  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
**БЕЗ ПИСЬМЕННОГО**  
**РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ**  
**НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА**  
**БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ**  
**В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

**ISBN 5-7027-0443-6**

© Издательство «ВАГРИУС», 1997

© Ф. Искандер, автор, 1997

© Е. Вельчинский, дизайн серии, 1997

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Софичка. *Повесть* 7

Пшада. *Повесть* 171

### РАССКАЗЫ

Терем-теремок. 253

Молодой архитектор и красotka 260

Жил старик со своею старушкой 271

Авторитет 277

Мальчик и война 291

Веселый убийца 303

Золото Вильгельма 308

Мимоза на Севере 348

Пастух и косуля 384

Пламенный мечтатель и тиран 406

Влюбленная парочка 417

Светофор 424

Милосердие 426

Палач 428

Женщина со свечой и опущенными глазами 431

У горящего очага 432

Взгляд 434

Мавзолей 437

Бахус и Бах 439

Убивающий 441

Скорбь 443

Эксперимент 446

Сталин и Вучетич 448

Сон 451

Олады тридцать седьмого года 459

Моцарт и Сальери. *Статья* 465

Воспоминание о романе. *Статья* 480



# Софичка

ПОВЕСТЬ

---

---

Был чудный сентябрьский день. Софичка, девятнадцатилетняя чегемская девушка, сидела на взгорье у выхода из каштановой рощи и отдыхала, погруженная в томительные раздумья. Она сидела опершись спиной о могучий серебристый ствол поваленного бука. Рядом с ней стояла плетеная корзина, наполненная ежевикой, и солнечные лучи мерцали и дробились на иссиня-черных зернистых ягодах.

Еще невысоко над горами поднявшееся светило приятно припекало ее голые ноги, обутые в дешевые парусиновые башмачки, нежным теплом прикасалось к ее телу, проникая в него сквозь легкое ситцевое платье, и Софичка блаженно цепенела от этих прикосновений. Ее темные лучистые глаза на смуглом лице, обычно сияющие навстречу всему живому неистощимым светом, были сейчас приглашены поволокой раздумья.

Вокруг нее стрекотали кузнечики, гудели шмели, пахло усыхающей травой, папоротниками, пригретой землей. Перед ней чуть пониже простирались заросли папоротников и азалий, а дальше начиналась холмистая местность, зеленеющая травой и желтеющая под кукурузными полями.

Слева от нее, громоздясь друг над другом, поднимались синеющие горы, а над горами вздымались хребты, вершины которых врезались в голубизну неба, сверкая аппетитным свежавыпавшим снегом.

Справа, плавно опускаясь, зеленые холмы переходили в прибрежную низменность, закутанную в сиреневую дымку, прорезанную блестящими гибкими рукавами Кодора и кончающуюся призрачной стеной моря с неподвижным черным силуэтом парохода, как бы висящим в воздухе. Оттуда дул ровный прохладный ветерок.

Над холмами с утра со стороны Кубани пролетали коршуны. То огромными стаями, то запоздалыми одиночками, они летели, устало взмахивая крыльями, иногда подолгу кружась на одном месте, изредка опускаясь на деревья, и постепенно пролетали куда-то дальше в сторону Батуми. С холмов доносились негромкие хлопанья выстрелов, лай и взвизги разгоряченных собак. Там с утра бродили охотники на коршунов, диких голубей и перепелок.

Жители западного края Чегема, где жила Софичка, никогда не охотились на коршунов, считая их несъедобными птицами, и посмеивались над жителями восточного края Чегема, которые охотились на коршунов и находили их мясо вполне съедобным. Они, в свою очередь, посмеивались над жителями западной части села за их упрямое нежелание признавать коршуна съедобным. Жители западной части Чегема, находясь в гостях у жителей восточной его части, зорко следили, чтобы их случайно, а то и нарочно, в насмешку не угостили этой пролетной российской птицей. А те так и норовили подсунуть им коршунятину под видом индюшатины.

В сущности, Софичка в этом месте вышла из лесу, где собирала ежевику, со смутной надеждой встретиться с одним из охотников на коршунов, Роуфом. Софичка была в него влюблена, хотя сама себе в этом не признавалась. Она влюбилась в него прошлым летом, когда на большом дворе сельсовета проводились праздничные игры.

Играли в мяч. Тряпичный мяч оспаривали две команды из равного количества игроков. Суть игры со-

стояла в том, чтобы, схватив мяч, пробежать с ним до края поля, принадлежащего противнику, и шлепнуть им по забору, ограждающему двор сельсовета.

На того, кто схватил мяч, наваливались игроки противной команды, стараясь отнять его. Мяч можно было вышибать из рук противника, выдергивать, вырывать. А самого противника разрешалось тянуть за руки, за ноги, валить его на землю, и только нельзя его было бить. И на том, как говорится, спасибо.

Женщины, девушки, мужчины, старики, дети — словом, все, кто не принимал участия в игре, сидели у края поля, следя за игрой и криками подбадривая своих родственников и близких.

Софичка сидела в этой толпе в праздничном крепдешиновом платье и красных городских туфлях, которые, кстати, ужасно давили ей ноги. Увлеченная игрой, она забыла об этом и во все глаза следила за тем, что происходит на поле.

Вдруг игроки сгрудились посреди лужайки, некоторые повалились на землю, некоторые пытались оттолкнуть друг друга, некоторые напрыгивали сверху на сцепившуюся массу тел, и совершенно невозможно было понять, у кого в руке мяч.

И когда азарт зрителей дошел до предела, из массы тел высунулась голова, а потом грудь в синей майке. И на долгое мгновение игрок замер, напряженно наклонившись вперед, с мощно вздувшимися мышцами плеча, с выпукло натянувшей майку грудью, с блестящими зубами оскаленного рта, и было волнующе непонятно, сумеет ли он вырваться из обхвативших его со всех сторон рук и ног или рухнет назад в эту свалку.

— Роуф, рванись! — вдруг резко выкрикнул из толпы зрителей старый Хасан и с силой всадил свой посох в землю. Это он так взбадривал своего сына.

И Роуф, словно конь, огретый камчой всадника и одним прыжком одолевающий уносящий его поток, вырвался из свалки, проволочив несколько метров



вцепившегося в его ногу игрока, сошвырнул его и кинулся к условным воротам противника. Игроки с гиканьем пустились за ним, но догнать его уже никто не мог. Подбежав к краю поля, он с налету вlepил мяч в забор, ограждающий двор сельсовета.

Возвращаясь домой после праздничных игр вместе с другими девушками своего края села, Софичка, держа в руках красные городские туфли и быстро переступая босыми ногами, вполуха слушала веселую болтовню подружек. Перед ее глазами так и стояло наклоненное вперед напряженное тело Роуфа с мощно вздувшимися мускулами плеча, с выпуклой грудью, обтянутой синей майкой, и оскаленным белозубым ртом. Вечером во время ужина в Большом Доме вспоминали подробности дневных игр возле сельсовета. Софичка была внучкой брата старого Хабуга. И дед, и отец, и мать у нее давно умерли, и она вместе со своим братом воспитывалась в доме старого Хабуга.

— Ну и силен этот коршуноед Роуф, — сказал брат Софички, — хотел бы я с ним схватиться когда-нибудь.

Звали его Нури. Он был очень задиристым и горячим парнем. Услышав слова брата, Софичка вспыхнула, сама не зная почему. Слава Богу, никто ничего не заметил.

В ту ночь Софичка плохо спала. Ей все мерещились эта игра, крики зрителей, беготня и свалка полураздетых парней, и напряженно выжимающееся из этой свалки тело Роуфа, и крик старого Хасана, вонзившего посох в землю, и рванувшееся после этого крика тело Роуфа, проволочившего вцепившегося в него парня.

С того дня что-то странное произошло с Софичкой: ей всюду мерещился Роуф. Раньше ей никогда ни один парень не мерещился. Она никогда не думала, что ей может примерещиться какой-нибудь парень. Тем более она не думала, что ей может примерещиться кто-нибудь из коршуноедов.

Но так получилось, что она сначала восхитилась силой и мужеством, с которыми он вырывался из толпы, потом он стал ей мерещиться, а потом уже брат напомнил, что он из коршуноедов. Если б она сразу об этом вспомнила, может быть, он и не стал бы ей мерещиться. Но теперь уже было поздно об этом думать. Теперь ей ужасно хотелось его увидеть и понять, отчего он ей мерещится. Ей казалось, что, если она его увидит, она поймет, отчего он ей мерещится, и он перестанет ей мерещиться.

Дней через десять Софичка вместе с девушками и женщинами своей бригады с пустыми корзинами в руках возвращались из табачного сарая, куда носили табак после ломки. И вдруг он им встретился на тропинке. Увидев их, остановился. Широкогрудый, высокий, перепоясанный тонким абхазским поясом, он стоял с густо облепленной черными глянцевыми ягодами веткой лавровишни в руке. Светлые глаза его на загорелом лице блестели, рот улыбался. Он стоял на тропе, готовясь пропустить их мимо себя, и взгляд его упал на Софичку, и рот его, сверкнув белыми зубами, еще шире растянулся в улыбке. Софичка почувствовала, что сейчас он ей что-то скажет, и ей стыдно стало, что ее платье замазучено черным соком табачных листьев и от него же ее ладони черны. И она, слегка прикрываясь корзиной, прошла мимо, чувствуя на себе его улыбающийся взгляд.

— До чего же ты миленькая, Софичка, — сказал он, выплевывая косточку лавровишни, — так бы тебя и съел.

Софичка покраснела, девушки прыснули, а когда они прошли несколько шагов, одна из них быстро обернулась и дерзко крикнула:

— А мы-то думали, что вы одних коршунов едите!

Тут девушки взорвались смехом и стали оглядываться, чтобы понять, какое впечатление произвели

на Роуфа слова их подружки. Судя по тому, что он, улыбаясь, продолжал смотреть им вслед, он не обиделся. После этого они всю дорогу до самой плантации обсуждали это происшествие.

— Вот тебе и блажененькая, — говорили они, — какого коршуноеда сглазила.

Считалось, что Софичка слегка не в своем уме. Очень уж она была доброй. Чегемцы, как и прочее человечество, не привыкли к такой дозе необъяснимой доброты.

Низко склонившись к табачным стеблям, Софичка быстрыми пальцами ломала табак и думала об этой встрече и его словах. Она не слишком понимала, что означает его шутка, но радость, струящаяся в ней, сейчас сама подсказывала, что слова его сулят что-то таинственное, сладостное, счастливое. Выходит, он ее заметил тогда на играх, когда она была в праздничном платье и новеньких городских туфлях? Или раньше когда приметил?

В следующий раз они встретились в доме охотника Тендела на пирушке, устроенной по случаю возвращения его внука из армии. Софичка была среди других девушек, обслуживающих пиршественный стол.

Роуф сидел в углу и, пострругивая яблоко перочинным ножом, рассказывал веселую историю о том, как он, будучи в армии, обучал жену какого-то капитана верховой езде. Жена этого капитана, оказывается, хотела соблазнить его, а он никак этого не мог понять. Другие девушки, обслуживавшие столы вместе с Софичкой, сгрудились возле него и, посмеиваясь, слушали. Софичка тоже со жгучим любопытством слушала его, но хозяйка дома не дала ей дослушать.

— Софичка, — крикнула она ей, — вон за тем столом сациви кончилось!..

И Софичке пришлось пойти на кухню и принести оттуда бутылку сациви. Уже на кухне она услышала

взрыв хохота, раздавшийся за тем краем стола, где сидел Роуф. Видно, он что-то смешное сказал, но Софичка так и не узнала что. Разлив сациви гостям, она вернулась туда, где сидел Роуф.

Он уже рассказывал о том, как они с женой капитана спешили в лесу, потому что она притворилась, что ее укачало на лошади. Но он еще не знал, что она притворяется. Он бегал к ручью и, наполнив свою пилотку водой, обливал ее лицо и шею, а она только стонала и мотала головой, как бы показывая, что ей нужны совсем другие процедуры. Но он этого не понимал и все время бегал к ручью со своей пилоткой. Софичке было ужасно интересно, чем это все кончится. Она удивлялась, как это Роуф ничего не понимал, когда она, Софичка, и то все поняла. Но тут ее хозяйка опять отвлекла.

— Софичка, — крикнула она, — посмотри на этот стол, здесь вино кончается!

Софичка схватила со стола кувшин, побежала на кухню, сунула шланг в бочку, вытянула из него вино, и, когда она направила струю вина в кувшин, с веранды раздался как бы заключительный хохот, и Софичка поняла, что самое интересное прозвела. Ей стало до слез обидно, что всегда ее первой зовут, когда надо что-нибудь сделать. Вон сколько девушек обслуживают стол, а зовут все равно ее. Она вернулась на веранду, поставила кувшин на стол, где не хватало вина, и подошла к тому месту, где сидел Роуф. Но тут уже все было кончено, и Софичка, хотя ужасно любопытствовала, но никак не осмеливалась спросить у девушек, чем же закончилась эта история с женой капитана. Ей хотелось думать, что она ничем не закончилась.

— Что ж ты все постругиваешь яблоки, — спросила у Роуфа одна из девушек, — что же ты ничего не кушаешь?

— Я бы, пожалуй, одну из вас съел, — сказал Роуф улыбочиво, оглядывая девушек и отправляя в рот дольку яблока.

Девушки дружно рассмеялись, выражая готовность быть съеденными таким замечательным парнем. Эти девушки не знали, что он уже это говорил Софичке. Он опять намекает, подумала Софичка, ликуя от жаркого предчувствия. Замерев от счастья, она прислушалась, не добавит ли он чего-нибудь к своим словам, чтобы окончательно ясно было, что он имеет в виду Софичку, но тут опять вмешалась хозяйка.

— Да что вас там медом приклеили, что ли?! — крикнула она. — Софичка, гостей пора мясом обносить!

И Софичка, вздохнув, пошла обносить гостей мясом.

За этот год она еще несколько раз встречалась с Роуфом, и при первой встрече, они были одни, он еще раз сказал ей, улыбаясь, что она такая миленькая, что он готов съесть ее. На этот раз его слова так взволновали Софичку, что она всю ночь не спала, переворачиваясь с боку на бок, то прижимая к себе одеяло, то откидывая его прочь, и никак не могла успокоиться. И она решила, что, если он еще раз скажет эти слова, она ему ответит с неслыханной дерзостью.

— Так съешь меня, кто тебе мешает! — вот что она ему ответит, если он еще раз так ей скажет.

Но он почему-то больше этого не говорил, и Софичка мучилась, думая, что ему теперь понравилась совсем другая девушка и он, может быть, ей говорит эти слова.

В последний раз она его видела, когда он заглянул в табачный сарай, где она низала табак. Софичка была одна. Она попыталась встать ему навстречу, но почувствовала, что ноги ее страшно отяжелели. Она подумала, что сейчас он повторит эти слова, но она никак не сможет ответить ему то, что собиралась ответить. Сейчас ей было очень стыдно сказать ему

так. Но он ничего не сказал, хотя она всем своим существом почувствовала, что он ей хочет сказать что-то очень важное. Но он почему-то ничего ей не сказал, а только, неловко помедлив в дверях, спросил, не видала ли она бригадира.

— Не видала, — выдохнула Софичка, чувствуя одновременно облегчение и разочарование и боясь, что он заметит, как табачная игла подрагивает в ее руке.

...Обо всем этом думала Софичка, сидя на взгорье, глядя на желто-зеленые холмы, откуда доносились слабые хлопанья выстрелов, греясь на солнце, слушая верещание кузнечиков и вдыхая томящий дух усыхающих трав и папоротников. А по синему бездонному небу все плыли и плыли коршуны, взмахивая крыльями — медленно, мощно, устало.

Внезапно Софичка услышала за собой шелест травы и, очнувшись от раздумий, испуганно обернулась, словно кто-то мог подсмотреть ее тайные мысли и видения. Это был Роуф.

Он шел легкой, сильной походкой. Лицо его было радостно возбуждено, по-видимому, удачной охотой. На его широком охотничьем поясе, чуть бронзовея на солнце, телепались три серых коршуна.

Восторг и страх одновременно пронзили Софичку, но губы ее сами расцвели улыбкой. Она так хотела увидеть его — и вот он!

И он тоже обрадовался ей, и она заметила, как лицо его озарилось, а светлые глаза полыхнули. Но он еще был полон охотничьего азарта.

— О Софичка! — крикнул он. — Как я рад! Сиди, сиди! Взгляни сюда!

Он приподнял обеими руками тяжелых птиц и качнул ими на ладонях, словно на весах, как бы гордясь мощным, неоспоримым доказательством охотничьей удали.

— Ты видишь, — говорил он восторженно, — а

этот какой! И у меня мелкая дробь, ты понимаешь?! Я взял не те патроны, ты понимаешь?!

— Да, да! — воскликнула Софичка, проникаясь его настроением, хотя не очень понимала, что означает мелкая дробь. — А тебе их не жалко?

— А чего жалеть, — кивнул он на небо, — вон их сколько пролетает...

Раздвинув птиц, чтобы не подмять их, он сел рядом с ней. Ее обдало крепким запахом пота, от которого темнела его сатиновая рубашка на груди и под мышками. Он скинул с плеча свою двустволку и положил ее на траву рядом с собой. Потом вынул из кармана платок, отряхнул его и, распахнув на груди рубашку, стал протирать платком шею и грудь. Та самая синяя майка мелькнула под рубашкой, и Софичка, застыдившись, опустила глаза. От истового протирания шеи и груди он оскалился, как тогда во время игры, когда напряженно вырывался из свалки. По его резким движениям Софичка чувствовала, что его все еще не покидает охотничий азарт.

— Мелкая дробь, понимаешь, — продолжал он, отряхивая платок и вкладывая его в карман. Он вытянул ноги, обутые в чупяки из сыромятной кожи. — Надо очень близко подпускать, а я не знал! Стреляю — не берет! Вижу — попал! Не берет! Потом только догадался, что патроны не те.

Софичка почувствовала некоторую обиду оттого, что он все время говорит о своей охоте, а ее вроде не замечает. Может, начни он заигрывать с ней, она бы сама попыталась оттолкнуть его от таких разговоров, но сейчас ей очень захотелось приблизить его к тому, что жгло ее и изводило весь год.

— Роуф, — сказала она, вздрагивая от волнения, — в тот раз, когда ты заглянул в табачный сарай, ты ведь хотел мне что-то сказать? Мне ведь не почудилось?

— Какой табачный сарай? — спросил Роуф, медленно возвращаясь от своих коршунов на землю.

— Ну, в тот раз, — еще сильнее волнуясь, напомнила Софичка, — когда ты спрашивал бригадира, ты ведь совсем другое хотел мне сказать?

Роуф осоловело смотрел на нее несколько секунд и вдруг, запрокидываясь на ствол бука, вскинул ружье — и бабах в небо!

Софичка ахнула от страха, прихлопнула ладонями уши и посмотрела вверх. Она увидела огромного коршуна, пролетающего над ними, и успела заметить, как он отпрянул после выстрела, словно подброшенный дробью, но тут раздался второй выстрел, и коршун, с каждым мгновением вырастая на глазах, пошел вниз и шлепнулся на траву недалеко от них. Он побежал по траве, уродливо вскидывая обесиленными огромными крыльями. Роуф кинулся за ним и через несколько секунд поймал его. Птица, взмахивая непомерными крыльями, вырывалась у него из рук, пока он не изловчился схватить ее за глотку и перекрутить ее.

Софичка зажмурилась, ей показалось, что она слышала хруст переломанных хрящей. Тяжело дыша, с упоенным лицом, Роуф возвратился к ней и швырнул огромную, еще слабо трепыхающуюся птицу к ее ногам.

— Ты видела?! — спросил он, радостно улыбаясь и снова садясь рядом с ней. Он сначала прислонил ружье к стволу бука, а потом сел, опять не забыв приподнять птиц, телепавшихся на его поясе, чтобы не подмять их.

— До чего же ты быстрый, Роуф! — воскликнула Софичка. — До чего ж ты быстрый!

— Да, я быстрый, — отвечал Роуф, старательно вытирая о траву окровавленную ладонь правой руки.

— И как ты его заметил, Роуф, — удивилась Софичка, — ты ведь смотрел на меня?

— У охотника третий глаз на затылке, — важно заметил Роуф. Чувствовалось, что он наконец успокоился.



— Ты чересчур быстрый, Роуф, — сказала Софичка, — с тобой, наверно, опасно...

— Смотря кому, — усмехнулся в ответ Роуф и посмотрел на Софичку так, словно только что ее заметил.

Солнце уже поднялось довольно высоко. В траве всюду разверещались кузнечики. Высоко в небе плыли и плыли коршуны. Некоторые из них снижались на желто-зеленых холмах, где под купами деревьев прятались охотники и откуда доносились приглушенные хлопки выстрелов.

— Роуф, — снова напомнила Софичка, — ты ведь в тот раз, когда заходил в табачный сарай, хотел мне что-то сказать? Ты ведь хотел, Роуф?!

— Да, — согласился Роуф и как-то странно посмотрел на Софичку своими светлыми глазами на загорелом лице, — но откуда ты знаешь об этом?

Он перевел взгляд на корзину с ежевикой, стоявшую между ними. И вдруг гребанул ладонью горсть ежевики и, высыпая ее в рот, снова взглянул на Софичку, каким-то странным образом соединяя ее с этой ежевикой. Так показалось Софичке.\*

— Я сама догадалась, Роуф, — восторженно отвечала Софичка, — как только увидела тебя, догадалась!

— Ежевика в жару хорошо идет, — сказал Роуф, причмокивая и как-то странно поглядывая на Софичку. Видно было, что он одновременно прислушивается к хлопанию выстрелов на желто-зеленых холмах. Снова, уже не глядя, запустил руку в корзину и достал еще горсть ежевики.

— Так что же ты мне хотел сказать, Роуф? — спросила Софичка, дрожа от волнения.

— Я хотел сказать, что ты лучше всех, — сказал Роуф и снова прислушался к желто-зеленым холмам. Прислушавшись и словно убедившись, что они ему не мешают, очень странно взглянул на Софичку.

— Не ври, Роуф! — вскричала Софичка, — в Чегеме столько красивых девушек!

— А ты лучше всех, — убежденно сказал Роуф и, не глядя, приподнял корзину и поставил ее влево от себя, словно освобождая место между собой и Софичкой.

— Роуф, зачем ты переставил корзину? — удивилась Софичка.

— Так надо, — сказал Роуф и стал вытирать руку о траву. Теперь ладонь его была измазана ежевичным соком. „Покончил с ежевикой и теперь приступит ко мне“, — замирая, подумала Софичка. Сейчас от оттирал руку от ежевичного сока дольше, чем от крови коршуна.

— Отчего ты так долго трешь руку о траву! — вскричала Софичка, умирая от любопытства.

— Сейчас узнаешь, — сказал Роуф и вдруг снова прислушался к холмам, откуда доносились приглушенные выстрелы, словно раздумывая, не помешает ли ему то, что делается на холмах. И, словно убедившись, что не помешает, расстегнул свой охотничий ремень с дичью и накинул его на поваленный бук.

— Что ты скинул пояс, Роуф?! — вскричала Софичка, чувствуя, что ноги ее наполняются непреодолимой тяжестью.

— Вот уже год, — сказал Роуф, — как только я тебя увижу, мне хочется тебя трясти, трясти, трясти...

— Да что я, яблонева ветка, что ли, чтобы меня трясти?! — снова вскричала Софичка.

— Думаю, что тебе придется научиться готовить коршунов, — сказал Роуф и, подсев к ней, обнял ее одной рукой.

— Не хочу я готовить коршунов, — стыдливо сказала Софичка, горячо чувствуя его руку на своем плече, — небось они жилистые?

— Сначала попробуй, а потом говори, — отвечал Роуф и, крепко прижав ее к себе, поцеловал прямо в

губы. Софичка, задохнувшись, вырвала лицо, но он ее снова притянул к себе и снова поцеловал прямо в губы. Она снова вырвала лицо, но он ее крепко держал одной рукой, и она вспомнила его напряженное плечо, когда он вырывался из свалки, и подумала, что рука его сейчас, наверное, так же напряжена. И он снова притянул ее к себе, и она снова почувствовала, что чем сильнее она сопротивляется, тем теснее их сближает какая-то сила.

— Роуф, нас могут увидеть!

— Только коршуны!

— Нас обоих убьет мой брат, если узнает!

— Не бойся, я тебя украду!

Наконец он так крепко ее поцеловал, что она захотела, чтобы он ее еще крепче поцеловал. Но тут он сам оторвался от нее и встал. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись к буковому стволу. Он уже надел свой пояс, прикрепив к нему последнего коршуна. И сквозь тишину забытья, сквозь острый, близкий запах вянущих трав и теплой земли она откуда-то сверху услышала его голос:

— Как только уберем кукурузу и виноград, я дам тебе знак. Жди.

Шаги его быстро ушуршали по траве. Софичка очнулась. Она все так же сидела откинувшись спиной на ствол поваленного бука. Солнце жарко припекало. Кузнечики оглушительно трещали в траве. В воздухе стоял сильный запах разогретых папоротников. Софичка чувствовала, как кровь струится в ее теле. Голова кружилась, и все, что она видела, поднималось и плыло куда-то.

Плыла земля, на которой она сидела, плыли далекие горные хребты с заснеженными, сверкающими вершинами, плыли желто-зеленые холмы, откуда теперь гораздо реже, но все еще доносились приглушенные хлопки выстрелов и влзай разгоряченных собак. Плыла прибрежная долина в сиреневой дымке, прорезанная серебряной лентой Кодора, и плыло

огромное бездонное небо, по которому все еще пролетали бесконечные стаи коршунов, взмахивая крыльями — медленно, мощно, устало.

Прошел месяц. На приусадебном участке дедушки убрали кукурузу и уже третий день собирали виноград. Брат Софички Нури и дядя Кязым, стоя на ветках ольховых деревьев, обвитых виноградной лозой, рвали виноград. Длинные конусообразные плетеные корзины, наполненные черными гроздьями, с шумом пробивая пожелтевшую листву своим острым концом, спускались вниз на веревке. Софичка вываливала из них виноград в большую круглую корзину, а эта, конусообразная, снова поднималась наверх.

Над корзиной вились бесчисленные полосатые осы. День был необычайно жарким, парило, ждали дождя. Дядя Кязым и Нури спешили добрать виноград до начала дождей.

Набрав с полкорзины, Софичка с трудом приподнимала ее и, положив на плечо, тащила в винный сарай, где стояло огромное долбленое корыто — давилня. Софичка, пригнувшись, перекладывала корзину с плеча на край давилни, а потом опрокидывала в ее огромное, уже исходящее соком чрево.

Немного отдохнув у давилни, уже почти наполненной гроздьями черной „изабеллы“, над которой неистово гудели опьяненные пчелы и осы, Софичка поднимала корзину и, покинув прохладный полутемный сарай, шла туда, где брат и дядя собирали виноград.

Весь этот месяц Софичка, обмирал, думала о том, что случилось там, на взгорье у выхода из каштановой рощи. Нет, она ни о чем не жалела. Но временами ей казалось, что их кто-нибудь мог увидеть, когда ее целовал Роуф, и тогда она в ужасе кусала себе ладони и думала, что, если б такое случилось, она, вероятно, умерла бы от стыда. Но такого не случилось, да и навряд ли могло случиться.

Она верила в Роуфа так, как верила в то, что после ночи должен наступить день. Конечно, время от времени и ее настигали девичьи страхи и сомнения, но ее вера и любовь к Роуфу всегда побеждали и отгоняли страхи и сомнения. Она ждала знака от него и готова была по первому его слову бежать с ним туда, куда он найдет нужным.

Конечно, она предпочла бы не огорчать близких своим тайным побегом, но, видно, иначе нельзя. Она знала, что дедушка ее навряд ли добровольно согласился бы отдать ее за полутурка, хотя и „обабхазившегося“, да еще и коршуноеда. Если б он был только из турок или только из коршуноедов, может быть, близкие скрепя сердце согласились бы на ее замужество, а так, кто его знает, что будет.

Конечно, и Роуф это понимал. Да и по обычаям абхазским и вообще горским умыкнуть девушку даже с ее согласия считалось делом чести, это придавало некий дополнительный чувственный жар обладателю ее: краденая слаще законной.

Все эти дни, пока собирали виноград, Софичка с лихорадочным нетерпением ожидала весточку от Роуфа. „Что он думает делать? Как там они, убрали кукурузу и виноград или нет? Раз мы кончаем убирать виноград, значит, и они кончают, — думала она, — или у них чуть позже все вызревает? Или что другое?“

Уже близко к полудню, когда Софичка с корзиной на плече проходила в винный сарай, она вдруг увидела незнакомого мальчика лет двенадцати, осторожно перешагнувшего через перелаз и идущего ей навстречу по скотному двору. Что-то дрогнуло в груди у Софички при виде этого мальчика. Софичка крепче уцепилась за корзину, чтобы не упустить ее. Это был совсем незнакомый мальчик, Софичка была уверена, что никогда не видела его.

Они приближались друг к другу по широкому скотному двору, и мальчик, как заметила Софичка,

оглядывал ее прекрасными, правда, чересчур наглыми зелеными глазами. Поравнявшись с ним, Софичка остановилась.

— Мальчик, ты откуда? — спросила она.

— Оттуда, — махнул мальчик в сторону восточной части Чегема.

— А что тебе здесь надо? — дрогнувшим голосом спросила Софичка, глядя на мальчика и стараясь держать корзину в равновесии.

— Мне бы Софичку увидеть, — сказал он, глядя в глаза Софички своими зелеными наглыми длинноресничными глазами.

— А зачем она тебе? — спросила Софичка, боясь своим голосом вспугнуть радость.

— Дельце есть, — сказал мальчик важно.

Софичка почувствовала, что с корзиной на плече она не выдержит, если это весть от Роуфа. Мальчик прислушивался к деревьям, где собирали виноград и откуда время от времени доносился шорох раздвигаемых листьев: то спокойный, то шумный и раздраженный, в зависимости от удаленности виноградных гроздей.

— Пойдем со мной, — сказала Софичка и быстрыми шагами пошла к винному сараю. Войдя в сарай, она, не пригибаясь и не ставя ношу на край давяльни, с ходу вбросила туда перевернувшуюся корзину и, тяжело дыша, обернулась к мальчику:

— Говори!

— Мне бы Софичку, — спокойно повторил мальчик, глядя на нее своими большими зелеными невозмутимыми глазами.

— Я, я Софичка! — выкрикнула Софичка, в нетерпении топнув ногой по земляному полу сарая.

— А я знаю? — спокойно отвечал мальчик, глядя на нее своими невозмутимыми длинноресничными глазами. — Может, ты родственница какая...

— Да Софичка я! — крикнула Софичка чуть не плача. — Говори, противный мальчишка!

— Нет, — помотал головой мальчик, — мне надо точно знать, что ты Софичка.

— Ты от Роуфа?! — выдохнула Софичка, теряя терпение.

— Ха! — усмехнулся мальчик. — Так я тебе и сказал...

— Да как же тебе доказать?! — в отчаянии спросила Софичка.

— Это твой брат там собирает виноград? — кивнул мальчик в сторону усадьбы.

— А кто же! — отвечала Софичка в нетерпении.

— Там двое, — уточнил мальчик, — а второй кто?

— Дядя! — крикнула Софичка.

— Вот и хорошо, — пояснил мальчик, глядя на нее своими наглыми ангельскими глазами, — будем ждать. Как только у них наполнятся корзины, они позовут тебя, и мы послушаем твое имя. Только если они назовут тебя иначе, не говори, что это твоя домашняя кличка.

— Господи, какой хитрый, — удивилась Софичка, радуясь, что у нее в самом деле не было никакого домашнего имени.

— А как же, — важно сказал мальчик, — такое дело дурачку не поручат.

— Какое же дело? — не утерпела Софичка, задыхаясь от волнения.

— Об этом я скажу, когда узнаю, кто ты такая, — терпеливо отвечал мальчик, прислушиваясь к чему-то и глядя на Софичку своими длинноресничными глазами издавшего вида ангелочка.

Они простояли еще минут десять, показавшиеся Софичке вечностью. Мальчик спокойно озирался в винном сарае, не выказывая никаких признаков нетерпения. Он даже взял из давилъни гроздь, забрасывая ягоды в рот и причмокивая, глотал их якобы исключительно с целью дегустации. Вид у него был такой важный, что Софичке, терявшей терпение, захотелось трахнуть его по башке корзиной.

— Да, — сказал мальчик с видом знатока, — виноград набрал сладость... Можно давить...

— Откуда только тебя выкопали? — не удержалась Софичка.

— Как откуда? — отвечал мальчик рассудительно. — Я уже двух девок выдал замуж... Ничего... Живут, не сбежали...

— Так, значит, ты от Роуфа! — вскричала Софичка.

— Ничего не значит, — ответил мальчик, нахмурившись оттого, что сказал лишнее.

Софичка уже была готова разорваться от нетерпения, но тут раздался голос Нури.

— Софичка, — заорал он с дерева, — ты что там, подохла в давилъне?!

— Иду, иду, — крикнула Софичка и, вывалив из корзины виноград, взяла ее в руки. — Ну, теперь ты скажешь? — спросила она, обернувшись к мальчику.

— Теперь скажу, — ответил мальчик.

— Так говори, — взмолилась Софичка, — видишь, брат зовет?!

— Так ты готова оципывать коршунов? — пыливо спросил мальчик.

— О Господи! — воскликнула Софичка. — При чем тут коршуны?

— Отвечай, — властно сказал мальчик.

— Ну, готова, готова! — вскрикнула Софичка.

— А поджаривать их на вертеле? — безжалостно продолжал мальчик.

— И поджаривать, — покорно вздохнула Софичка, чувствуя, что спорить с мальчиком бесполезно.

— И кушать само собой? — уточнил мальчик.

— И есть, — тихо согласилась Софичка, краснея.

Они уже шли в сторону деревьев, где брат и дядя рвали виноград.

— Софичка! Софичка! — снова с дерева заорал Нури.



Софичка вздрогнула и остановилась.

— Иду! Иду! — крикнула она, глядя на мальчика.

Мальчик удовлетворенно слушал голос ее брата, как бы окончательным признав, что Софичка и есть Софичка.

— Ну так вот, — сказал мальчик торжественно, — сегодня, как только стемнеет, Роуф тебя ждет на холме возле старой крепости.

— А больше он тебе ничего не сказал? — спросила Софичка, от волнения перебрóсив корзину с одной руки на другую.

— Хватит и этого, — ответил мальчик, — ну, я дальше не пойду. Мне вовсе незачем мозолить глаза твоему брату. Еще мстить вздумает...

— Спасибо, — тихо шепнула Софичка и, быстро наклонившись, поцеловала мальчика в щеку.

— Этого еще не хватало, — буркнул мальчик и сурово вытер щеку плечом.

— Я тебе обязательно что-нибудь подарю за эту весть, — тихо сказала Софичка, чувствуя к маленькому вестнику необычайную нежность.

— Многие так говорят, — язвительно заметил мальчик, — но потом выходят замуж и все забывают.

— Нет, нет, я никогда не забуду! — вскричала Софичка.

— Поживем — увидим, — сказал мальчик и добавил с видом человека, не привыкшего брать на себя неразумную долю риска: — Ну, я пошел. Мне незачем мозолить глаза твоему брату.

— Иди, иди, — шепнула Софичка, — я все сделаю, как надо.

— Так не забудь — у старой крепости, — напомнил мальчик, поворачиваясь, — а то еще придешь куда-нибудь не туда... У вас ведь, у девок, голова дырявая...

— Нет, нет, я все сделаю, как надо, — сказала Софичка, чувствуя необычайный прилив нежности к

этому мальчику, словно предвидя в нем собственного сына.

— Еще бы, — буркнул мальчик и быстрыми шагами направился к перелазу.

Все, что происходило дальше, Софичка воспринимала как в тумане. Она принесла в винный сарай еще несколько корзин винограда. Потом брат и дядя слезли с деревьев и пошли давить виноград. Софичка принесла из дому кувшин с водой и мыло. У края скотного двора нарвала охалку папоротниковых стеблей. Вошла в винный сарай и у самого винного корыта выстлала папоротником земляной пол, положила на него мыло и поставила рядом кувшин.

Закатав до колен галифе, брат и дядя поочередно, становясь на папоротниковую подстилку, с мылом вымыли ноги и залезли в давяльную.

Софичка стояла возле них, ощущая скрежещущие, шлепающие и чавкающие звуки раздавливаемых гроздей, глядя, как мерно работают их сильные, мускулистые, теперь до колен окрашенные в красный сок ноги, то и дело вминающиеся в наваленный виноград и с аппетитным чмоком выдирающиеся оттуда и снова вминающиеся в сочно лопающиеся ягоды. Убедившись, что теперь они здесь достаточно долго пробудут, Софичка побежала домой, прихватив с собой кувшин и мыло.

Уже давно приготовленный чемодан с одеждой и бельем лежал у нее под кроватью. Сейчас надо было незаметно вынести его, спрятать где-нибудь в зарослях недалеко от дома, а потом вечером, когда она сбежит, прихватить его. Софичка много раз думала об этом и правильно решила, что вечером, когда в доме все соберутся, незаметно вынести чемодан будет гораздо труднее.

Сейчас в доме никого не было, кроме Нуцы, жены дяди Клызыма. Она возилась на кухне. Софичка выбежала за ворота и оглядела верхнечегемскую дорогу, насколько ее охватывал глаз. Никого.

Она снова вбежала в дом, вошла в свою комнату, достала чемодан и вышла с ним на заднее крыльцо. Спустилась в огород и, ступая прямо по шумящим лопухим листьям тыквы, подошла к плетню и перетащила чемодан на верхнечегемскую дорогу. Потом вскочила на плетень, прыгнула вниз и, схватив чемодан, стала подниматься по крутому склону, поросшему зарослями самшита, рододендрона, азалий.

Продираясь сквозь колючие кустарники ежевики, она влезла в самые густые заросли азалий и спрятала в них чемодан. Потом она нарвала ореховых веток и воткнула их так в кусты азалий вокруг чемодана, чтобы он был совсем незаметен, хотя он и так был незаметен.

Она отошла на несколько шагов, пытливо вглядываясь в место, где спрятан чемодан, окончательно убеждаясь, что его не видно. Приметила большой белый камень, торчавший из земли возле кустов азалий. Он мог потом послужить ей хорошим ориентиром. Особенно в темноте. Наконец Софичка покинула загорье и вернулась домой.

Из давилъни гукнул голос Нури. Он просил свежей воды. Софичка взяла кувшин и быстро спустилась к роднику. Набрав воды, она поставила кувшин на плечо и, ни разу не отдохнув в пути, принесла его домой. Она перелила свежей воды из кувшина в чайник, прихватила стакан и спустилась в винный сарай.

Обливаясь горячим потом, с красными, измазанными винным соком ногами, брат и дядя продолжали усердно топтать виноград. Софичка налила в стакан воды, сполоснула его и наполнила. Она подала его сначала дяде, и тот медленно пил, запрокинув голову и двигая кадыком. Он пил, не выходя из давилъни. Потом пил Нури, тоже не выходя из давилъни. Он жадно выпил несколько стаканов воды.

Утолив жажду, он вспомнил о голоде.

— Обед скоро? — спросил он, шумно выдыхая воздух и выплескивая остаток воды из стакана.

— Сейчас, — сказала Софичка и, поставив чайник на папоротниковую подстилку, надела ему на носик стакан и побежала домой.

Тетя Нуца, стоя у разожженного очага, взялась за мамалыгу. Софичка сбегала на огород, нарвала луку, чесноку, кинзы и петрушки. После этого она надела на вертел куски копченого мяса, разгрела жар в очаге и поджарила его. Прислонив шипящий вертел к краю очага, она вышла во двор, кликнула детей тети Нуцы, игравших в доме тети Маши, и позвала мужчин, работавших в винном сарае.

К обеду брат принес в чайнике сладкого, еще не перебродившего вина — мачари. Софичка выпила стакан густого вина и почувствовала, что у нее закружилась голова. Такое вино не должно было ударить в голову, но ударило, и Софичка этому очень удивилась. Она не понимала, что ее волнение придавало вину крепость. Движения ее стали порывисты.

— Что с тобой, Софичка? — спросил дядя Кязым.

— Опьянела от мачарки, — усмехнулся Нури.

Поев и покурив, брат и дядя снова ушли в винный сарай давить виноград. Софичка от волнения и бесконечности ожидания вечера не знала, чем занять себя. Она вымыла полы во всем доме и вымылась сама.

Вдруг ей пришло в голову, что кто-то мог залезть в кусты азалий, обнаружить ее чемодан и унести его. В ужасе Софичка выскочила из дому, перебежала верхнечегемскую дорогу и, снова продираясь в зарослях, поднялась к тому месту, где стоял чемодан.

Чемодан стоял на месте, но ветки ореха, наброшенные на кусты азалий, приувяли и теперь выглядели подозрительно. Она скинула ветки ореха с зарослей азалий и еще глубже в кусты упрятала чемодан. Спускаясь на дорогу, она вдруг встретилась с лесничим Омаром. Вздорный лесничий не мог не проявить свою вздорность.

— Ты что там делала? — громко спросил он у нее,

удивляясь тому, что она откуда-то сверху спускается на дорогу.

— Ничего, — ответила Софичка, выходя на дорогу.

— Как так — ничего, — заорал он, — люди как люди ходят по дороге, а ты что по чащобам шастаешь?

— Я так, я ничего, — отвечала Софичка, стараясь успокоить его своим спокойным голосом. Она боялась, что дома его кто-нибудь услышит.

Несколько секунд он смотрел на нее, сверкая подозрительными глазками, и Софичка со страхом подумала, что вот сейчас он поднимется по ее следам и обнаружит ее тайну.

— „Ничего“, — злобно передразнил он ее, — если ты девушка, ты должна скромно идти по дороге, а не шастать по кустам... Совсем стыд потеряли...

Это он уже говорил, продолжая свой путь. Софичка облегченно вздохнула: ну, какое твое дело, проклятый старикашка!

К вечеру небо обложило тяжелыми, черными тучами. Солнце с трудом пробивалось над горизонтом и обагряло зловещим цветом край неба. Коровы, мыча, стояли у ворот скотного двора. Дедушка пригнал коз и впустил их в загон, откуда они непрерывно переблеивались с козлятами.

Куры стали взлетать на инжировое дерево, где они обычно устраивались на ночь. Некоторые из них, не долетев до намеченной ветки, падали вниз, вызывая почему-то гневное порицание петухов. Иногда петухи, не удовлетворяясь устным порицанием, набегали на кур и топтали их, как бы возбужденные женственной слабостью их крыльев и одновременно наказывая их за это. После чего, отряхнувшись, куры взлетали гораздо удачнее. И было непонятно, что именно их вдохновляло: сама процедура наказания или боязнь ее повторения. Впрочем, Софичка этих подробностей не замечала.

Она стояла посреди двора и, сама того не осознавая, прощалась с дедушкиным домом, где она выросла, со старой яблоней, упирающейся замшелой веткой в веранду, с грецким орехом, осеняющим двор справа. Она слушала блеянье коз в загоне, мычанье коров, уже загнанных в скотный двор, кудахтанье взлетающих на дерево кур.

И когда жена дяди Клызума вышла из кухни с подойником, чтобы подоить коров и коз, а дедушка прошел в винный сарай, чтобы посмотреть, как там давят виноград, она решила — пора.

Волнение комом стояло у нее в горле, и она могла разрыдаться, если б не страх за предстоящее дело. Заставив себя выйти, а не выбежать со двора, она уже почти бегом поднималась в гору, цепляясь за кусты лесного ореха, кизила, самшита, опутанные колючими плетями ежевики. Здесь, в зарослях, уже было довольно темно. Но вот и камень белеет, а вот и кусты азалий.

Софичка подбежала к ним, с шумом отогнула упругие ветки и выволокла чемодан. Она быстро раскрыла его, вынула оттуда крепдешинное платье, чулки, кофту и красные городские туфли. Со страхом озираясь в зеленом полумраке, она скинула с себя домашнее платье, натянула праздничную одежду, надела городские красные туфли, запихнула в чемодан снятое платье, завернула свои домашние башмачки в листья лопуха и, сложив их в чемодан, закрыла его.

В быстро сгущающихся сумерках, то продираясь сквозь заросли, то ступая по козьим тропам, Софичка теперь двигалась в сторону старой крепости, где ее должен был ждать Роуф.

Минут через тридцать, когда она, по ее расчетам, должна была выбраться на открытое пространство, она почувствовала, что зашла куда-то не туда. Вершина взгорья была покрыта зарослями папоротников, и там высились развалины старой крепости.

Но ничего такого не было видно. Софичка почувствовала, что промахнулась, взяла левее или правее. Вокруг нее росли бесконечные кустарники с редкими буковыми и каштановыми деревьями, и она с каждой секундой с нарастающим ужасом осознавала, что заблудилась и ничего вокруг не узнает.

И как это бывает в таких случаях, именно то, что она заблудилась рядом с домом в местах, которые она сотни раз исходила с самого детства, вселяло в нее дополнительный суеверный страх. То ей казалось, что она сошла с ума от волнения и ничего не узнает вокруг, то ей казалось, что какие-то силы заколдовали это взгорье, чтобы она, не узнавая дороги, не смогла встретиться со своим возлюбленным.

Ужас позорного возвращения домой, разоблачения, расстройтва свадьбы охватил ее с такой силой, что она готова была броситься на землю и зарыдать.

И все-таки из последних сил она держала себя в руках и пыталась понять, куда ей двигаться. Но пламя паники уже охватило ее, и она, рванувшись в одном направлении, через несколько минут меняла его, боясь, что она идет не туда, и снова убеждалась, что не узнает местности. Все деревья и кусты, которые она различала в темноте, казалось, чуть-чуть сдвинулись со своего места, и невозможно было определить, куда идти.

Софичка собрала все свои силы и решила на последний здравый шаг. Она повернула назад и вышла на верхнечегемскую дорогу, рискуя с кем-нибудь встретиться. Над верхнечегемской дорогой, прямо напротив дома тети Маши, который стоял внизу под дорогой, вела тропа в сторону старой крепости.

Как только она спустилась к белеющей в темноте дороге, силы снова вернулись к ней, она сразу поняла, где находится, и была уверена, что если бы теперь снова поднялась на гору, то обязательно правильно вышла бы к нужному месту.

Но она не стала рисковать, а пошла по дороге радостной быстрой походкой. Она только боялась, что ей встретится в пути кто-нибудь из чегемцев и до срока догадается о ее намерениях.

Поравнявшись с домом тети Маши, который стоял в некоторой глубине, внизу под дорогой, она услышала ее голос, перекликающийся с кем-то.

— Не видели! Не видели! — кричала тетя Маша, откликаясь на чей-то голос.

Не вслушиваясь в голоса, она свернула на тропу и пошла вверх, и, только когда голоса угасли, она вдруг догадалась, что это кричали из Большого Дома и искали ее. С нежной грустью, жалея родных, Софичка поднялась по тропе и вышла на лужайку возле старой крепости и увидела на фоне сереющей стены силуэт человека, державшего под уздцы лошадей, и силуэт другого человека, похаживающего возле него.

— Ты чего по тропе пришла? — тревожно спросил Роуф, быстро подходя к ней и беря у нее чемодан.

— Я заблудилась, — выдохнула Софичка. Она все еще тяжело дышала после крутого подъема.

— Заблудилась? — переспросил Роуф, сияясь понять, как это она могла заблудиться рядом со своим домом, и, словно почувствовав, что нет времени осмысливать такие странности, оборвал себя: — Едем!

Несколькими быстрыми, резкими движениями он приторочил чемодан к седлу своей лошади. Потом взял под уздцы лошадь, предназначенную Софичке, и подвел к ней.

— Быстрой, — сказал он и, одной рукой придерживая под уздцы лошадь, другой придвинул Софичке стремя. Она подняла ногу, стараясь это сделать попристойнее, хотя было темно, сунула ее в стремя, ухватилась за луку седла и, с силой оттолкнувшись от земли, села в седло. Софичка нашла ногой второе стремя, а Роуф перекинул ей в руки поводья и передал камчу.



Роуф и сопровождавший его парень вскочили на лошадей.

— Как бы дождь нас не настиг, — сказал Роуф, трогая лошадь.

Парень выехал вперед, следом Софичка, а за ней ехал Роуф. Они спустились под гору, молча проехали по лощине, а потом дорога их вывела к нескольким домам выселка, где их ожесточенно облаяли собаки. Дверь кухни одного из домов, где особенно неистовствовала собака, открылась, и человек, стоя на пороге, окликнул их:

— Эй, кто вы?!

— Молчи, — шепнул Роуф, хотя Софичка и не думала подавать голос.

Проехав последний чегемский выселок, они углубились в лес.

— Теперь только дождь нам помеха, — сказал Роуф странно громким голосом после долгого молчания.

— Может, успеем проскочить? — ответил приятель, оглянувшись.

— Наверяд ли, — сказал Роуф, к чему-то прислушиваясь, и добавил: — Как себя чувствуешь, Софичка?

— Хорошо, — ответила Софичка, радуясь, что Роуф к ней обратился, и стыдясь присутствия этого незнакомого парня, в дом которого они, видно, сейчас ехали. Софичка понимала, что он живет в другой деревне, но не знала, кто он такой и где именно находится его деревня.

— Твоя Софичка молодчина, — сказал парень, оглянувшись и сверкнув зубами в темноте.

— А что ты думаешь, Алеша, — сказал Роуф, — плохую лошадь не крадут.

Оба рассмеялись, и Софичку обдало теплом оттого, что этот неведомый парень ее похвалил. Она подумала, что он, наверное, очень добрый, и была рада, что хоть узнала наконец его имя. А то ехать в его

дом и не знать его имя было как-то неудобно и спросить об этом Роуфа было несподручно.

В лесу было тихо. В темноте серебрились колонны буковых стволов. Тропы не было видно, но лошади сами находили дорогу. Софичке жалко было стегать свою лошадь камчой, и она слегка приотставала, а Роуф, едущий сзади, окриками и свистом подгонял ее лошадь. Вдруг Роуф остановился.

— Тихо, — сказал он.

Софичка испуганно натянула поводья, решив, что он услышал звуки погони. Остановился и Алеша. В глубокой тишине ночи ничего не было слышно, кроме клацания удила на зубах у лошадей.

— Что ты слышишь? — спросил Алеша.

— Ливень нас догоняет, — сказал Роуф.

И вдруг Софичка расслышала далекий гул. Ей показалось, что притихшие деревья тоже с тревогой прислушиваются к далекому гулу приближающегося ливня.

— Пошли быстрее, — сказал Алеша и пустил свою лошадь рысью.

— Стегани ее камчой, — посоветовал Роуф Софичке и, не дожидаясь ее неверной камчи, так гикнул на ее лошадь, что Софичку мгновенно затрясло в седле. Лошадь пошла рысью.

— Крепко держи поводья! — крикнул Роуф сзади.

Лошади шли рысью, и слышался частый глухой стук копыт о твердую тропу, иногда звяканье подков о камни, а Софичку все трясло и трясло в седле, и она уже не знала, как долго длится езда рысью, и слышала, как сзади медленно и неуклонно приближается гул ливня. Вдруг Софичка почувствовала метнувшийся в темноте фиолетовый свет молнии, а следом грянул гром, словно, хрястнув, повалилось дерево. В листве деревьев зашумели тяжелые редкие капли.

— Чувствуй поводья! — крикнул сзади Роуф, когда хрястнул гром. И Софичка, не очень понимая, что

значит чувствовать поводья, на всякий случай крепче сжала их в руке.

С грохотом налетел сзади ливень, но сквозь густую листву деревьев только несколько капель шлепнуло Софичку по лицу. Воздух резко посвежел. Вдруг Софичка почувствовала рядом дыхание лошади Роуфа, почувствовала его ногу, несколько раз горячо прикоснувшуюся к ее ноге. Он что-то развернул в темноте и, не останавливая лошадь, набросил ей на плечи, и тут только она осознала, что это бурка. Она почувствовала его руки у своего подбородка и, прежде чем догадалась, что он завязывает у ее горла тесемки от бурки, прижалась к его рукам щекой. В мигомлетной ласке он мазнул ладонью по ее щеке и, гикнув на ее лошадь, пустил ее вперед.

И тут ливень окончательно догнал их, и сразу же водопады дождя сверху обрушились на землю. Грохот дождя по листьям был такой сильный, что почти заглушал гром. В свете молнии вдруг высвечивались величавые струи дождя, мокрая, сбившаяся грива на трясущейся лошади, огромные бледные в свете молний стволы буков, странно сухие снизу и потемневшие от дождя наверху. Дождь барабанил по бурке так, что глушил уши. Но Софичка не испытывала никакого страха. Она все еще чувствовала руки Роуфа, завязывавшие ей на шее тесемки от бурки, и это ее сейчас веселило и вдохновляло.

— Чоу! Чоу! — громко раздавался сзади понукающий лошадей голос Роуфа.

Одна рука Софички, высывавшаяся из бурки и державшая поводья, была мокрой, словно она окунула ее в воду.

— Не ослабляй поводья! — гремел после каждого удара грома голос Роуфа, боявшегося, что лошадь Софички испугается и понесет.

Голова у Софички была совершенно мокрая, и стекающие по лицу и затылку струйки дождя начали затекать за бурку, холодя тело. Рука, державшая по-

водья, настолько окоченела от дождя, что Софичка, взяв поводья в другую руку, изо всех сил терла окоченевшую о шершавую, сухую шерсть внутренней стороны бурки, чтобы кровь в руке согрелась и пальцы стали подвижны.

Внезапно секущие лицо струи дождя усилились, и грохот ливня по листьям остался позади. Софичка поняла, что они выехали на открытое пространство. Начался подъем, и лошади перешли на шаг. Копыта чмокали в потоках воды, стекавшей по склону.

— Наводнение! Наводнение! — заорал Алеша, останавливая лошадь и давая Софичке и Роуфу подъехать к себе. В свете молнии мелькнули его веселое, оскаленное лицо и рубашка, так плотно облепившая тело, что были ясно видны очертания его сильной, мужественной фигуры. „Господи, — подумала Софичка, — я под буркой и то мерзну, а как же они, бедняги!“

— Зато сам черт следа нашего не сыщет! — крикнул Роуф в ответ на слова Алеши.

— Это точно! — радостно крикнул Алеша и, словно пытаясь перекрыть дождь и согреться силой своего голоса, заорал: — Э-ге-ге-гей!

Софичка не запомнила, сколько времени они ехали. Она только помнила, что дождь лил и лил, а они ехали и ехали. Вдруг лошадь Алеши стала. Софичка тоже натянула поводья. Алеша гикнул изо всех сил, и Софичка внезапно увидела свет, мелькнувший из распахнувшейся двери дома. „Приехали!“ — догадалась Софичка.

Из дверей дома выскочили какие-то люди и побежали в их сторону. Один из них под полой бурки придерживал фонарь. Ворота распахнулись, лошадей схватили под уздцы, Софичке помогли спешиться, и под громкие, радостные крики их ввели в большую кухню, озаренную огромным, уютно пылающим очагом.

В кухне было много народу, и видно было, что их давно ждут. Все были возбуждены и говорили одновременно, улыбаясь и хохоча. С Софички стащили мокрую бурку, а серебряноголовый старик, видно, хозяин дома, стал угощать их розовой чачей. Мужчины выпили по несколько стопок чачи и, став у очага, начали сушиться, сразу задымившись облаками пара. Софичка от чачи отказалась, она ее и так никогда не пила, а сейчас в чужом доме ей и подавно было стыдно ее пить.

Совсем юная девушка, как она догадывалась, сестра Алеши, отвела ее в горницу, где в маленьком очаге пылал огонь. Внеся туда мокрый чемодан Софички, она предложила ей переодеться. Но Софичка сняла только мокрые чулки и туфли, поставила их сушить у огня, а девушка принесла полотенце и стала протирать вместе с Софичкой ее волосы и лицо. Потом Софичка сидела у огня, расчесывала волосы и слушала, как в соседней комнате, где тоже горел очаг, переговаривались и переодевались Алеша и Роуф.

— Я тебя тоже заставлю промокнуть до костей, когда женюсь, — сказал Алеша.

— Я буду град глотать, когда ты женишься, — отвечал ему Роуф, и они оба расхохотались.

Потом Софичка слышала, как они раздеваются и обтираются полотенцами. Роуф, одеваясь в одежду Алеши, пожаловался, что ему брюки коротковаты. Алеша, смеясь, предложил ему носить брюки ниже поясицы, как теперь их носят городские парни. Софичка, нежно улыбаясь, слушала обрывки их разговора и, наклонившись к огню, сушила свои мокрые блестящие волосы.

Поздно ночью было устроено сравнительно небольшое застолье с десятком ближайших соседей и было выпито много вина за здоровье молодых, за их будущих детей, за их близких и дальних родственников.

Наконец гости разошлись. Софичке и Роуфу предоставили отдельную комнату, и Софичка под шум несмолкающего дождя, утомленная длинной дорогой и сбывшимся счастьем, уснула в объятиях Роуфа.

Через пять дней в доме Алеши появился дядя Сандро со своим зятем Багратом. Их вышли встречать Алеша и его отец. Они помогли им спешиться и ввели их в дом.

Приезд дяди Сандро был связан с выполнением древних абхазских обычаев. Надо было выяснить, добровольно ли Софичка сбежала из дому или была взята насильно, хотя, конечно, отсутствие чемодана ясно говорило о ее добровольном умыкании. Но все-таки надо было договориться обеим сторонам. Раньше в таких случаях платили выкуп пострадавшей, то есть потерявшей девушку, стороне. Но теперь это превратилось в некую почетную формальность.

Выяснив, что Софичка вполне добровольно вышла замуж и никак не хочет возвращаться домой, дядя Сандро, уже сидя за праздничным столом, пошутил, кивая на своего зятя и Роуфа:

— Нам на полутурок везет... А этот мало что полутурок, да еще полукоршуноед.

Все рассмеялись, а Роуф ответил ему на шутку, хотя особенно разговаривать ему в присутствии родственников жены пока было не положено.

— Почему полукоршуноед, — сказал он с улыбкой, — когда я полный коршуноед?

— Тем более, — ответил дядя Сандро и, подняв стакан, провозгласил тост за хозяина дома.

Выпив по пятнадцать стаканов вина (слишком напиваться было неприлично), они договорились обо всем и уехали. По принятым обычаям у Софички спросили, кого бы она хотела видеть в качестве сопровождающих ее людей с родительской стороны, когда она поедет в дом своего мужа, где будет справляться свадьба. Софичка сказала, что она хотела бы, чтобы с ней поехали Тали, ее муж Баграт, тетя Маша

и одна из ее великанских дочерей — Маяна. На том и порешили.

Через неделю в ясный, солнечный день веселая кавалькада, состоящая из двух мужчин и четырех женщин, выехала из села Бзоу и направилась в Чегем. Недалеко от Чегема дорога очень круто спускалась вниз, и Роуф сам спешился и предложил всем слезть с лошадей во избежание несчастного случая.

Все спешились, и только Софичка заупрямилась и сказала, что она спустится верхом. Этими своими словами она ставила всех, особенно мужчин, в несколько щекотливое положение. Удивляясь ее странному упрямству, Роуф посмотрел на нее, и его взгляд встретился со взглядом ее сильно и мягко сияющих глаз, и он понял, что это не каприз, а что-то другое.

— Я понимаю Софичку! — воскликнула Тали. И в самом деле она поняла ее состояние. А состояние это было безотчетным ощущением счастья и благодарности всем, кто ехал с ней, и, конечно, первым делом Роуфу. Ей ужасно захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы всем понравиться, чтобы всем захотелось сказать: „Да, да, она имеет право быть счастливой“.

Лошади медленно спускались, осаживаясь на задние ноги, и Роуф, держа свою лошадь под уздцы, старался идти поближе к Софичке, чтобы в случае чего удержать ее лошадь за гриву или схватить падающую наездницу. А Софичка сидела в седле, склонившись вперед и изо всех сил упираясь в переднюю луку, и этот головокружительный спуск ее, обычно трусиху, несколько не пугал, так были велики ее счастье и любовь к мужу.

Все благополучно спустились на окраину Чегема. Все сели снова на своих лошадей, а Роуф ввиду близости дома распрощался с друзьями и кружным путем поехал к одному из соседей.

Дело в том, что по абхазским обычаям жених не может быть в доме, пока там идет свадьба. Трудно объяснить, чем вызван этот обычай. Можно предпо-

лагать, что он выражает мистическое целомудрие перед предстоящей брачной ночью. Обычай этот, отделяющий жениха от невесты, как бы очищает изображение гостей от чувственных картин, вызванных чересчур натуралистической близостью жениха к своей невесте.

Хотя было уже темно, но метров за двести от дома Роуфа их заметили и дали знать в дом об их приближении. Несколько молодых людей вскочили на коней и поскакали в их сторону, джигитуя и стреляя в воздух из ружей и пистолетов. Неожиданно Баграт, муж Тали, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, чем до смерти напугал Софичку, которая, по-видимому, весь запас своей храбрости растратила на этот головокружительный спуск.

Вместе со всей кавалькадой, замирая от волнения, Софичка въехала во двор, где у кухни стояли старейшины этой части села, и среди них она увидела отца Роуфа, старого Хасана, и его мать. Две женщины, стоя рядом с ними, держали в руке по керосиновому фонарю.

По двору сновали люди. Справа весь большой двор был перекрыт брезентовым навесом, под которым стояли столы и скамьи, наскоро сколоченные из досок.

Оттуда доносился разнобой голосов. Кругом стояли люди и смотрели на невесту. Кто-то взял лошадь Софички под уздцы, кто-то помог ей слезть с нее, она не замечала ничего.

Первым подошел к ней седовласый старик, старейшина всего соседства. Он поцеловал ее, благословил и как бы направил ее лицом к дому. После этого к ней подошел старый Хасан и тоже поцеловал ее, а после него к ней подошла мать Роуфа и, обняв ее, поцеловала в глаза.

Сейчас отовсюду на нее глядела толпа гостей, и Софичка, оцепенев от волнения, не знала, что делать, и главное, решительно не знала, куда деть



руки, которые висели у нее вдоль тела, как совершенно лишние, тяжелые и смехотворные.

И вдруг Софичка заметила в толпе мальчугана, который принес ей весточку от Роуфа. Страшно обрадовавшись его знакомому лицу, огромным глазам ангелочка, сделавшего свое амурное дело, она вдруг забыла свои волнения и, расплывшись в улыбке, уставилась на него.

Но мальчик нахмурился, показывая неуместность ее улыбки и даже некоторую ее идиотичность, однако Софичка, ничего не понимая, продолжала ему улыбаться, и тогда мальчик, как бы для того, чтобы полностью отсечь это безобразие от себя, спрятался за спиной соседа.

Тут грянула свадебная песня, вокруг Софички затанцевали несколько молодых людей, и она, сопровождаемая свадебной песней, танцующими молодыми людьми, отцом и матерью Роуфа, пересекла двор и поднялась в дом. Одна из женщин, выделенная для этого ритуала, поджидала ее у порога и осыпала ее голову серебряной мелочью. После этого она взошла на крыльцо под скрещенными кинжалами двух парней.

В одной из комнат, ярко освещенной керосиновой лампой, Софичку поставили у стены, накинули ей на голову белый шелковый платок, и теперь она считалась Введенной в Дом.

Стали входить гости, желающие взглянуть на невесту. Некоторые из них приносили подарки: ткань на платье, домотканый ковер, новое одеяло и тому подобное. Некоторые приносили просто деньги.

Гость, приподняв платок, взглядывал на невесту, потом, насмотревшись, выпивал стопку чачи, которую ему вместе с легкой закуской преподносила Тали или Маяна, стоявшие рядом. Гость выпивал за здоровье невесты и уходил во двор, где протискивался к своему месту за пиршественным столом.

Еще до прихода гостей одна из соседок ввела в комнату того самого мальчугана, который приносил

ей весточку от Роуфа. Он сел за стол с тетрадкой и карандашом. Когда стали заходить гости с подарками, он, приняв важный писарский вид, стал вписывать их фамилии в тетрадь и отмечать, кто какой подарок принес. У некоторых гостей он бесцеремонно переспрашивал фамилии и имена, и те безропотно ему подчинялись, боясь, что их приношения могут остаться безымянными.

Софичке стало ужасно смешно, что мальчик, подражая каким-то конторским работникам, важничает, склонившись над своей тетрадкой. Мальчик, заметив, что она ему улыбается сквозь шелковую накидку, сделал вид, что ничего такого не заметил и замечать не собирается, и, нахмурившись, как бы строго сосредоточился на проверке своих записей.

А между тем внизу, во дворе, под брезентовым навесом, началось свадебное пиршество. Оно началось с того, что старый Хасан, держа в одной руке заостренную палку с надетыми на нее сердцем и печенью жертвенного быка, а в другой — стакан вина, произнес языческую молитву в честь покровителя домашнего очага, прося одарить молодых здоровьем, чадородием и миром.

Вслед за ним все опорожнили свои стаканы за здоровье молодых, выбрали тамаду, и свадебное пиршество заработало разрывающими мясо зубами, жующими челюстями, чмокающими языками и влаголюбивыми глотками.

А Софичка всю ночь стояла в своей комнате, куда время от времени приходили гости взглянуть на нее, поздравить, выпить стопку чачи и снова влиться в свадебное пиршество.

Несколько раз Софичку отправляли в другую комнату отдохнуть. Лежа на кровати, она дремала и сквозь дрему слышала звуки песен, хлопанье ладоней во время танцев, вскрики застольцев и покрывающий все звуки громкий голос тамады. Через некоторое время ее снова поднимали, ибо за-

столицы, подчиняясь таинственным воздействиям винных паров, то забывали о невесте, то проникались неостановимой жаждой увидеть ее лицо, приподняв край шелковой накидки.

Поздним утром пиршество иссякло. Днем Софичка отдыхала, а на следующую ночь пиршество возобновилось. Но теперь Софичка спала в закрытой комнате вместе со своим мужем, который тайно через заднюю дверь дома пробрался к ней. По старинным обычаям гости, как бы проникшись идеей защиты целомудрия невесты, имели в таких случаях право перехватывать жениха, полушутя (но достаточно надоедливо) мешать его попыткам соединиться с невестой.

Хорошо жилось Софичке в доме Роуфа. И старый Хасан, и его жена Хамсада, и брат Роуфа Шамиль, и его жена Камачич, и двое их детей — все любили Софичку. И как можно ее не полюбить, миловидную, мягкую, услужливую Софичку, целыми днями занятую в доме, на огороде, на приусадебном участке. Стоит ли говорить, что ее дар любви ко всем ближним разгорелся ровным, сильным пламенем в этом добром доме.

Роуф любил подшучивать над всеми, и нередко его шутки были обращены на Софичку. Софичке нравилась эта его черта, хотя она и не всегда понимала его шутки. Так в один из первых дней ее пребывания в доме мужа он попросил у нее:

— Не приготовишь ли ты нам коршуна?

— Давайте, — сказала Софичка, не ожидая подвоха и, главное, не видя в своих словах ничего смешного.

Но все почему-то дружно расхохотались, пояснив ей, что в этом году уже коршунов не будет, что придется ждать перелета до следующего сезона. Ну, ждать так ждать, что тут смешного? Но Роуф стал всем разъяснять, как она вздохнула, с какой печаль-

ной покорностью и даже обреченностью она дала согласие приготовить коршуна и сколько душевных сил ей стоило преодолеть родовую неприязнь к этой вкусной птице, свойственную жителям западного Чегема. Хотя Софичке казалось, что она Роуфу ответила обычным голосом, она поверила ему и решила, что в самом деле выразила свое согласие обреченным голосом, да еще как бы зная, что коршунов уже нет.

Этой своей склонностью к шутке он напоминал ей дядю Кязыма и от этого казался ей еще роднее и любимее. Правда, надо сказать, что шутки дяди Кязыма обычно бывали жестче. Но все равно Софичка находила в Роуфе что-то общее с дядей Кязымом, и это ей нравилось, потому что она и дядю Кязыма очень любила. Ведь, в сущности, он ей заменил отца.

Около года Софичка и Роуф прожили в доме его отца. За это время Роуф и его брат Шамиль построили дом поблизости от дома тети Маши. Когда они с Роуфом переехали жить в свой дом, Софичка была рада, что она живет собственным домом да еще поблизости от своих. Она была рада бывать у тети Маши, в Большом Доме дедушки и у всех остальных. Но и дом старого Хасана она тоже не забывала и туда успевала приходить время от времени.

За год замужества Софичка испытала только одно сильное потрясение. Возвращаясь с кувшином воды от родника, она поскользнулась и упала, и у нее был выкидыш. Софичка погоревала с неделю, а потом постепенно успокоилась. Она решила, что у них с Роуфом вся жизнь впереди и у нее еще будет много времени, чтобы завести детей. Если б она знала, что ей предстоит!

В то утро, позавтракав с мужем, Софичка отправилась на огород, а Роуф, взяв топор, поднялся в лес. Он собрался срубить огромный бук, распилить его и пустить на доски. Он его давно выбрал в лесу, еще когда строили дом, отметил и собирался срубить, чтобы наделать досок для кукурузного амбара.

Был чистый, уже совсем весенний, февральский день. Нежным розовым цветом цвели персики и алыча, курчавая травка пушилась на дворе и на склоне горы под верхнечегемской дорогой.

Софичка вскапывала огород и сажала семена цицмата, укропа, петрушки и кинзы. Вдруг Софичка случайно подняла голову и увидела на склоне горы, недалеко от дома Адгура, спускающегося вниз Роуфа. Сердце у нее неожиданно сжалось от боли. Она никак не могла понять, почему он так быстро возвращается домой.

И что-то странное было в его далекой походке. Он шел как-то слишком осторожно и даже вроде покачиваясь. И почему-то одну руку прижимал к шее. И вдруг у Софички мелькнула догадка: он пьян! Где же он мог выпить с утра? Ну конечно, в доме Адгура! Он проходил мимо его дома, когда собирался в лес, а у Адгура, видно, были гости, и он, увидев Роуфа, позвал его к себе! Ведь сам он болен и пить не может. Вот он и решил, что Роуф по-соседски поддержит стол. Пока она об этом думала, Роуф прошел склон и скрылся возле родника, где тропа поднималась к их дому.

Как только Роуф скрылся, какая-то черная тревога снова сжала сердце Софички. Яркий день потускнел, словно солнце зашло за тучу. Как-то странно он шел. Она вдруг поняла, что за какой-то час или полтора с тех пор, как он ушел из дому, он никак не мог так опьянеть. Такого за абхазским застольем никогда не бывает. И почему он все время рукой придерживал шею?

Опершись о лопату, Софичка, словно окаменев, стояла на огороде. Вот он появился у ворот, все так же придерживая шею и, словно в темноте, неверно ступая по тропе. И вдруг Софичка, как в страшном сне, заметила, что рука Роуфа, придерживающая шею, вся в крови.

— Что с тобой! — закричала она не своим голосом и побежала к нему.

Она распахнула ворота и обняла его.

— Что с тобой?! — повторила она в отчаянии, теперь заметив, что не только ладонь, но и все плечо, и рукав свитера залиты кровью.

— Ничего, — тихо сказал Роуф, продолжая придерживать шею, — не пугайся.

Лицо у него было бледно-серое. Почти теряя сознание от ужаса, она ввела его во двор. Он остановился посреди двора, покачиваясь и продолжая придерживать кровавой ладонью шею.

— Доведи меня до постели, — сказал он, и Софичка вдруг поняла, что он почти ничего не видит, хотя глаза у него открыты. Она почувствовала, что сознание мгновениями приходит к нему, а мгновениями уходит. Она схватила его под руку и повела к дому. Он так тяжело на нее опирался! Как только он дошел до дому!

Она хотела положить его на кровать, но он тяжело сел на нее и не захотел ложиться.

— Я все перепачкаю, — сказал он, — помоги раздеться.

Он беспомощно, как ребенок, поднял руки, и она стянула с него тяжелый от крови свитер. Потом она ему помогла стянуть брюки и носки. Он лег. Вся шея его была залита кровью, и она увидела глубокую рану под правым ухом. Кровь продолжала оттуда капать, и он снова прикрыл рану ладонью.

— Как это ты? — вскрикнула Софичка.

— Потом, — сказал он, — перевяжи чем-нибудь.

Софичка залезла в шкаф и достала чистую простыню. Она начала ее разрезать ножницами, но поняла, что ножницы слишком медленно режут, и стала рвать простыню на длинные куски. Она принесла из кухни кувшин, плеснула из него на кусок простыни и стала ею протирать его окровавленную шею. Тут она убедилась, что много крови затекло под рубашку, стянула ее с него и снова, плеща водой на кусок чистой простыни, протерла, промыла все его тело.

Потом новым чистым куском простыни она перевязала ему шею. Во время перевязки он только тихо постанывал.

— Сейчас хорошо, — сказал он после перевязки, вытягиваясь на постели. Через минуту его стал колотить озноб.

— Как это ты? — спросила она.

Роуф рассказал ей, что случилось. Оказывается, когда он подошел в лесу к своему дереву, он увидел, что его рубит ее брат Нури. Он его уже наполовину перерубил. Роуф показал ему на зарубку, которую он оставил на дереве. На это Нури ему ответил, что ему рано делать зарубки на деревьях в их краю Чегема, пусть делает зарубки там, где живут коршуноеды. Слово за слово, и Нури, и оттого, что был по природе горяч, и оттого, что с самого начала невзлюбил Роуфа, и оттого, что он сейчас был не прав, пыхнул и швырнул в Роуфа топор. Топор пролетел мимо головы Роуфа, чиркнув лезвием его по шее. Вот все, что случилось.

Пока он рассказывал, повязка на его шее вся пропиталась кровью, и кровь стала капать на подушку. Софичка сняла с его шеи повязку, промыла рану и снова завязала ему шею новым куском простыни. Она перевернула под ним окровавленную подушку и, став на колени у его изголовья, стала гладить ему волосы. Он это любил.

— Вот так хорошо, — сказал Роуф и положил руку ей на плечо. В руке была мертвая тяжесть. Он лежал, закрыв глаза, слегка постанывая. Но озноб как будто унялся.

Софичка попыталась встать, чтобы крикнуть тетю Машу, но он слабым движением руки на ее плече дал знать, что хочет, чтобы она продолжала его гладить по голове. Он тихо постанывал, она продолжала его гладить по голове и вдруг, взглянув на повязку, обмерла: она была вся в крови. Она вскочила, сняла повязку, обтерла шею, где из маленькой ран-

ки, как из маленького, но глубокого родника какая-то сила все выталкивала и выталкивала кровь. Она снова перевязала ему шею, принесла чистую подушку и, поддерживая его голову, вытащила из-под него окровавленную подушку и заменила ее свежей.

Софичка поняла, что надо кричать людям, что она одна не справится. Она выскочила на веранду и закричала тете Маше как ближайшей соседке:

— У нас несчастье! Роуф ранен! Передай дяде Клязму, пусть сейчас же едет за доктором!

— Софичка, пить! — попросил Роуф, когда она вбежала в комнату.

Софичка побежала на кухню, налила в чайник кислого молока из кастрюли, вбежала в горницу и долила в кислое молоко воды из кувшина. Она знала, что вода с кислым молоком лучше утоляет жажду. Перелила из чайника эту смесь в стакан и подала ему. Он выпил целых три стакана.

Пока она его поила, она слышала голос тети Маши, кричащей в Большой Дом о постигшем Софичку несчастье. Повязка на шее неумолимо закрашивалась кровью.

Она присела рядом с ним на кровать и снова стала гладить ему голову. И вдруг, ужасаясь самой себе, подумала: он это так любил при жизни!

— Софичка, — сказал он очень тихо, но очень вразумительно, — сейчас сюда нагрянут люди, и я боюсь, что мы не успеем поговорить... Если со мной что случится...

— Роуф, что ты говоришь! — вскричала Софичка.

— Если со мной что случится, — упрямо повторил Роуф, — ты все равно люби меня...

— Что ты говоришь, Роуф! — закричала Софичка. — С тобой ничего не случится!

— Все равно люби меня, — жестко повторил Роуф, — даже если выйдешь замуж, все равно люби меня...



— Роуф, — сказала Софичка, изо всех сил глотая подступающие рыдания, — я никогда, никогда не выйду замуж... Но ты не умрешь, не может быть, чтобы ты умер из-за такой ранки...

— Не знаю, — сказал Роуф, как бы успокоенный ее словами, — но я хочу, чтобы ты меня всегда любила... Дай напиток...

Софичка поднесла к его губам прохладительный напиток, и он жадно выпил два стакана. Потом он закрыл глаза и как будто забылся. Она гладила и гладила ему голову. Но повязка опять насквозь промокла кровью, и она опять ее сменила. Он продолжал находиться в забытии и вдруг ясно сказал:

— Пора пахать...

Он это сказал, не открывая глаз, и Софичка не могла понять, к чему он это сказал. Пахать и в самом деле было пора, но он это так сказал, как будто от туда ему виднее и он это говорит остающимся здесь.

— Меня все ваши полюбили, — вдруг сказал он, открывая глаза, — только он один меня чего-то невзлюбил... Я был сильнее... Может, поэтому...

— Я ему этого никогда в жизни не прощу, — сказала Софичка, — он мне не брат.

Роуф лежал с закрытыми глазами, изредка тихо постанывая.

— Не прощай, — вдруг сказал он внятно, открыв глаза, — но мстить не надо... Скажи брату: „Мстить не надо... Кровь — нехорошо...“ Из меня вышло столько крови... Кровь — нехорошо...

— С тобой ничего не будет! — закричала Софичка. — Тебя вылечит доктор...

— Да, — согласился Роуф, — но ты меня всегда люби... Собаку не забывай кормить.

Прикрыв ладонью рот, Софичка беззвучно рыдала у его постели, когда в дом вбежали тетя Маша, тетя Нуца и дядя Кязым. Роуф уже не приходил в себя. Иногда он в бреду говорил какие-то слова, но разо-

брать их было невозможно. Дядя Кязым поехал за доктором в Анастасовку.

Роуф еще дышал редкими, глубокими вздохами, когда во дворе раздался вой собаки. Все поняли, что это конец. Собаку прогнали со двора, она убежала вниз к роднику, и оттуда время от времени раздавался ее пронзительный вой. Роуф умер за час до приезда дяди Кязыма и доктора. Доктор сказал, что все равно уже ничего нельзя было сделать — он потерял слишком много крови.

Черное отчаяние сдавило душу Софички. Она ничего не видела, ничего не понимала, не могла плакать. Покойника вымыли, переодели, положили в гроб. Трое суток приходили люди прощаться, их встречали, сажали за поминальные столы, но Софичка ничего не понимала. И только на третьи сутки она затряслась в беззвучном плаче, когда во двор, громко рыдая, вошел Алеша. Она вспомнила с такой яркостью и резкостью тот вечер, тот ливень, ту ночь на лошадях, она вспомнила, как Роуф накидывал на нее бурку, как его пальцы завязывали тесемки на ее шее, и, словно только сейчас поняв, что его больше не будет, затряслась, зашлась в самом страшном беззвучном плаче.

А между тем в траурной толпе гостей уже перешептывались о том, что брат Роуфа Шамиль не пришел попрощаться с мертвым братом. Это было верным признаком того, что он готовится к кровной мести. По древним законам кровной мести брат не может оплакивать смерть брата, не отомстив за его смерть.

На следующий день после похорон дядя Кязым пришел к Софичке. Тетя Маша оставалась с Софичкой ночевать.

— Софичка, — сказал дядя Кязым, усаживаясь у огня и свертывая сигарку, — ты должна сделать одно дело.

— Что? — спросила Софичка, глядя на него окаменевшими от горя глазами.

— Софичка, — повторил он, — ты должна попытаться остановить кровную месть... Если Шамиль решится убить Нури, наши тоже на этом не остановятся... Слишком много крови прольется... Попробуй с ним поговорить... Мы накажем сами этого дурака...

— Как вы его накажете? — спросила Софичка.

Дядя Кязым склонился к очагу, достал дымящуюся головешку, прикурил и снова бросил ее в очаг.

— Мы его выгоним из Чегема, чтобы он до конца своих дней здесь не бывал и нигде никогда не встречался с людьми нашего рода.

— Хорошо, — согласилась Софичка, — я передам им об этом. Но передайте Нури, что он мне больше не брат, что я до конца своих дней не прощу ему это убийство и видеть его не хочу ни на этом, ни на том свете.

— Передам, — твердо ответил дядя Кязым и затянулся сигаркой.

— Мой муж тоже не хотел крови, — сказала Софичка, задумавшись, — он мне об этом сказал перед смертью...

— Не ты его одна потеряла, Софичка, — сказал дядя Кязым, — мы все его успели полюбить...

— Да, — согласилась Софичка, — он и об этом сказал перед смертью... Все, кроме Нури...

— Не будем о нем вспоминать, — сказал дядя Кязым, — пусть узнает, что значит проклятие рода, пусть живет всю жизнь с чужими людьми... А ты иди и поговори.

— Хорошо, я пойду, — согласилась Софичка, глядя на огонь очага.

Дядя Кязым ушел, и Софичка собралась в дорогу. Необходимость что-то делать оживила ее умертвленную горем душу.

— Еще раз попробуй накормить собаку, — сказала Софичка тете Маше, уходя из дому.

— Не беспокойся, я постараюсь, — ответила тетя Маша.

Четвертый день после смерти Роуфа его собака ничего не ела. В первый день она выла, а потом, смущенная обилием людей, которые приходили проститься с покойником, она перестала выть и лежала под домом. Несколько раз ее пытались кормить, но она не принимала еду. Софичка сама сегодня утром пыталась ее накормить, но она даже не понюхала брошенную ей мамалыгу, а только виновато посмотрела на Софичку, вяло вильнула хвостом.

В черном платье, в черной жакетке, Софичка шла по верхнечегемской дороге и думала о предстоящем разговоре в доме старого Хасана. Ее назойливо преследовали слова старинной абхазской песни:

За убитого поутру  
Отомстивший до полудня...

Она сейчас ненавидела своего брата, но все-таки смерти его не желала. Вид крови и смерти любимого мужа внушил ей такой живой ужас, что она боялась, что все это может повториться.

Она понимала, что значит говорить об этом с его родным братом, уже поклявшимся отомстить за кровь брата. Но она знала, что совесть ее чиста, потому что ее любимый муж не хотел крови, и она понимала, что род ее сейчас ждет ее помощи, чтобы остановить кровь. Потому что, если Шамиль убьет Нури, кто-нибудь из ее двоюродных братьев постарается убить Шамиля и так пойдет. Только сейчас можно остановить кровь. И в странном несоответствии с тем, что она хотела, в голове ее звучало гордой траурной музыкой:

За убитого поутру  
Отомстивший до полудня...

Она подошла к дому старого Хасана. „Если б мы продолжали здесь жить, ничего бы не случилось, —

подумала Софичка, — это я просила перебраться поближе к нашим“. Над кухонной крышей стоял дым, и Софичка прошла прямо в кухню.

Она открыла дверь и увидела старого Хасана, сидевшего у огня, держась руками за голову. На той же скамье, скрестив руки на груди, сидела его жена Хамсада. Жена Шамиля, наклонившись над котлом, висевшим на огне, готовила мамалыгу, а сам Шамиль полулежал на кушетке.

Старуха, увидев ее, пошла ей навстречу, и они, обнявшись, заплакали. А старый Хасан сказал:

— Софичка, не забывай нас. Приходи к нам, как к себе домой...

— Зачем мы ушли отсюда? — промолвила Софичка и снова беззвучно зарыдала.

— Это судьба, — сказал старый Хасан, — а от судьбы не уйдешь.

Софичку посадили у огня, и она рассказала все, что ей передал дядя Кязым. Ее выслушали молча.

— Брат твой тоже не хотел крови, — сказала Софичка, повернувшись к Шамилю, — он мне об этом сказал перед смертью.

— Но твой брат пролил его кровь, — жестко поправил ее Шамиль.

— Я дала слово своему покойному мужу до смерти не прощать ему эту смерть, — сказала Софичка, — нет у меня брата. Он умер раньше моего мужа.

— Вот и я ему говорю: оставь! — добавил старый Хасан. — Ты свою мать убьешь, а не Нури. Ведь если ты его убьешь, они тебя тоже убьют...

— Пусть, — глухо вымолвил Шамиль, — я выполняю свой долг, а там будь что будет.

— Мать свою пожалей, — терпеливо напомнил старый Хасан, — о себе я не говорю. Кроме тебя, у нас теперь нет детей...

— Кровь брата не даст мне жить, — сказал Шамиль, — и как я на людей буду смотреть?

— Люди тебе ничего не скажут, — снова обратил-

ся к сыну старый Хасан, — сейчас другое время. И учти, брат твой перед смертью об этом просил. Софичка не соврет.

— И этот подлец, швыряющий в человека топор, как в бешеную собаку, будет жить?! — воскликнул Шамиль, но Софичка почему-то поняла, что здесь вершина его гнева и он выше не поднимется.

— Он проклят нашим родом, — сказала Софичка, — а я до смерти ему этого не прощу.

Шамиль слушал, нахмутив брови.

— И твой брат не хотел крови, — напомнил старый Хасан, — Софичка этого придумать не могла.

— Он сказал: „Передай брату — мстить не надо“, — сказала Софичка, — он сказал: „Кровь — это нехорошо“.

— Ладно, — мрачно согласился Шамиль, — я не пролью его кровь, раз мой брат этого не хотел. Пусть твой брат убирается из нашего села и никогда не попадается мне на глаза, потому что я тогда не отвечаю за себя. Так и передай им, Софичка. Я иду на это ради тебя, ради своего брата. Я знаю, как вы друг друга любили.

— Я буду до конца жизни своей любить его, — сказала Софичка.

— Нам всем больше ничего не остается, — добавил старый Хасан.

С этим Софичка и ушла. Она чувствовала, что это посещение было нужно не только ее родне, но и всей семье старого Хасана. Отец и мать, потеряв одного сына, сейчас больше всего боялись в результате кровной резни потерять и второго. Она чувствовала, что сделала угодное Богу дело и выполнила предсмертное желание мужа. Брату она никогда, никогда не простит, но смерти его она не хотела. Да, не хотела.

Софичка вернулась домой и рассказала обо всем тете Маше. Тетя Маша встала, чтобы пойти в Большой Дом и передать им слова Софички.

— Пыталась кормить вашу собаку, — сказала она, уходя, — не кушает ничего.

Софичка взяла чугунок с молоком, вышла во двор и вылила часть молока в долбленое корытце, стоявшее недалеко от крыльца. Она подумала, что, может, собака захочет полакать молоко. Собака лежала под домом и следила за ней. Когда Софичка возвращалась на кухню, их взгляды встретились, и собака виновато опустила голову.

Софичка вошла в кухню и тяжело опустилась на кушетку. Теперь, когда она выполнила свой долг и спасла обе стороны от смертоубийства, на нее снова навалилось отчаяние. Будь она более замкнута на себе, почувствуй она, что жизнь ее целиком и полностью принадлежит ей, она бы пришла к мысли покончить с этой жизнью. Но она никогда не ощущала и не могла ощущать свою жизнь как нечто, принадлежащее только ей, и потому даже сейчас, когда погиб тот, кому она и ее жизнь больше всего принадлежали и кого она любила больше своей жизни, она все равно об этом не думала, потому что то, что осталось от ее жизни, все равно не принадлежало ей одной, а принадлежало и дедушке, и дяде Кязыму, и старому Хасану, и всем близким. И поэтому, несмотря на ощущение полной пустоты и бессмысленности жизни, мысль о самоубийстве не приходила ей в голову.

Она долго так сидела, уронив руки на колени, и обрывки жизни с Роуфом мелькали у нее в голове, сопровождаемые пронзительной печалью, как это бывает во сне, когда мы видим близкого человека, полного радости жизни, и в то же время знаем, что он умер, что его уже нет.

Софичка приподняла голову, и случайно взгляд ее упал на окно. Она увидела, что собака Роуфа подошла к корытцу и, как бы преодолевая равнодушие, неохотно хлебала молоко. Похлебав его с минуту, она угрюмо поплелась под дом, как бы говоря своей по-

ходкой: если уж тебе так хочется, чтобы я жила, я буду жить.

И Софичка встала, взяла кувшин и пошла на родник за водой. Она принесла несколько кувшинов воды и перелила их в ведра. Она принялась мыть в доме полы, затоптанные многочисленными людьми, приходившими прощаться с ее мужем. Потом она достала из кладовки кукурузные початки и, сев у огня, стала вылуцживать прямо в подол. Налуцжив дюжину початков, она вышла во двор и, придерживая подол, стала сзывать кур. Оголодавшие куры мигом слетелись к ее ногам. Разбросав зерна и отряхнув подол, она вернулась на кухню и поставила к огню чугунок с фасолью.

Вечером она впустила во двор корову и впервые за эти дни сама подоила ее. Все это время корову доила тетя Маша. Как обычно, она сначала пустила под корову теленка и, дав ему немного сосать от каждого сосца, принялась доить сама, время от времени отгоняя теленка хворостиной.

Подоив корову, она вернулась на кухню, перелила молоко сквозь цедилку в чугунный котел и поставила его на огонь. Потом она достала из банки ложку сычужного раствора и влила его в молоко. Вымыв тщательно руки и вытерев их полотенцем, она засучила рукава и окунула руки в молоко. Из молока стали выплывать маленькие кусочки сыра, она стала собирать их и лепить из них большой ком сочащегося свежего сыра. Она переложила его в большую тарелку, придав ему обычную, округлую форму сулуни.

Потом она посолила и наперчила фасоль, поставила на огонь заварку мамалыги, сварила ее, и, когда мамалыжной лопаткой по привычке переложила две порции в тарелки, она снова все вспомнила и беззвучно заплакала. Беззвучно плача, она поужинала фасолевым соусом и кислым молоком. Убрала остатки ужина в шкаф.



Продолжая беззвучно плакать, она вышла во двор и кинула собаке кусок мамалыги. Собака привстала и неохотно съела мамалыгу. Софичка отогнала от коровы теленка и перегнала корову за ворота на скотный двор.

Софичка вернулась в дом, достала из горницы фотокарточку Роуфа, которую он когда-то прислал из армии, и, придя с ней на кухню, села у очага и стала ее рассматривать. Это была единственная фотокарточка, которая от него осталась. Здесь он был снят с неведомым другом, русским красноармейцем. И хотя вид у него на этой фотокарточке был довольно красивый, сейчас Софичке он казался чересчур грустным. Казалось, здесь, на этой давней фотографии, присланной из армии, он уже знает о своем печальном конце. Она собиралась поехать в город и сделать из этой фотографии большую, но такую, чтобы он на ней улыбался. Ведь он так любил смеяться, подшучивать, и ему так шла улыбка, и она хотела, чтобы он на фотографии навсегда остался улыбающимся.

За этим занятием ее застала тетя Маша. Она была в Большом Доме, где собрались родственники и приняли решение об изгнании Нури из села и родственного окружения. Он признал себя во всем виноватым и завтра рано утром уедет в город Мухус, где будет отныне жить и устраиваться на работу. Такова воля рода, выраженная дедом Хабугом и поддержанная всеми родственниками. Чунку, двоюродного брата Софички, едва удержали. Он пытался убить Нури, но старый Хабуг запер его в чулане.

— Пусть скажет спасибо, что удержала Шамиля от крови! — сказала Софичка, довольная быстрым и бескровным наказанием брата.

— Он хочет перед отъездом попросить у тебя прощения и попроситься с тобой, — добавила тетя Маша.

— Он сошел с ума! — воскликнула Софичка. — Ни на этом, ни на том свете не будет ему от меня проще-

ния! Пусть скажет спасибо, что закону не пожаловалась. Закон его упек бы в Сибирь.

— Ну зачем же в наши родственные дела мешать закон? — сказала тетя Маша.

— То-то же, — отвечала Софичка, — пусть навсегда сгинет с наших глаз, убийца!

— Все же родная кровь, — вставила тетя Маша, — и он тебя так любит.

— Я ему своего мужа никогда не прощу, — сказала Софичка, взглядываясь в карточку, словно ища у Роуфа одобрения своим словам.

— А ну, покажи, — сказала тетя Маша и взяла в руки карточку. — А это кто с ним, что-то я его не узнаю? — удивилась тетя Маша.

— А это русский, — пояснила Софичка, — они вместе служили. Я хочу завтра поехать в город и переснять эту карточку. Хочу, чтобы сделали большую и чтобы он улыбался, а то здесь он очень суров. А ведь при жизни он так любил посмеяться, пошутить.

— В городе сделают, — уверенно сказала тетя Маша, — как закажешь, так и сделают. Им только плати деньги.

— Вот я и поеду завтра, — сказала Софичка и, привстав, осторожно поставила карточку на карниз очага.

— Так мне оставаться или идти к себе?

— Иди, иди, тетя Маша, — отвечала Софичка, — я одна не боюсь.

— А там, если захочешь кого из моих девок, — сказала тетя Маша, вставая, — ты только скажи, я пришлю люблю.

— Хорошо, тетя Маша, — сказала Софичка, провожая ее до веранды.

— А что собака, — спросила тетя Маша, осторожно ступая по ступенькам крыльца, — стала есть?

— Да, — ответила Софичка, — сегодня немного поела.

— Надо же, — уже из темноты сказала тетя Маша, — собака, а горе чувствует, как человек.

— А его все любили! — горячо начала Софичка, но тетя Маша исчезла в темноте, и Софичка замолкла.

На следующее утро Софичка встала, умылась, подоила корову, выгнала ее со двора, накормила кур и приготовила себе завтрак. Она съела вчерашнюю порцию мамалыги, которую по привычке предназначила Роуфу. Она съела ее с фасолевым соусом и свежим сыром, обмазанным аджикой. Остатки мамалыги она вынесла собаке. Собака лежала перед домом. Софичка бросила ей мамалыги, собака встала, понюхала ее и, как бы преодолевая отвращение, съела. И Софичка почувствовала стыд за свой аппетит.

Софичка надела жакет поверх траурного платья, надела на ноги свои уже хорошо разношенные красные туфли, взяла денег и взяла фотокарточку, стоявшую на карнизе очага.

Она сначала хотела вырезать изображение мужа на фотографии, чтобы фотограф по ошибке не переснял его товарища. Но потом пожалела фотокарточку и не захотела отделять Роуфа от его армейского друга и очертила карандашом изображение Роуфа, чтобы фотограф не ошибся. Деньги и фотокарточку она положила во внутренний карман жакетки и вышла из дому.

День был солнечный, ясный. Софичка быстро, за какие-нибудь полтора часа, спустилась в местечко Наа, переправилась на пароме через Кодор, дождалась рейсовой машины и приехала в Мухус.

Еще когда она дожидалась машину в Анастасовке, к ней подошел какой-то парень и спросил по-русски:

— Ты из Чегема?

— Да.

— Ты не жена погибшего Роуфа?

— Да, — сказала Софичка, — ты его знал?

— Три года назад мы вместе в скачках участвовали. Какой был парень! Я его, как брата, полюбил.

— А его все любили, — светло ответила Софичка, — все на свете.

— Да, — скорбно согласился парень и, показывая, что он об этом деле знает гораздо больше, чем может показаться, добавил: — А брата милиция забрала?

— Нет, — сказала Софичка, — зачем нам жаловаться закону. Мы его изгнали из нашего рода. Он теперь мертвей мертвого. Мертвого хоть близкие оплачут.

— Ты смотри, как получилось, — вздохнул парень, — я только вчера узнал, а то поднялся бы оплакать его.

— Да, — невольно похвасталась Софичка, — из многих сел приехали. Из Мухуса, из Кенгурска. Даже начальник кенгурского военкомата был.

— А ты сама в Мухус едешь?

— Да, — сказала Софичка и достала фотокарточку, — хочу большую сделать, чтобы он смеялся, а то здесь он скучноватый. А он так любил посмеяться.

— Но разве они могут сделать, чтобы он смеялся? — усомнился парень, взглянув на фотокарточку.

— Конечно, — уверенно сказала Софичка, — они любую могут сделать. Дяде Сандро сделали фотокарточку, как будто он на коне и с шашкой мчится в бой. А в это время его конь пасся себе в котловине Сабиды. И конь получился в масть.

— Да, но... — усомнился парень, однако не стал уточнять свои сомнения.

Автобус привез ее в Мухус. Софичка шла по главной улице города. Грохотали грузовики, визжали легковые автомашины и цокали по асфальту лошади фаэтонщиков. Люди так и шныряли по тротуарам. Она подошла к стеклянной витрине фотоателье и посмотрела на выставленные там фотографии. Она не стала рассматривать там всяких девиц, женихов

и невест, пузанчиков с мячами, а обратила внимание на большую фотографию величиной чуть ли не с газетный лист, изображающую усатое лицо важного старика. Вот такой величины фотографию Роуфа ей хотелось бы иметь.

Софичка открыла дверь и вошла в приемную фотостудии. В большой светлой комнате рядом с зеркалом стоял столик, и за ним сидела молодая девушка. На стенах висели фотографии разных размеров, и люди, изображенные на них, часто улыбались, а то и просто хохотали.

— Здравствуйте, — сказала Софичка и подошла к девушке за столиком. Та читала книжку.

— Здравствуйте, — ответила девушка, отрываясь от книги.

Софичка вытащила из кармана фотокарточку, положила ее на стол и ткнула пальцем в Роуфа.

— Я хочу, чтобы сделали его большую карточку, — сказала Софичка.

— Хорошо, — ответила девушка.

— Вот такую, — сказала Софичка и показала на фотографию смеющегося человека, висевшую на стене.

— Хорошо, — повторила девушка и приготовилась выписывать ей квитанцию.

— Но я хочу, чтобы он смеялся на ней, — уточнила Софичка.

Девушка снова взглянула на фотографию, лежащую на столе, и подняла на Софичку удивленный взгляд.

— Это невозможно, — сказала она, — мы можем сделать такую же, только большего размера.

— Нет, — ответила Софичка, — мне надо, чтобы он смеялся.

— Это невозможно, — ответила девушка, — мы такие не делаем.

— А кто делает такие?

— Никто, — сказала девушка и снова взялась за книгу.

Софичка почувствовала, что от нее хотят отделаться. Им просто лень менять суровое лицо на улыбающееся, вот они и выдумывают.

— Моего дядю фотографировали с шашкой на лошади, — настойчиво пояснила Софичка, — а в это время его лошадь паслась в котловине Сабиды. И лошадь в масть получилась, и шашка, которую он никогда в руках не держал.

— Это совсем другое, — сказала девушка, — вот вернется он из армии, пусть заходит, и мы ему сделаем улыбающуюся фотографию.

— Он уже давно вернулся из армии, он умер, — сказала Софичка таким обезоруживающим голосом, что девушке стало жалко ее. Теперь она обратила внимание на ее черное платье и выражение глаз загнанной косули.

— Кто он вам? — спросила девушка.

— Муж мой, — сказала Софичка.

— Я сейчас поговорю с фотографом, — неожиданно для себя вымолвила девушка, чтобы как-то смягчить отказ. Ей стало очень жалко эту молоденькую вдову.

— Ты ему скажи, что я за деньгами не постою, — попыталась ее воодушевить Софичка.

— Дело не в деньгах, — грустно сказала девушка и, взяв фотографию, ушла в другую комнату.

Через некоторое время она вышла оттуда с человеком в черном халате, и Софичка решила, что он фотограф умерших людей.

— Мы не можем вам помочь, — сказал он, кладя фотографию на стол, — чтобы на большой фотографии он улыбался, надо, чтобы улыбка была и на маленькой.

У Софички был такой убитый вид, что у него мелькнула и погасла авантюрная мысль подретушировать улыбку.

— Поймите, девушка, — сказал он, — такого вам никто нигде не сделает. Мы можем только увеличить.

— Видно, ему недолго было суждено смеяться, — сказала Софичка в глубокой задумчивости, — делайте тогда так, как есть.

Она так сильно опечалилась, что не заметила, как девушка выписала квитанцию, забрала у нее деньги, вернула сдачу и предупредила, чтобы она приезжала через десять дней.

Софичка поспешила на автостанцию. Она снова вспомнила бравую фотографию дяди Сандро на коне, поднятом на дыбы, и с шашкой в руке. И конь был точно в масть, хотя дядя Сандро не приводил его к фотографу, но, видно, хорошо им описал его. Видно, с живыми они могут делать все, что хотят, а с мертвыми не могут. Так решила Софичка, возвращаясь на автобусе в Анастасовку.

Она поднялась в Чегем и, проходя мимо Большого Дома, на скотном дворе увидела дядю Клызю. Он ей сказал, что завтра будет сооружать могильную ограду. Колья и жерди уже вытесаны.

Софичка спустилась к себе домой, вошла на кухню, разожгла огонь и приготовила мамалыгу. Она поела, чувствуя, что сильно проголодалась в дороге. Вынесла остатки мамалыги собаке. Бросила под крыльцом. Собака медленно вышла из-под дома и опять, как бы давясь от отвращения, съела мамалыгу. Софичке снова стало совестно за свой аппетит. „Неужели собака любила его больше, чем я? — подумала она. — Нет, — решила она, — собака не могла любить Роуфа больше меня, но собаку от горя ничего не отвлекает“.

Потом она взяла лопату и поднялась в чащу над верхнечегемской дорогой. Она решила выкопать саженец лавровишни и посадить его над могилой мужа. Траурно-глянцевитые вечнозеленые листья лавровишни ей казались наиболее уместными. Он и встре-

тился ей первый раз в жизни лицом к лицу с веткой лавровишни в руке.

Она нашла крепкий росток лавровишни и аккуратно, чтобы не повредить корней, откопала его. Она вернулась с ростком домой. Дома она прихватила кувшин и спустилась вниз, где в конце приусадебного участка, недалеко от родника, был по ее воле похоронен муж. На расстоянии примерно метра от могилы она вырыла лопатой ямку, посадила туда росток лавровишни и завалила корни землей. А потом, ладонями вминая землю вокруг ростка, закрепила его на месте.

После этого, отряхнув ладони, она постояла над могилой мужа и рассказала ему все, что приключилось за последние дни. Рассказала, что исполнен его наказ не проливать кровь, рассказала, что Нури навечно изгнан из рода, рассказала про неудачу с его портретом, рассказала, что собака наконец начала есть, про все рассказала.

Рассказывая, она тихо плакала над его могилой и впервые чувствовала, что слезы облегчают ей душу. Потом она нарвала папоротниковых стеблей, спустилась к роднику, набрала воды тыквенной кубышкой, стоящей на поверхности родника, положила на плечо папоротниковую прокладку, взгромоздила туда кувшин с водой и пошла назад. Придерживая одной рукой кувшин, она одолела перелаз и оказалась на своем участке. Подойдя к могиле, она сняла с плеча кувшин, полила росток лавровишни, снова взгромоздила его на плечо и, подхватив лопату, поднялась к себе домой. И впервые после смерти мужа ей показалось, что кувшин стал намного легче, даже учитывая, что часть воды она употребила на полив ростка. Она подумала, что это его душа, витающая тут, помогает ей, потому что одобряет все, что она сделала.

Собака Роуфа — это был крупный пес по кличке Волк неизвестной Софичке породы — вскоре стала ходить на могилу своего хозяина и целыми сутками



сидеть возле нее. Раз в день собака приходила домой поесть и снова уходила на могилу хозяина. Там иногда она влаивала, гоняя ворон, ежей и зайца, забредшего полакомиться фасолью. Домашних кур, которые тоже там иногда паслись, она не трогала, но, если они слишком близко подходили к могиле, она, не вставая, грозным взрыком прогоняла их. Иногда она заливалась лаем, увидев мимоезжего всадника или редкого путника, подошедшего к роднику, чтобы выпить свежей воды.

Могила была у самой изгороди усадьбы, в десяти метрах от родника и тропы, проходящей мимо него, но за изгородь собака никогда не выпрыгивала.

Софичка слыхала о случаях безумной привязанности собак к своему хозяину, но видела такое впервые. Она жалела собаку, которая и в непогоду не уходила от могилы, но не могла себя заставить посадить ее на цепь, чтобы она оставалась дома. Она так любит его, и он так любил ее, думала она, что, может быть, ему приятно, что родная собака дежурит возле его могилы, как близкие дежурят возле постели больного.

И когда Софичка приходила разговаривать с мужем, она чувствовала, что ее одобряет не только душа Роуфа, но и его живая собака, сидящая рядом и слушающая ее. Иногда собака подвывала словам Софички, когда она, всплакивая, что-нибудь рассказывала мужу. И Софичка лишней раз убеждалась, что слова ее правильны и собака своим плачем подтверждает правильность ее слов.

Иногда, когда Софичка с наполненным кувшином, не подходя к могиле мужа, поднималась наверх, собака с грустным упреком смотрела ей вслед, словно хотела сказать: „Ну, иди, иди, раз уж у тебя времени нет подойти к могиле мужа“.

Зимой Софичка выстлала папоротниковой соломой то место, где сидела собака, чтобы ей было теплее. Она продолжала там сидеть и когда выпал

снег. По-прежнему раз в день она приходила домой, где Софичка ее кормила. Теперь Софичка кормила ее у горящего очага, чтобы дать собаке погреться. Собака съедала еду, но оставалась у очага не дольше того времени, которое требовалось на еду.

— Волк, Волк, посиди, — гладила его Софичка, но собака, виновато повивляв хвостом, уходила на могилу.

Однажды Софичка, накормив собаку, закрыла дверь в кухню, но собака, подойдя к двери, с таким скорбным упреком посмотрела на Софичку, что Софичка едва удержалась от слез и выпустила ее.

Среди зимы, видимо, от холода, собака заболела, у нее отнялись задние лапы, но она продолжала сидеть или лежать возле могилы хозяина. Раз в день, как всегда, она теперь приползала домой поесть, волоча по снегу свои задние лапы. Поев, уползала обратно, оставляя за собой на снегу длинный след волочащихся лап.

Однажды собака не пришла есть, и Софичка стала спускаться к могиле мужа, поглядывая на две борозды в снегу, оставляемые волочащимися лапами собаки. Борозды делались все глубже и глубже. В пяти метрах от могилы мужа она обнаружила труп собаки, застывший в устремленной вперед позе. „Не доползла, бедняга“, — подумала Софичка. „Вот так и я умру“, — неожиданно пришло ей в голову, но никакой горечи от этой мысли она не испытала. Она закопала труп собаки поблизости от могилы мужа, но за изгородью усадьбы. Теперь их души вместе, подумала Софичка, теперь ему там будет не так скучно.

За год перед войной трижды сватали Софичку, приходили в Большой Дом, договаривались. Словно в тоскливом предчувствии кровавой бойни, из которой они не вернуться, словно обреченная плоть хотела в детях перебросить себя через собственную смерть, трое молодых людей искали ее руки. Но Софичка

всем отказала. Она еще была по-девичьи хороша: не-большого роста, крепкая фигурка, темный, чистый взгляд родниковых глаз, бровастое миловидное лицо и редкая, но озаряющая все вокруг улыбка на пухлых губах. Она особенно была тем мила, что сама явно никогда не замечала своей миловидности и не думала о ней. И каждый, кто замечал ее привлекательность, думал, что именно ему надо в виде особого дара открыть ей тайну ее привлекательности.

Софичка подозревала, кстати, без всяких на то оснований, что этих сватающихся парней за большие деньги подговорил Нури, чтобы она в замужестве наконец простила ему его великий грех и он смог бы опять слиться со своим родом.

— С чего бы это я всем им приглянулась? — гоняла она по этому поводу на табачной плантации или в табачном сарае. — Это наш хитрец старается сбить меня с рук... Думает: спроважу дурочку, и грех мне простят... Нет ему прощения вовеки.

Но вот грянула война. Цвет молодости Чегема забрали в армию. От Нури из города пришел человек в Большой Дом и сказал, что его призывают в армию, а там — фронт и, может быть, смерть. Он хотел бы попрощаться с родными.

Что делать? Семейный совет призадумался.

— Кто же знал, что такое обрушится на нас, — сказал старый Хабуг, — кто из парней нашей крови останется, кто погибнет — один Бог знает. Пусть приезжает попрощаться с родным домом.

Так и было решено на семейном совете. Софичка не возражала, она только сказала, что сама с братом встречаться не будет. После приезда поздно вечером, видимо, под влиянием вышитого, Нури умолил тетю Машу пойти за Софичкой. Но Софичка была непреклонна и не пошла в Большой Дом. На следующий день Нури уехал, так и не увидевшись с сестрой. Вскоре его взяли в армию.

Брат Роуфа Шамиль тоже был призван в армию. Дома у него оставались старые родители, жена и

двое детей. Софичка любила родителей своего мужа, особенно его брата Шамиля. Он был и по характеру да и по голосу очень похож на Роуфа. Поэтому она его любила и особенно была благодарна ему, что он, не исполнив закон кровной мести, оставил ее брата в живых. Нет, Софичка никогда в жизни не собиралась прощать его злодейство, но крови брата она не хотела.

Софичка время от времени, примерно раз в неделю, приходила в дом родителей своего мужа и всегда приносила детям гостинцы: то яблоки-зимники, сохранившиеся у нее, то чурчхели, то копченое мясо. С начала войны с едой стало хуже, колхоз резко сократил выдачу денег и кукурузы на трудодни. Почти всем приходилось обходиться тем, что давал лес и приусадебный участок. Но Софичка была так трудолюбива, что даже в колхозе зарабатывала больше всех женщин.

Так же, примерно раз в неделю, она спускалась на могилу к мужу, где рассказывала ему иногда про себя, а иногда, переходя на негромкий голос, о последних деревенских новостях, о первых повестках об убитых на фронте.

— Ну о нем-то, — спохватывалась она иногда в таких случаях, — ты и сам знаешь лучше меня. Небось душа летит в Чегем быстрее почты...

Разговаривая с мужем, она иногда пригибалась, чтобы очистить от сорняков стебли тюльпанов и гвоздик, посаженных ею на могиле. Иногда она приходила с мотыгой и выпалывала сорную траву.

Каждый раз, поговорив с мужем, она чувствовала, что он ее выслушал и теперь благодарен ей за то, что узнал, благодарен ей за то, что она не оставляет его сиротствовать в могиле, и благодарен ей за ее образ жизни. Она всей своей убогатой душой чувствовала эту благодарность, и походка ее делалась легче, и темные лучистые глаза струили освещенный свет. Даже кувшин, который она обычно в

таких случаях оставляла на роднике, а потом, возвратившись, наполняла водой и тащила на себе, делался намного легче. И это ей служило самым прямым доказательством, что душа его не только одобряет ее образ жизни, но и помогает ей нести кувшин.

Через год война докатилась до Кавказа. Бои шли на перевале, и до деревни, особенно по ночам, доносился гул канонады. У крестьян отобрали лошадей и ослов, потому что армии не хватало средств перевозить боеприпасы и еду до перевала, где шли бои.

Чтобы одной не скучать дома, обычно Софичка брала к себе кого-нибудь из детей дяди Клызема или тети Маши. В эту ночь у нее ночевала пятилетняя дочь дяди Клызема.

Ночью Софичка проснулась. Ей показалось, что кто-то тихо стучит в дверь. Софичке стало страшно. Ночь была дождлива. Далеко-далеко с перевала доносилось погромыхивание канонады. Софичка уже было подумала, что этот стук ей примерещился, как вдруг снова его услышала. Кто-то тихо, но настойчиво стучал в дверь. Кто бы это мог быть? Лемец? Абрек? Грабитель?

Снова тихий, настойчивый, осторожный стук. Софичка, стараясь не разбудить маленькую Зину, тихо подошла к дверям с громко колотящимся сердцем.

— Кто? — полушепотом спросила она, задыхаясь от страха.

— Это я, Софичка, — раздался голос, оледенивший ее. Это был голос ее мужа.

— Ты? — удивилась Софичка и все-таки, преодолевая страх, открыла дверь.

В дверях — черный молчаливый силуэт человека.

— Это я, Шамиль, — сказал он тихо, видимо, чувствуя замешательство Софички.

Ну да, вспомнила Софичка, у них всегда голоса были похожи.

— Какими судьбами? Входи, — шепнула Софичка, и радуясь его появлению, и чувствуя какую-то безотчетную тревогу.

— В доме кто-нибудь есть? — спросил он.

— Зиночка, — тихо сказала Софичка и напомнила: — Младшая дочь дяди Клызема.

— Пойдем на кухню, — понизив голос, сказал Шамиль.

— Идем, — шепнула Софичка и, вспомнив, что она в ночной рубашке, застыдилась: — Я сейчас.

Она быстро и тихо оделась и вернулась к нему. Они зашли на кухню. Софичка нащупала спички, лежавшие на карнизе очага, чиркнула, сняла стекло с керосиновой лампы, запалила фитиль, вставила стекло на место и обернулась к Шамилю.

Он стоял посреди кухни в мокрой солдатской шинели со страшно похудевшим, остроскулым лицом, заросшим давно небритой бородой, с ввалившимися и сверкающими нехорошим блеском глазами. И больше всего ее поразили эти его одичавшие глаза, изменившие весь его облик. За спиной его тускло мерцал ствол автомата.

— Садись, — сказала Софичка, кивая на скамью у очага, — только шинельними.

Он поставил автомат к стене, снял шинель и повесил рядом. Сел на скамью и вдруг обернулся на свой автомат одичавшими глазами, словно примериваясь, как цапнуть его в случае надобности.

Софичка схватила головешку из очага, разгребла жар, спрятанный под золой, и раздула огонь. Потом она подвесила на огонь чугунок с мамалыжной заваркой, нанизала на вертел копченое мясо, отгребла часть жара из разгоревшегося костра и уселась на низенькую скамейку, покручивая вертел над горячими углями.

Шамиль, сидевший на скамье, низко наклонившись над огнем, чтобы прогреть и подсушить мокрые плечи, не сводил глаз с мяса, поворачивающегося на

вертеле и начинающего шипеть. Когда капли жира, стекающего с мяса, падали на жар, пыхнув голубоватым пламенем, он вздрагивал.

Поджарив мясо, Софичка подогрела фасолевый соус в котелке, сварила мамалыгу. Быстро поставила низенький столик перед огнем. Она наложила на него большую порцию дымящейся мамалыги, сдержнула с вертела мясо на большую тарелку, плеснула фасолевый соус туда же и придвинула тарелку Шамилю. Он уже в нетерпении отщипывал от дымящейся мамалыжной порции.

— Два дня ничего не ел, — сказал он шумным вдохом, остужая во рту мамалыгу, — а горячего — две недели.

Поев, он рассказал ей свою историю. Месяц назад полк, в котором он служил, перебросили на перевал. Немцы выбивали их с занятых позиций минометным огнем. Сверху бомбили и поливали из пулеметов. Но страшнее бомб и минометного огня для наших бойцов оказался голод. Если с боеприпасами кое-как поспевали, то еду обычно привозили редко. Бойцы по нескольку дней голодали.

Они собирали ягоды. Некоторые приспособились охотиться за немецкими солдатами. Если удавалось солдата убить и подползти к нему, как правило, у него в сумке можно было найти пайку хлеба и кусок масла. Иные бойцы погибали, охотясь за немецкой пайкой хлеба. Каково было живым солдатам видеть, как их товарищ остался лежать на склоне горы за кусок хлеба!

Высота, на которой укрепились их рота, держалась дольше всех. Но немцы лезли и лезли. Два дня назад они накрыли их позиции таким густым минометным огнем, что все его товарищи погибли или были ранены. И он решил кончать с войной. Ночью он оставил высоту и за два дня лесами, горами, ущельями добрался до Чегема. Так как его родной дом расположен далеко от леса, он решил зайти к Софичке. Здесь лес рядом.

— Но ведь тебя власти арестуют, — сказала Софичка.

— Буду прятаться в лесу, — отвечал Шамиль, — лучше пусть убьют здесь, чем в этом чертовом пекле... Как дома? Дети здоровы?

— Все здоровы, — успокоила его Софичка, — я у них была позавчера...

— Пока буду прятаться в лесу, а там посмотрим, — сказал он задумчиво.

— Как знаешь, — заметила Софичка, — ты мужчина, тебе решать.

— Не боишься за себя? — спросил он.

— Нет, — просто сказала Софичка, — ты брат моего мужа, я должна тебе помогать.

— Спасибо, Софичка, — сказал Шамиль, — даст Бог, отплатчу тебе за добро.

— Ты брат моего мужа, — повторила Софичка, — я буду делать для тебя все, что могу.

Шамиль решил поспать до рассвета, а там уйти. Софичка постелила ему на кухонной кушетке и вышла из кухни. Он разделся, поставил автомат у изголовья, лег и заснул как убитый.

Софичка вошла в кухню, взяла его солдатскую одежду и, сунув в огонь очага, сожгла. Шинель долго дымила и шипела. Не хотела гореть. Подкладывая дрова и подтаскивая кончиком вертела шинель к самому большому жару, она и ее сожгла дотла. Потом она выгребла из очага все пуговицы и, положив их на лопату, унесла в огород, где закопала в землю.

Вернувшись домой, Софичка достала одежду мужа: брюки, рубашку, носки, шапку, бурку. Враждебно и опасливо поглядывая на автомат, все это она положила на стул у изголовья спящего. Теперь, если бы его в лесу встретил случайно незнакомый человек, он, одетый в крестьянскую одежду, был бы не так подозрителен. Софичка погасила лампу и вышла из кухни. На рассвете она разбудила Шамиля. Он оделся. Она накормила его и снарядила в дорогу.



Дала ему муку, копченое мясо, спички, соль, топор, кружку и чугунок. Где-нибудь в непроходимых чащобах он должен был устроить себе логово и жить там, время от времени посещая Софичку. По ночам, конечно. Они договорились, что в следующий раз он придет ровно через неделю.

Утром, когда она завтракала с маленькой Зиной, та спросила:

— Софичка, а кто это ночью приходил?

— Никто, — смутилась Софичка, — откуда ты взяла?

— Я слышала, — проурчала девочка, вгрызаясь острыми зубками в копченое мясо.

— Разве ты не спала? — спросила Софичка.

— Я спала, но я слышала, — ответила девочка.

— Ешь, ешь, — как можно спокойнее сказала Софичка, — тебе это все приснилось.

— Нет, Софичка, — заупрямилась девочка, — я знаю, когда приснилось, а когда нет.

Софичка промолчала. Она решила, что если с девочкой не спорить, она быстрее забудет о своих ночных видениях. После завтрака, прикрыв дверь кухни, она, взяв мотыгу и перекинув ее через плечо, пошла вместе с девочкой в Большой Дом.

— Мама, а к Софичке ночью кто-то приходил! — воскликнула девочка, когда они вошли в кухню.

Сердце у Софички сжалось.

— Кто это, Софичка? — спросила Нуца, отворачивая от очага, где готовила мамалыгу, свое горбоносое лицо.

— Ей приснилось, — сказала Софичка, стараясь скрыть смущение, — ну, я пошла на работу.

— Я же знаю, не приснилось, — услышала она за собой голос Зины.

До полудня Софичка мотыжила кукурузу, не прислушиваясь к разговорам других женщин. Она все думала, что будет с Шамилем. Она не могла понять,

сколько ему придется скрываться в лесу и что он будет делать, если война окончится.

В полдень женщины разошлись по домам. Софичка тоже пошла домой. Она вылила из кувшина остатки воды и пошла за свежей на родник. Оставив кувшин на камне у родника, она поднялась на могилу к мужу. Она рассказала ему, что ночью к ней приходил Шамиль.

— Его там совсем голодом заморили, — сказала она, оправдывая его бегство с фронта.

Она объяснила ему, что теперь Шамиль будет жить в лесу, время от времени по ночам приходя к ней за едой. Она перечислила все вещи мужа, которые передала Шамилю, и сказала, что будет заботиться о нем так, как положено ей, жене брата. Прото, что племянница что-то заподозрила, она не стала говорить, чтобы напрасно его не беспокоить.

Рассказав ему все, она облегченно вздохнула. Как всегда в таких случаях, на душе у нее посветлело, и она успокоилась. Это был знак оттуда, знак одобрения ее жизни.

Ублагодаренная этим знаком, она вернулась к роднику, поймала плавающую на поверхности родника кубышку с ручкой и, зачерпывая ею воду, наполнила кувшин. Вырвав и умяв несколько стеблей папоротника и положив этот ком на плечо, она легко приподняла кувшин и поставила его на папоротниковую подкладку. Она подумала: кувшин наполнен свежей водой, как она наполнена тихой радостью неслышимой похвалы мужа. Придя домой, она пообедала, все время чувствуя струение тихой радости, а затем, взяв мотыгу, снова пошла на работу.

Через неделю в условленную ночь Шамиль снова пришел к Софичке. Он принес огромный кусок мяса. Оказывается, он убил косулю. Софичка приготовила мамалыгу и накормила его. Ему захотелось вымыться. Софичка нагрела воду, поставила на кухне корыто, дала ему смену нижнего белья и вышла. Шамиль выкупался, сменил белье и оделся.

Он сел у горящего очага и закурил. Софичка стала стирать его грязное нижнее белье. Выстирав, простодушно развесила его на веревке, протянутой вдоль веранды.

Когда она вернулась на кухню, Шамиль ей рассказал, что построил себе шалаш в очень глухом месте, где никогда не бывают ни крестьяне, заготавливающие дрова, ни охотники, ни пастухи. В лесу, в одиночестве, ужасно долго идет время, и, если б не охота, он, наверное, умер бы с тоски.

Софичка глядела на него своими лучистыми глазами и снова дивилась пронзительному, волчьему блеску в его глазах. Раньше, до войны, его глаза не были такими.

На рассвете он покинул дом, взяв с собой мешочек муки и мешочек соли для копчения мяса косули. Они договорились, что он снова придет через неделю.

На следующее утро, подоив корову и отогнав ее за ворота, Софичка сварила мясо косули. Ей очень хотелось угостить нежным мясом косули детей тети Маши и дяди Кязыма. Она чувствовала, что это опасно, но она очень хотела угостить детей свежим мясом косули. В конце концов она придумала, что мясо ей принес тесть. Старик изредка хаживал на охоту.

Софичка переложила мясо в миску, прихватила мотыгу и вышла из дому. Проходя мимо дома тети Маши, она подозвала ее и дала ей часть мяса, сказав, что старый Хасан убил косулю. Поднялась в Большой Дом. Дети радостно набросились на свежее мясо. Софичка с удовольствием глядела, как они едят.

— Откуда ты взяла мясо косули? — удивилась Нуца.

— Отец мужа принес, — ответила Софичка, радуясь своей хитрости.

— Надо же, старик еще охотится, — сказала Нуца и тоже присела к детям и стала есть мясо косули.

Свежего мяса давно никто не ел. Ели копченое, пока оно было.

Софичка взяла мотыгу и отправилась в сторону кукурузного поля. По дороге ее нагнал бригадир. Это был пятидесятилетний мужчина, статный, красивый, но, по мнению Софички, у него были слишком сладкие для мужчины глаза. Она давно заметила, что он слишком часто поглядывает на нее этими бархатистыми глазами, покрывающимися иногда пленкой похоти. Это был первый чегемский хам, но никто еще, и сам он, об этом не подозревал. Он так понял случившееся в стране: закон гор побежден законами долин. Значит, все, что считалось святынями, на самом деле не существует. Остается быть достаточно хитрым, чтобы делать то, что тебе выгодно.

— Софичка, — крикнул он, догоняя ее на тропе и близко заглядывая ей в глаза, — что это за мужик у тебя в доме появился?

— Какой мужик? — спросила Софичка и почувствовала, что у нее сердце остановилось.

— Сейчас проходил мимо твоего дома, — сказал бригадир, заглядывая ей в глаза на что-то хитро намекающими глазами, — видел, мужское белье висит у тебя на веранде.

— Это мужа белье, — не задумываясь, сказала Софичка.

— Вот уж не думал, что муж к тебе приходит из могилы, — сказал бригадир, нехорошо улыбаясь и наслаждался смущением Софички, — я тоже как-нибудь загляну к тебе в гости...

Он обогнал ее и пошел впереди, слегка потрясывая своим статным телом. Софичка с ужасом смотрела ему вслед. Она предчувствовала, что он теперь ее так не оставит. О его злозлости, так в Чегеме называли похотливцев, ходили нехорошие слухи.

Бригадир прекрасно понимал, что Софичка не могла завести себе любовника. Тогда чье белье она сушит на веранде? Он мгновенно решил, что это белье

принадлежит Чунке. Он дезертир и, видимо, время от времени заходит к Софичке. Почему именно Чунка? Потому что он был самым лихим парнем Чегема и от него с самого начала войны не было писем. Может быть, сам дезертировал, может быть, сдался немцам и немцы его здесь высадили на парашюте. О таких случаях он слышал. Так или иначе, теперь Софичка в его руках, он будет ее пугать, и она наконец отдастся ему. На самом деле Чунка был убит в самом начале войны на белорусской границе. Но об этом близкие узнали гораздо позже.

Софичка вернулась домой, сняла с веревки белье, спрятала его в горницу и снова пошла на кукурузное поле. Она мотыжила кукурузу, глубоко задумавшись и не обращая внимания на шутки и разговоры других женщин, работавших рядом с ней. Она не знала, как быть. Теперь надо было придерживаться того, что сказала. Но может ли это выглядеть правдоподобным? Вот что она придумала. Муж, моясь в чулане, забросил за сундук свое грязное белье, и она теперь случайно его обнаружила.

Или сказать, что она завела любовника? Но кого? Один из бойцов рабочего батальона, работавшего недалеко от Чегема, иногда приходил ей помогать. Они голодали, эти бойцы рабочего батальона, заготавливавшие лес, и в свободное от работы время разбредались по Чегему, в сущности, прося подаяние.

Этот, который позже стал похаживать к ней, был азербайджанец.

— Дай Бог, пленный-военный, жив-здоров вернуться обратно домой! — напевал он перед домами их выселка, пока ему не дадут что-нибудь поесть. Нет, решила она наконец, и стыдно так сказать бригадир, и не поверит он ей, слишком жалкий вид был у этого бойца рабочего батальона. Она решила придерживаться версии с сундуком.

Придя в следующий раз к ней домой, Шамиль попросил устроить ему встречу с женой. Софичка обе-

щала. На следующий день она пошла к своему тестю и, дождавшись, когда дети выскочили из дому, сказала, что Шамиль бежал с перевала и прячется в лесу. К тому же теперь, став осторожнее, она напомнила о мясе косули, которое Шамиль ей принес, а она угостила этим мясом своих близких, сказав, что косулю убил старый Хасан. Старый Хасан понимающе кивнул головой.

Мать Шамиля и жена его обрадовались, что Шамиль жив и прячется в лесу. И только старый Хасан заугриумился. Он был рад, что сын жив, но боялся, что все это плохо кончится. Договорились, что в назначенную ночь все они придут увидеться с Шамилем.

В тот же вечер кто-то широко и неожиданно распахнул дверь кухни, где Софичка сидела и ужинала.

— Принимаешь гостя? — раздался насмешливый голос бригадира.

Сердце у Софички екнуло.

— Заходи, — сказала она, вставая ему навстречу.

Бригадир подсел к огню, многозначительно поглядывая на Софичку. Софичка решила, что, если она его хорошо угостит, может быть, он не станет к ней больше приставать. У нее еще были слишком крепкие представления о примиряющем воздействии хлеба-соли.

— Ужинать будешь? — спросила она.

— Ужинать не хочу, — ответил он, — но от рюмки не откажусь.

Софичка быстро вынесла из кладовки бутылку чачи, чурчхели на тарелке и, убрав с низкого столика остатки своего ужина, поставила перед ним тарелку, бутылку и рюмку. Налила ему, стараясь унять дрожь в руке, чтобы он не заметил, как она волнуется.

Бригадир поднял рюмку и с насмешливой важностью провозгласил тост за то, что теперь наступил

конец одиночеству и вдовству такой молодой, цветущей женщины, как Софичка.

Он выпил, закусил, снова выпил. Смачно облинулся, глядя на Софичку, и снова бросил в рот кусок чурчхелины. Софичка почувствовала, что он клонит в нехорошую сторону, но не знала, что сказать.

Бригадир сидел, слегка наклонившись к горячему очагу, и аппетитно жевал чурчхели. Софичка чувствовала отвращение к его красноватому лицу, озабоченному огнем очага, к самому звуку, с которым он глотал разжеванную закуску, к его самоуверенно жующим челюстям и даже к самому его, угадываемому под одеждой сильному мужскому телу. И особенное отвращение она чувствовала к его городскому пиджаку и резиновым сапогам, тогда еще редким в Чегеме.

— Чунка пишет? — вдруг спросил он после третьей рюмки, глядя ей прямо в глаза.

У Софички трепетнула надежда, что теперь он к ней не будет приставать, раз спрашивает о Чунке.

— Нет, — сказала Софичка, тяжело вздыхая, — как только началась война, перестал писать...

Но ведь он и так знает об этом, вдруг с тревогой подумала Софичка.

— А чего ему писать, когда он сам здесь? — вдруг сказал бригадир.

Софичка опешила, до того голос бригадира был уверенным.

— Как так? — спросила она.

— Хватит притворяться, — сказал бригадир, — я знаю, Чунка дезертировал, и это его белье висело у тебя на веранде. Поладим — буду молчать. Не поладим — вас всех сошлют в Сибирь. Небось и в Большом Доме знают, что он прячется в лесу?

— Ты донесешь? — растерялась Софичка.

Хотя она боялась, что Шамиля кто-то увидит и это дойдет до властей, но она как-то не могла представить, что это произойдет путем прямого доноса.

Она никогда не слыхала, чтобы в Чегеме кто-нибудь на кого-нибудь донес. Одну семью подозревали в доносе, который их предок якобы совершил еще в царское время по поводу угнанной соседом лошади. Но донос этот так и не был никем доказан, а потомки сумрачно и покорно несли бремя нравственной прокляженности. Бедная Софичка, если б она знала, что в Чегеме уже есть тайный осведомитель! Но это был не бригадир, а совсем другой человек.

— Конечно, — ответил он, улыбаясь ей, — если ты не будешь со мной доброй. Для кого ты бережешь себя? Для могилы?

Софичка задумалась, оставив без внимания конец его фразы.

— А дедушка, помнится, говорил, что доносчики только на той стороне Кодора. Оказывается, и у нас появился.

— Не говори глупости, — сказал бригадир, вставая и подходя к ней, — власть одна, что в долине, что в горах.

— Власть одна, — повторила Софичка, не выходя из глубокой задумчивости, — но люди разные в долинах и в горах.

— Не мели чепуху, — сказал бригадир и, воровато взглянув на тахту, облапил Софичку и поцеловал прямо в губы.

Тут Софичка очнулась и стала с силой вырываться, а он, разгоряченный ее сопротивлением, пытался подхватить ее, но она вырвалась и выбежала во двор.

— Я кричать буду, — задыхаясь, сказала Софичка, — если ты подойдешь ко мне!

Она пожалела, что нет собаки.

— Попробуй крикни, — сказал он ей, уверенный, что она на это не осмелится.

Но Софичка осмелилась.

— Эй, Маша! — закричала она.

— Это ты, Софичка? — тут же отозвалась Маша.



— Я, я! — закричала Софичка. — Пришли дочку, мне страшно одной ночевать!

— Сейчас приплю! — ответила Маша.

„Все-таки она не осмелилась сказать про меня“, — подумал бригадир, сначала встревоженный ее криком, а теперь успокаиваясь.

— Ну ладно, — заключил он, — сегодня я уйду, но ты все равно будешь моя. Пожалуешься Кязыму или дедушке — всем твоим придет конец.

— Нет Чунки в лесу, клянусь Богом, — крикнула Софичка.

— Так кто же в лесу? — насмешливо спросил бригадир.

Софичка вдруг испугалась, что он теперь догадается, кто в лесу. Но он был уверен, что в лесу прячется Чунка. Зная о его лихости и боясь его, он добавил:

— Пожалуешься ему — будет хуже. Я уже сказал о нем доверенному человеку. Он умеет язык держать за зубами. Если Чунка со мной что-нибудь сделает, он тут же его выдаст. Лучше поладим по-хорошему.

С этими словами он открыл ворота и исчез в темноте.

— Никогда! — крикнула Софичка вслед ему в темноту.

Темнота не ответила. Но в лесу заплакал шакал, и сразу же его плач подхватили другие шакалы. Софичке стало тревожно, и она с нетерпением ждала Машу с дочкой.

В условленную ночь по одному, чтобы никто ничего не заподозрил, пришли отец и мать Шамиля и его жена Камачич. Они принесли с собой хачапури, поджаренную индюшку и бутылку чачи, хотя у Софички оставалось полдюжины бутылок этого напитка. Сама она никогда не пила, а гости у нее бывали очень редко.

Накрыли стол, сварили мамалыгу и приподняли

котел на цепи, чтобы мамалыга была горячей, но не слишком усыхала.

Наконец явился Шамиль. Мать бросилась целовать и обнимать сына, а он неловко себя чувствовал, потому что не успел освободиться от автомата. Но вот поставил его в угол. И старый Хасан обнял сына. Сдержанно, как и положено мужчинам, поцеловались. А с женой Шамиль даже не поздоровался за руку. Не положено по абхазским обычаям жене и мужу на людях, даже если это родные, оказывать друг другу знаки внимания. Они только долгим взглядом окинули друг друга, и жена смущенно опустила голову.

Часа через два родители ушли домой, а Софичка постелила себе на кухне, предоставив Шамилю и его жене горницу.

— Спи спокойно, — сказала она, — на рассвете я вас разбужу.

Софичка легла на кухне, радостно взволнованная их уединением. Она вспомнила, как в первый год замужества она рассталась с мужем на три месяца. Он тогда вместе с отцом ушел на альпийские луга пасти скот. Как скучала тогда Софичка, как расцарапывала краем зеркала стену над своей кроватью перед сном, словно по этим царапинам, идущим вверх, как по ступеням лестницы, поднималась к мужу. И наконец на девяносто третьей ступени они встретились.

К вечеру того дня вдруг залаяли собаки и помчались к воротам, а через несколько минут во двор влились округлившиеся на альпийских лугах козы, влились, позвякивая колокольцами, играя, становясь на дыбы, струясь белой, залоснившейся шерстью.

А следом за козами Роуф вогнал во двор ослика, нагруженного мешками с сыром, и собаки бросились к нему и стали, подпрыгивая, лизать его лицо, а он, улыбаясь, отворачивался от них, отбрасывая рукой и приближался к Софичке, застывшей посреди дво-

ра, пронзенной счастьем и завидующей собакам, которые, никого не стыдясь, могли так открыто радоваться его приходу.

Она понимала, что по обычаям ее народа нельзя жене при виде мужа даже после долгой разлуки проявлять столь откровенную радость, но радость эта была сильнее нее, она заставляла сиять ее лицо и глаза и без того лучистые, и она сама чувствовала нестерпимое сияние своего лица и глаз и, стыдясь, старалась остудить это сияние, но от стыда ее лицо и глаза еще сильнее сияли, и сами движения ее, она это чувствовала, источали сияние.

Она помогала мужу разгружать ослика, и их руки случайно прикоснулись на седельце, и горячей сладостью обожгло ее это прикосновение, и она, волоча на кухню мешок с сыром, думала, задыхаясь: „О, что будет!“

И после весь вечер, разгоня коз и козлят по разным загонам, доя коров, и потом, готовя у очага ужин, она все время чувствовала неостановимо струящееся из нее сияние счастья.

И она чувствовала это струение, когда вся семья сидела у пылающего очага и ужинала, а она прислуживала за столом, и позже чувствовала, когда муж ее мылся в чулане, пристроенном в кухне, и, когда плеск воды доносился оттуда, она вспыхивала от стыда, словно голое тело мужа просвечивало сквозь кухонную стену. И потом, когда они остались одни в своей комнате, она чувствовала слепящую силу этого сияния, и от слепящей силы этого сияния она не могла смотреть ему в лицо, и от слепящей силы этого сияния он тоже теперь не мог смотреть ей в лицо, и для того чтобы хотя бы на свет лампы ослабить это сияние, она дунула в нее и погасила, и в темноте несколько нескончаемых минут раздавался шорох сдираемой с тела одежды, и он вошел к ней на постель и взял ее, и она закрыла глаза от слепящих вспышек прикосновений, и это длилось, длилось, длилось, и,

когда она очнулась и открыла глаза, он спал рядом с ней на подушке, спал непробудным, глубоким сном, утомленный огромным дневным переходом.

А она не спала рядом с ним до утра, вглядываясь в него в темноте, поглаживая его спину и влажные еще от купания волосы, а тело ее, остывая, струилось уже легким светом утolenия.

И сейчас, лежа на кушетке и вспоминая тот далекий теперь его приход с гор, она понимала не столько умом, а всем своим существом, что раз это было когда-то в ее жизни и раз это живет в ней сейчас, так ясно и горячо, как будто это было вчера, значит, ничего не кончилось, ничего не умерло и она совсем не одинока, хотя в этой жизни его рядом никогда не будет. Да, в этой жизни его никогда не будет, но из этой жизни он все равно никогда не уйдет, пока не уйдет из ее сердца память любви.

На рассвете Софичка встала, оделась, подошла к дверям горницы и, постучав, разбудила спящих. Наскоро позавтракав, Шамиль вышел в огород, за изгородью которого сразу начинался лес. Софичка, боясь, что он случайно столкнется в ее доме с бригадиром, просила его быть осторожнее и приходить только в заранее назначенную ночь.

И хотя он и так приходил каждый раз только в заранее обусловленное время, теперь она боялась, как бы он ненароком не нарушил условия. Когда она ему это сказала, он только пристально посмотрел на нее, но ничего не ответил. Бог знает, что он подумал! Софичке было неприятно от его пристального взгляда, но ведь не могла она ему объяснить, чем вызвана ее осторожность.

Теперь Софичка, возвращаясь с табачной плантации или из сарая, где она целый день низала табак, брала к себе домой одну из дочерей дяди Клызыма или тети Маши. Софичка считала, что бригадир не посмеет покуситься на нее при ребенке. При всей своей кротости она и так была уверена, что живой ему ни-

когда не дастся, но все-таки при ребенке, думала она, даже он не осмелится на такое преступление.

А между тем бригадир пользовался каждым случаем, чтобы напомнить Софичке, что он все знает и рассчитывает на ее благоразумное согласие стать его любовницей.

Иногда он грозил, что терпение его лопается и он завтра же поедет и все расскажет в кенгурском НКВД.

— Нет, — говорила Софичка, бледнея, — ты не сделаешь этого...

Иногда, если рядом никого не было, он не только грозил все рассказать властям. Он прямо разыгрывал воображаемый диалог между начальником НКВД и им. По его рассказу получалось, что Софичка соблазнила его и он уже привык к ней, а потом появился ее двоюродный брат, дезертир Чунка, и запретил ей встречаться с ним.

— До чего же бессовестный, — шептала Софичка, с ужасом и отвращением глядя на красивое, плотоядное лицо бригадира. При этом он с ней говорил таким спокойным голосом, что издали крестьяне могли подумать, что он ей дает какое-то задание по работе.

И вот эти многочисленные и многообразные воображаемые разговоры бригадира с начальником НКВД превратились для Софички в кошмар. Она начала верить в непреодолимое могущество хитрости и коварства. При этом дважды или трижды за это время она встречала бригадира в Большом Доме. Он сидел перед очагом и разглагольствовал с дядей Клязымом и, когда она входила, равнодушно взглянув на нее, отворачивался. „Почему, почему он ничего не боится?“ — думала она. Но он знал, что она ничего не расскажет, потому что в конечном счете от этого страдают все. Она и дяде Клязыму ничего не рассказала о Шамиле. Она смутно понимала, что, если власти узнают о Шамиле, страдают все, кто так или иначе связан с этой историей. И она молчала.

Однажды Софичка возилась в винном подвале, выстроенном Роуфом, хотя своего винограда у них еще не было. Вдруг ее кто-то схватил в охапку и потащил к давилльне. Она растерялась, она не сразу поняла, что это бригадир, задыхаясь в его могучих, потных объятиях. Он дотащил ее до давилльни и шваркнул на хрустнувшую кукурузную солому, сваленную на дне давилльни. Все произошло в несколько секунд, и Софичка от растерянности даже не вскрикнула. Но, кинув ее на дно давилльни, бригадир сообщил, что давилльня слишком узкая и он не сумеет ею здесь овладеть.

И он на мгновение бросил ее, озираясь, куда бы ее перенести. И тут Софичка пришла в себя, вскочила и схватила вилы, лежавшие рядом на дне давилльни.

— Убью, — крикнула Софичка, — не подходи!

А ведь вправду убьет, подумал бригадир, остывая и глядя в ее пылающие ненавистью глаза.

— Для сестры дезертира слишком смелая, — улыбнулся бригадир и спокойно покинул сарай.

И все-таки не это было самое страшное для Софички, а его подлые рассказы о будущей беседе с начальником кенгурского НКВД.

От всего этого она осунулась, опечалилась, похудела. Она не знала, что делать, и не находила выхода.

Однажды ночью, когда пришел Шамиль, она, как обычно, подала ему ужин. Он пристал к ней с вопросами, пытаясь понять, что с ней случилось. Ему показалось, что она от страха тяготится его приходами. Софичка уверяла его, что с ней ничего не случилось. Он продолжал приставать, потому что погас ее лучистый взгляд, а это было красноречивее всяких слов.

— Софичка, — вставая, сказал Шамиль, — я понял, что тебя тревожит, и я сюда больше никогда не приду. Ты боишься, может, не столько за себя,

сколько за своих близких... Больше меня здесь не будет...

— Нет! — вскричала Софичка и, бросившись ему на грудь, разрыдалась. Обильные слезы словно вынесли из нее все слова жалобы на домогательства бригадира. Она даже не забыла рассказать про сцену в винном сарае и про его мерзкие воображаемые разговоры с начальником кенгурского НКВД.

— Вот так, Софичка, — тихим, kloкочущим голосом произнес Шамиль, — я не отомстил за брата, и люди перестали с нами считаться. Будь спокойна, Софичка, больше он к тебе не придет.

Софичка стояла, прижавшись к Шамилю, утоленная впервые выплаканными слезами, не вслушиваясь в смысл его слов, только понимая, что большой, сильный мужчина, брат ее мужа, утешает ее и обещает защитить. Если бы она сейчас посмотрела в его глаза, она бы увидела в них такое тихое бешенство, которое было пострашнее того, что она принимала за волчий взгляд.

Он ушел, договорившись о дне встречи. И только когда он ушел, она постепенно опомнилась, осознавая грозный смысл его утешения. Она вышла из дому, прислушиваясь к тихой безлунной звездной ночи, полная каких-то тревожных ожиданий.

Бригадир жил в полкилометре от дома Софички. Вдруг где-то там далеко отчаянно залаяла собака. Потом раздались странные сливающиеся выстрелы. Потом крики людей. Потом снова странные сливающиеся выстрелы. И крики, крики, крики людей! На крики отзывались уже более близко живущие люди. Что там случилось?

...Шамиль подошел к дому бригадира. Большая собака светлой шерсти выскочила из-под дома, подбежала к воротам и стала яростно облаивать его. Шамиль уже держал в руках автомат. Этой собаке, как и всякой деревенской собаке, вид человека с оружием внушал ненависть и страх. Страх не давал ей слишком близко подойти к нему.

— Эй, кто там?! — наконец крикнул с веранды дома бригадир. Он спустился во двор. Белая ночная рубашка смутно виднелась возле дома. И так как брюки на нем были темные, сливающиеся с темнотой, казалось, рубашка плывет по воздуху, как привидение.

— Принимай гостя! — крикнул Шамиль, не боясь быть узнанным, потому что яростный лай собаки перекрывал его голос.

— Что-то не узнаю! — крикнул бригадир с середины двора, продолжая приближаться, а собака, чем ближе он подходил, тем яростнее заливалась.

— Совсем сбесилась, пошла! — крикнул он уже в трех шагах от Шамиля и, сделав еще один шаг, вдруг запнулся в ужасе, узнав его. Он мгновенно понял, что не Чунка приходил к ней, а Шамиль. А он думал, что Чунка. И вдруг сейчас, глядя на решительное, мрачное лицо Шамиля с автоматом в руках, он подумал, что его это спасет, если он разъяснит Шамилю свою ошибку.

— Я не тебя подозревал, я Чунку подозревал, — крикнул он, — спроси Софичку! Спроси Софичку!!! Спроси...

Но было уже поздно. Автомат плеснул очередью, и бригадир свалился в траву. В доме раздались вопли женщин. Шамиль рванул ворота. Они не поддались. Он пихнул сильнее, и ворота распахнулись, вырванная с гвоздем щеколда упала на траву.

Собака продолжала захлебываться лаем, но отступила перед ним. Шамиль подошел к труп бригадира и наклонился над ним, вынимая из чехла пастушеский нож. Клацая ножом по зубам, он раздвинул ему челюсти, ухватился одной рукой за его язык, а другой рукой, сунув ему нож глубоко в рот, вырезал ему язык. Разогнувшись, бросил его захлебывающейся лаем собаке. Собака отпрыгнула от брошенного темного комка, потом приблизилась, понюхала и вдруг, жадно клокотнув два раза, проглотила его.



И, словно на миг почувствовав ужас святотатства перед старым хозяином и словно стараясь преодолеть этот ужас через готовность служить новому хозяину, она подняла морду на Шамиля и завилыла хвостом: то ли ожидая новой подачи, то ли приказа лаять на кого-нибудь другого. Шамиль вскинул автомат и разрезал собаку короткой очередью.

— В этом доме что псы, что люди — одинаковы! — крикнул он громко, но опять его голос никто не узнал, потому что из дома доносились вопли женщин, а из ближайших домов крики людей, пытающихся узнать, что случилось. Через мгновение Шамиль растворился в темноте.

Весть о том, что ночью неизвестный человек вызвал к воротам бригадира, убил его из автомата и, вырезав ему язык, бросил его же собаке, которая тут же сожрала его и тут же была убита второй очередью из автомата, облетела Чегем.

Когда сбежались родные и близкие бригадира, потрясенные случившимся, они не догадались скрыть подробности позорной казни. А потом было уже поздно.

Толковали всякое, но было ясно, что мститель намекал на донос. Старейшины Чегема сначала пришли к страшному с точки зрения абхазских обычаев решению — односельчане не приходят на оплакивание покойника-доносчика.

Родные покойника слезно умоляли старейшин не губить их род, дать, как и положено по абхазским обычаям, оплакать ни в чем не повинного покойника. К тому же они настаивали на том, что решение старейшин юридически неточно. По древним абхазским обычаям доносчику отрезают язык и уши, а этот убийца отрезал только язык. Старейшины долго обсуждали этот вопрос. Они пришли к выводу, что, вероятно, мститель хотел этим показать, что он убил покойника за клевету. То есть передал властям не то, что он слышал, а то, что он придумал. Потому мсти-

тель и не отрезал его ушей. Но было совершенно не ясно с точки зрения древних обычаев, почему мститель бросил отрезанный язык собаке и как собака могла съесть язык хозяина.

— Интересно, съела бы она его уши, если бы он отрезал уши и бросил ей? — полюбопытствовал кто-то.

— Нет, уши, пожалуй, не съела бы, — решили старейшины, — уши хозяина она видела и знала, а язык приняла за кусок мяса.

— Да, но собака должна знать запах хозяина, — брезгливо настаивал один из старейшин.

— Язык не пахнет, — после некоторого раздумья заметил другой старейшина, как бы приоткрывая дьявольские возможности языка.

— Вот за это и поплатился бригадир, — заключил третий старейшина.

Туговато шли переговоры старейшин с родственниками убитого. Сперва старейшины слегка отступились и сказали, что село на оплакивание не придет, но, так и быть, выделим четырех мужчин для рытья могилы.

— Мало, — умоляли родные и близкие, — не позорьте нас.

Наконец старейшины были сломлены, но не столько мольбами родственников, сколько ввиду полной неясности того, почему мститель пощадил уши бригадира. В конце концов решили, что все это, вероятно, диверсия какого-то злого человека, чтобы замутить чегемскую жизнь перед возможным приходом немцев в Чегем.

Софичка была ни жива ни мертва от всего, что она узнала о случившемся. Она проклинала себя за то, что имела слабость рассказать о приставаниях бригадира. Хотя она и сейчас ужасалась домогательствам бригадира, но теперь ей казалось, что как-нибудь справилась бы сама, что не надо было жаловаться Шамилю. Несколько дней ее терзали эти мыс-

ли, она стала плохо спать. В конце концов она пришла на могилу к мужу и все ему рассказала. Ей показалось, что муж одобрил ее действия, а действия брата одобрил не вполне. Она так и ожидала. Ей чудилось, что он дал знать, что надо было убить бригадира и остановиться на этом. Кувшин, который она, как всегда, на обратном пути тащила от родника, полегчал, но не настолько, насколько он легчал обычно.

Софичка приходила на могилу примерно раз в неделю. Ей бы хотелось приходить почаще, но она считала слишком назойливым так часто беспокоить его. К тому же, так как она перед тем, как постоять у его могилы, оставляла у родника кувшин, ему могло показаться, что она и приходит на его могилу только для того, чтобы после легче было бы тащить кувшин. Конечно, ей было приятно, что после беседы с ним кувшин становится легче, но приятно было оттого, что это явный знак его одобрения ее жизни.

Прошло несколько месяцев. Шамиль время от времени продолжал приходить к Софичке, изредка встречаясь там с женой. Поздней осенью один из жителей Чегема, отыскивая забредшую в чащобы коро-ву, обнаружил на одном оголившемся буке парашют. Он принес его в правление колхоза, оттуда его переправили в кенгурский НКВД.

Стало ясно, что немцы в этих местах высадили диверсанта. Может, не одного. Работники НКВД приехали в Чегем, разговаривая с колхозниками, спрашивали, не видел ли кто-нибудь в Чегеме или в окрестностях подозрительных людей. Но никто ничего не видел. Никаких следов возле бука, на котором застрял парашют, собака чекистов не нашла.

Вернее, овчарка взяла след крестьянина, обнаружившего парашют, и довольно точно привела чекистов к дому, где он жил. Уже во дворе дома она кинулась обнюхивать жену этого крестьянина, не без основания решив, что она припахивает мужем.

Но эта пожилая крестьянка чересчур размашисто отмахивалась от собаки, и та в ярости порвала ей юбку и, может, наделала бы еще бóльших бед, если бы чекист, державший ее на поводке, не дернул за него.

Одним словом, крестьянина арестовали и, к счастью, сначала привели его в сельсовет. И тут председатель колхоза стал горячо доказывать чекистам, что именно этот крестьянин обнаружил парашют, а не спустился на нем. Вернее, спустился с ним с дерева, на котором его обнаружил, и принес в правление колхоза. Крестьянина отпустили, но не очень охотно.

— В другой раз, даже если самолет будет висеть на дереве, — позже говаривал он чегемцам, — даже голову не подыму, зачем мне эти хлопоты.

Жена его многие годы после случившегося рассказывала о мистическом чуде чутья собаки. Оказывается, муж ее сначала принес парашют домой. И она, по ее словам, уговаривала своего дурака не сдавать его в сельсовет, а наделать из него одеял и матрасов. Им бы сноса не было, уверяла она его. Но он ее не послушался и отдал его в сельсовет.

— И вот эта шайтанская собака, — рассказывала она, — только увидела меня, сразу узнала, о чем я говорила мужу, и бросилась на меня. А ведь когда я ему это говорила, ни одного человека рядом не было, а собака эта была в Кенгурске. Как она узнала, что я говорила? Дьявол, а не собака.

И некоторые чегемцы дивились дьявольской власти и ее дьявольским собакам. Другие, более скептически настроенные, смеясь, говорили ей:

— Видать, ты еще спишь со своим мужем. Вот собака и полезла на тебя. Пора бы в твоём возрасте спать отдельно.

— И никогда не спала с ним! — опять же чересчур широко отмахивалась она, тем самым ставя в двусмысленное положение как своего мужа, так и троих своих сыновей, находившихся в армии, если бы че-

гемцы могли ей поверить. Но они ей не верили, потому что по чегемским обычаям женщина так и должна отвечать в таких случаях.

Вскоре из Кенгурска приехали бойцы истребительного батальона. Дней десять они жили в Чегеме, прочесывая окрестные леса, и Софичка со страхом думала, что они могут наткнуться на убежище Шамиля. Но они ничего не обнаружили и уехали к себе в Кенгурск.

Однажды ночью, когда Шамиль пришел к ней домой, она ему рассказала про парашют, найденный в лесу, и про истребительный батальон, тогда еще прочесывающий чегемские леса.

— Они ищут лемца, а могут наткнуться на тебя, — сказала она.

Шамиль горько усмехнулся, но ничего не ответил на ее слова. Когда он ушел, Софичка долго вспоминала эту его усмешку и странное выражение его лица. Она много думала, пыталась понять, что именно в его облике показалось ей странным, но не могла понять. Несколько дней она невольно думала об этом, лицо его, искаженное в горестной усмешке, так и вставало перед ее глазами.

И вдруг истина озарила ее: он встретился в лесу с этим лемцем! Да, да, так оно и есть! В последние два месяца он брал муки больше, чем раньше, и еще он перестал жаловаться на одиночество.

Что же будет? Ведь теперь, если власти его поймут, они его обязательно убьют. Одно дело сбежать с фронта и прятаться в лесу. За это, по мнению Софички, ему грозила Сибирь. Другое дело связаться с лемцем. За это могут и убить. С лемцами вон какал война идет. Она решила сказать Шамилю, чтобы он подальше держался от лемца. Она боялась, что лемец втиснет его в какую-нибудь гиблую затею. В ближайший его приход она высказала ему свои подозрения. Он не стал ничего отрицать, а только внимательно посмотрел на нее.

— Откуда узнала? — сумрачно спросил он.

— Ты стал братъ больше муки и перестал жаловаться на одиночество.

— Да, — согласился Шамиль, — я с ними встретился в лесу, и мы теперь живем вместе.

— Так сколько их? — удивилась Софичка.

— Двое, — сказал он.

— Как же ты сдружился с лемцами, — упрекнула его Софичка, — они же враги?

Софичка постыдилась сказать, что муки и так не хватает, она сама мамалыгу готовит только раз в день, а тут еще лемцев кормить ее мукой.

— Никакие они не немцы, — отвечал Шамиль, — это наши ребята... Один из них армянин из Атары, а другой мингрелец из Кенгурска. Они попали в плен и, чтобы не умереть с голоду, согласились работать на немцев. На самом деле они и на немцев ничего не делают, и к нашим боятся выйти... Так-то.

— Что же будет? — растерялась Софичка.

— Ох, Софичка, — вздохнул Шамиль, — не спрашивай! Рано или поздно убьют нас, как бешеных собак, но и мы кое-кого покусаем... Ну, ладно, там видно будет... Дай что-нибудь выпить...

Софичке было жалко Шамиля да и его неведомых товарищей по несчастью. У всех дома остались близкие, которые ждут их, тревожатся, страдают. Что же будет? Может, в конце войны на радостях простят им их вину? Нет, и на это было мало надежды, да и войне не видать ни конца ни края.

Пришла зима. Однажды вечером по снегу пришел к Софичке старый Хасан и сказал, что днем приходили двое из кенгурского НКВД и забрали жену Шамиля. Старик был удручен и напуган. Софичка поняла, что над ними всеми нависла угроза, но она почему-то за себя не боялась, она боялась только за Шамиля. Что будет? Что они узнают у жены его? Нет, она им ничего не скажет.

Прошло несколько дней. Жену Шамиля не отпустили домой, и никто не знал, что с ней. В назначенную ночь пришел Шамиль. Когда Софичка рассказала ему о случившемся, Шамиль побелел, и руки его вцепились в скамью, на которой он сидел. Он долго молчал, глядя на огонь.

— Теперь они вас не оставят, — наконец сказал он, — я сдаюсь властям. Завтра пойди и скажи председателю колхоза, чтобы они в ближайшее воскресенье вместе с начальником кенгурского НКВД в одиннадцать часов вечера пришли к тебе и ждали меня. Скажи им, что, если они устроят засаду, я буду отстреливаться до последнего патрона. Воевать я все-таки умею лучше них. Скажи им, что до этого они должны отпустить мою жену в знак того, что они со мной хотят говорить по-мирному... Да, ни за что не говори, что я у тебя бывал раньше. Скажи, что я в первый раз пришел... Жена, я уверен, им ничего не скажет.

— А они тебя не обманут? — спросила Софичка. Опыт ее жизни ей подсказывал, что начальство легко идет на обман. С оплатой трудодней, сколько она себя помнила, всегда обманывали. Точнее, всегда давали меньше, чем обещали.

— Могут, — после некоторого молчания ответил Шамиль, — но у меня нет выхода. А так они арестуют и жену, и родителей... Да, не забудь сказать председателю колхоза, что я буду разговаривать только с начальником кенгурского НКВД. Ни с кем из его помощников я не буду разговаривать. Если они сохранят нам жизнь, я приведу попозже и этих двоих.

— А если они не захотят? — спросила Софичка в предчувствии какого-то смутного ужаса.

— А куда им деваться? — раздраженно ответил Шамиль. — Здесь их ничего, кроме смерти, не ждет. А так хоть какал-нибудь надежда...

На следующий день Софичка пришла к председателю колхоза и все ему рассказала. Тот сейчас же поехал в Кенгурск, встретился с начальником НКВД и изложил ему условия Шамиля.

Начальник немедленно принял условия Шамиля, хотя встречаться с ним ночью в горной деревушке ему не хотелось. Но карьера его висела на волоске. О высадившемся парашютисте знало республиканское начальство, а принятые меры не дали результатов.

По агентурным данным с Клухорского перевала, было известно, что Шамиль не найден ни среди мертвых, ни среди раненых. Один из раненых сказал, что он храбро сражался, но потом куда-то исчез. Теперь начальник решил, что именно Шамиль спустился на парашюте. К тому же осведомитель из Чегема сообщил, что жена Шамиля с наступлением ночи дважды уходила из дому.

Подтверждений никаких не было, но решили на всякий случай допросить жену. Жена полностью отрицала то, что виделась с мужем или что-либо знает о его судьбе. Ее уже готовы были отпустить с тем, чтобы осведомитель более внимательно следил за ее поведением.

Сравнительная небрежность, с которой диверсант не уничтожил застрявший на дереве парашют, подсказывала, что он в этих местах, по-видимому, не собирался оставаться. В конце концов, что делать диверсанту поблизости от Чегема? Не взрывать же табачные сараи?

И вдруг такое признание! В самом деле Шамиль оказался здесь, да еще не один! Да еще сам напрашивается на переговоры! Жену Шамиля тут же выпустили, взяв с нее подписку, что она будет молчать обо всем, о чем с ней здесь говорили.

В воскресенье вечером домой к Софичке пришел председатель колхоза и начальник НКВД. Софичка зарезала курицу, приготовила орехов, сациви, мама-



лыги, чачи и стала вместе с гостями дожидаться Шамиля. Она чувствовала, что начальник НКВД очень волнуется и, попросту говоря, боится предстоящей встречи.

Накануне ночью Шамиль заходил к ней. Он тоже сильно волновался. Он знал, что с самого начала сделал неправильный шаг, то есть сознался, что он в лесу не один. Но, потрясенный арестом жены и предстоящим арестом отца и матери, а потом, может быть, и Софички, он забылся, он набивал себе цену и теперь понял, что они потребуют у него выдачи его лесных друзей.

Кроме того, он боялся, что начальник приведет с собой чекистов, чтобы схватить его в самом доме. От них всего можно было ожидать, но останавливаться уже было поздно. Он договорился с Софичкой, что если начальник придет с чекистами, то она, когда он постучит в дверь, громко крикнет:

— Входи, тебя ждут!

А если начальник будет один с председателем колхоза, она должна спокойно сказать:

— Входи, входи!

Софичка запомнила эти два знака и много раз повторяла про себя, чтобы не спутать.

И вот этот грозный начальник, к удивлению Софички, приходит, одетый в штатское пальто и штатский костюм. Начальник кенгурского НКВД действительно боялся встречи с этим человеком, который, как он был уверен, таким страшным образом убил бригадира. И хотя бригадир на них не работал, но зверское убийство и отрезанный язык, брошенный собаке, были, в сущности, прямым оскорблением его конторы. И он уже заранее ненавидел его за это. Однако он выработал определенную линию поведения. Ни малейшего намека, что они его подозревают в убийстве. Надо было выкурить из леса этих двух диверсантов. Надо было ему достаточно много обещать, но не более того, что выглядело бы правдоподобно.

Опыт многолетней работы в НКВД убедил его, как трудно иметь дело с этими горцами. Тайная статистика вербовки секретных работников, опубликование которой вызвало бы взрыв гнева так называемых цивилизованных народов, эта тайная статистика ясно показывала, что горцы не хотят понимать классового характера нравственности. И хотя ему удалось сломать одного из чегемцев и заставить его работать на себя, и его с этим поздравлял сам начальник республиканского НКВД, пока это мало что давало. И этот осведомитель так боялся разоблачения, что не выследил жену Шамиля, когда она уходила из дому, и даже не притаился где-то у дома, чтобы убедиться, вернулась ли она ночью домой.

Да, цивилизация, думал начальник, приводит к облегчению вербовки, и потому она полезна. И потому хорошо, что в самых отдаленных горных селах открывают школы, радиоточки, завозят туда газеты на родном языке. Но толку от этого немного.

Черт с ней, с вербовкой! Но как нехорошо ведут себя горцы, привлеченные по тем или иным делам! Пространства долин и особенно городов уже навек загазованы страхом перед его грозным учреждением. Но горы и вместе с ними и горцы пока еще высываются над этим загазованным пространством великой родины. И нет у них предварительной обработки страхом, который превращает в податливый воск каждого, кто попадает в его учреждение. При допросах они неожиданно бывают оскорблены черт знает чем, кидаются на следователей, и порой приходится их пристреливать прямо в кабинете, что крайне нежелательно во всех отношениях. Хотя бы потому, что в Кенгурске чрезвычайно звукопроницаемые стены.

Да, уже двенадцатый час, но он почему-то не идет. Не заманил ли, не устоял ли засаду?!

Софичка чувствовала, что начальник волнуется. Она чувствовала, что он боится Шамиля, и это ее, с

одной стороны, наполняло гордостью, а с другой стороны, удивляло. Как же он да и председатель не понимают, что, раз Шамиль договорился встретиться с ними по-мирному, он их не тронет. Неужели они совсем не верят людям? Но значит, тогда и им нельзя доверять. Что же будет с Шамилем?

В кухне стояла тревожная тишина. Только слышалось, как в очаге время от времени потрескивают дрова. Начальник НКВД чувствовал, что ноги его дрожат постыдной, неостановимой дрожью, и он боялся, что этот страх заметит председатель колхоза или эта блажная хозяйка. Он хотел себя уверить, что это не страх, а просто боязнь, что сорвется такое важное дело, но каблуки, время от времени выбивавшие дробь на земляном, слава Богу, полу, ясно говорили ему, что это именно страх. Но ведь в двадцатых годах он бывал в настоящих стычках с басмачами. И не было такого потного, постыдного страха. Что же случилось с тех пор с ним? Или со всеми? Сначала верили, потом подумать было страшно, что вера испарилась, а потом и вообще думать стало страшно.

Вдруг раздался стук в дверь. Начальник вздрогнул. Хотя все внимательно вслушивались в тишину, никто не слышал, как он взошел на веранду.

— Входи, входи! — крикнула Софичка, опомнившись.

Дверь распахнулась, и Шамиль оказался в дверях. В одной руке он держал автомат. Он внимательно оглядел кухню и вошел. Начальник НКВД и председатель колхоза встали навстречу.

— Хороших вам трудов, — сказал Шамиль по-абхазски, протягивая руку председателю. Это прозвучало как насмешка, учитывая, что так здороваются с крестьянами, когда те работают.

— Здравствуй, Шамиль! — крикнул председатель, как бы заглушая насмешку, прозвучавшую в приветствии Шамиля.

Он громко хлопнул ладонью протянутую руку

Шамяля. Шамяль и начальник НКВД сдержанно поздоровались за руку.

— Совсем в лесу одичал! — опять громко крикнул председатель, панибратствуя от волнения.

— Одичаешь, — сдержанно согласился Шамяль, и на мгновение установилась неловкая тишина.

— Давайте за стол! За стол! — крикнул председатель, нервно потирая руки и, словно гостеприимный хозяин, подталкивая Шамяля и начальника к столу.

Уселись. Шамяль и начальник друг против друга. Шамяль прислонил автомат к стене за своим стулом. Софичка разлила по блюдечкам ореховую подливу. Председатель колхоза с нервной поспешностью разлил чачу по рюмкам.

— За удачу вашей встречи, — по-русски сказал председатель, — за то, чтобы все окончилось хорошо: для нашей власти, для нашего колхоза, для всех!

— Аминь! — подхватила Софичка с удовольствием.

Все выпили и принялись за еду. Шамяль, сдержанно и спокойно, во всяком случае внешне, председатель суетливо и быстро, а начальник неохотно, но стараясь скрыть это.

Он очень волновался. Автомат, прислоненный к стене за спиной Шамяля, явно мешал ему. Но он все же был уверен, что сумеет провести беседу так, как это нужно. Да, если все получится, как надо, он уже знал в глубине сознания, что никогда не простит унижительную дрожь в ногах в ожидании этого дезертира и даже этот автомат, нагло прислоненный к стене за его спиной, никогда не простит.

После третьей рюмки заговорили о деле. Софичка стояла спиной к очагу и лицом к свету, внимательно слушая начальника. Начальник, естественно, говорил по-русски, и Софичка слегка напряглась, чтобы уловить смысл его речи. Она не все слова понимала по-русски.

Сначала начальник сказал, что сейчас страна ведет тяжелую борьбу с врагом и каждый должен сделать все, что может, для победы родины. Софичка это легко поняла, потому что то же самое им говорили и в колхозе.

Потом начальник сказал, что, по агентурным сведениям, которые они имеют, он хорошо сражался на Клухорском перевале, и это ему будет зачтено. Но самое главное, настаивал начальник, он должен во что бы то ни стало заставить диверсантов сдаться. Он должен передать их в НКВД живыми или мертвыми. Но лучше живыми.

„Что же Шамиль не говорит, что эти диверсанты совсем не лемцы, а наши ребята“, — думала Софичка, все сильнее и сильнее волнуясь. Она думала, что начальник обязательно смягчится, узнав об этом.

Наконец Шамиль сказал, что один из этих ребят армянин из села Атары, а другой мингрелец из Кенгурска. Начальник спросил у него их имена и фамилии и записал себе в маленькую книжечку.

По наблюдению Софички, начальник несколько не смягчился, узнав, что диверсанты — местные ребята. Он несколько раз повторял, что Шамиль должен передать их в руки НКВД живыми или мертвыми. Но лучше живыми. И тогда он может твердо обещать, что суд над ним ограничится отправкой его на фронт в штрафной батальон. На свой страх и риск начальник обещает его, если он честно выполнит условия договора, на неделю оставить дома. На неделю — не больше. Это он обещает твердо. Пусть увидите с женой и детьми. Это был тонкий ход, по мнению начальника, снимающий подозрения, что он знает, что Шамиль виделся с женой.

— Что будет с этими ребятами, — глухо спросил Шамиль, — их не расстреляют?

— Если выяснится, как ты говоришь, что они ничего плохого не сделали, — отвечал начальник твердо, — их незачем расстреливать. Их будут судить, и

каждый получит срок в зависимости от своей вины. Только помни: они — твоя плата за свободу. Иначе ничего не могу обещать. Я обещаю только то, что могу.

Чугунея лицом, Шамиль кивнул в знак согласия. Через полчаса начальник НКВД и председатель колхоза вышли из дома и, освещая себе путь карманным фонариком, открыли ворота и поднялись на верхне-чегемскую дорогу. И пока они не вышли на нее, начальник НКВД испытывал предательскую дрожь в ногах, боясь, что товарищи Шамиля ждут их в засаде.

Проводив гостей до ворот, Софичка вернулась на кухню. Шамиль сидел у огня, глубоко задумавшись.

— А они захотят выйти из лесу? — спросила Софичка.

— Нет, — сказал Шамиль, мрачно глядя в огонь.

— Так что же будет? — спросила Софичка в ужасе, приложив ладони к щекам и глядя на Шамиля своими темными лучистыми глазами.

— Ничего хорошего не будет, — сказал он, вздохнув. — Но видно, такая моя судьба. Дай мне веревок...

Чувствуя что-то недоброе, Софичка вынесла из кладовки моток веревки. Расстегнув рубашку, он мрачно перепоясал тело веревкой, потом застегнулся, перекинул автомат через плечо, накинул бурку и обернулся в дверях:

— Что бы ни случилось, Софичка, запомни: ты меня никогда не видела до того, как я пришел сдаваться. Запомни: что бы тебе ни говорили, ты меня никогда не видела. Ты не знаешь, кто убил бригадира. И это запомни.

Он вышел из дома, и бурка его быстро растворилась в черноте ночи. Софичка долго стояла на веранде, прислушиваясь к тревожной тишине ночи. „Господи, — думала она, — сохрани наших близких — и тех, кто на фронте, и тех, что мучаются здесь“.

На следующий день рано утром недалеко друг от друга на нижнечегемской дороге нашли двух связанных по рукам и ногам людей. Это были диверсанты, сброшенные полгода назад на парашютах. В тот же день утром Шамиль явился в правление колхоза и сдал три автомата, два пистолета и радиоаппаратуру. Диверсантов вместе с оружием и аппаратурой отправили в кенгурский НКВД.

На следующий день оттуда явились несколько чекистов и, прихватив председателя колхоза, пошли искать место стоянки Шамиля и этих диверсантов.

Диверсанты уже указали приметы места своей стоянки. Стоянку легко нашли, но то, что искали чекисты, исчезло. Они искали предметы домашней утвари, по которой можно было бы определить, с кем был связан Шамиль, когда был в лесу. Но ничего, что могло быть домашней утварью, в шалаше не оказалось. Шамиль тщательно, перед тем как идти в правление колхоза, все это вынес из шалаша и забросил в самые непроходимые дебри.

Диверсанты уже сознались во всем, озлобленные предательством Шамиля. Но они и сами не знали, к кому он время от времени ходил. Он этого даже им не сказал. Но то, что у них было кое-что из еды, добытой помимо охоты, и кое-какая утварь, они сказали.

Начальник НКВД тщательно готовил дело на Шамиля. Сильнейшим козырем у него была непровержимость крестьянской одежды, в которой он явился на переговоры. Кто ее ему дал? Жена? Софичка? Или еще сложнее — может быть, убитый им бригадир?

Начальник кенгурского НКВД почти был уверен, что бригадира убил Шамиль. По-видимому, он был связан с бригадиром. Вероятнее всего, в какой-то период их связи Шамиль попросил его оказать ему какую-то услугу, показавшуюся тому слишком рискованной.

Бригадир, наверное, отказался. Шамиль, наверное, ему чем-то пригрозил. А в ответ бригадир, как дурак, вероятно, сказал, что донесет на него. Сейчас начальник был уверен, что бригадир сказал такое. Отсюда и жестокий способ казни — убийство и вырванный язык.

Была полная возможность при умелом ведении дела подвести Шамиля под расстрел. Теперь, когда диверсанты были у него в руках, руки его были свободны. Ни к чему человек так не злопамятен, как к собственной трусости. Шамиль, который даже и не заметил его трусости, в глазах начальника был ее единственным свидетелем. Источник трусости невольно становился и свидетелем трусости. Свидетеля надо было убрать раз и навсегда. Однако Шамиль совершенно неожиданным поступком несколько осложнил планы начальника. С тех пор как он пришел в собственный дом, он не только не почувствовал облегчения, но по-настоящему только сейчас почувствовал непомерную, невыносимую тяжесть содеянного греха.

Особенно его потрясло, что отец, хотя и не говорил ему ничего, но каждый раз, случайно встретившись с ним глазами, он, старый Хасан, как-то виновато и робко отводил глаза. „Отец не может скрыть и не может вынести брезгливости к собственному сыну“, — думал он.

Три дня он беспробудно пил и никак не мог до конца осознать смысл той закономерности, которая его преследовала.

Пытаясь спастись от ужаса войны и голода, он дезертировал и бежал с перевала. В лесу он испытал страшное одиночество и ежедневное ожидание смерти, как загнанный зверь. Пытаясь спасти близких от неминуемой кары за свое дезертирство, он предал доверившихся ему людей. И теперь отец не может посмотреть ему в глаза, и в лучшем случае его ждет фронт, откуда он сбежал и натворил столько бед. За-



чем же было бежать с фронта? И как это он, пытаясь скинуть одни путы, попадал в другие, еще более невыносимые? И он понял, что никакой чачей не спасет себя от тоски, не спасет себя от взгляда отца, опущенного от стыда, и он понял, что его спасет.

На четвертый день он зарядил свое охотничье ружье медвежьим жаканом, снял ботинок и носок с правой ноги, сунул в рот ствол и вдруг в последний миг вспомнил, что недосказал Софичке одну важную вещь. Вспомнил, что недосказал, но не мог вспомнить, что именно. И, словно досадуя на себя за эту дополнительную невезучесть, снова схватил зубами конец ствола и нажал большим пальцем ноги на спусковой крючок. Медвежий заряд вместе с кусками мозга, влипавшимися в стену, вырвал из него невыносимую тоску. Звук выстрела почти слился с криком из кухни обезумевшей от догадки матери. Так что же он хотел сказать Софичке перед смертью, но так и не вспомнил? Он хотел ей сказать, что, если чекисты спросят, откуда у Шамиля взялась крестьянская одежда, она должна отвечать, что по дороге с фронта он раздел какого-то путника и, кинув ему свою военную форму, взял его одежду.

Все дни после смерти Шамиля Софичка жила у родителей мужа, стараясь их утешить и прислуживая за поминальными столами.

Через неделю она вернулась домой. В первые дни, проходя за водой на родник, она не осмеливалась подойти к могиле мужа, страшась рассказать ему о случившемся, как страшатся тяжелобольному рассказать трагическую новость. Хотя она своим верующим сердцем понимала, что эта весть до него и так должна дойти оттуда, но ей отсюда говорить ему об этом было еще очень больно. И она с кувшином на плече, не облегченным разговором с мужем, проходила мимо могилы, украдкой бросив на нее взгляд.

Через несколько дней Софичку и вдову Шамиля забрали в кенгурский НКВД.

В кабинете, светлом, как бы освещенном нежным колхидским снегом, покрывающим кроны лавровых деревьев, почти заглядывающих в окна, сидели четверо.

Следователь НКВД, плакатно-красивый блондин, напротив него Софичка, справа от Софички переводчик-абхазец, а слева как бы любопытствующий ходом дела работник органов. На самом деле сидевший слева следил, насколько правильно переводчик-абхазец переводит слова Софички на русский язык.

Этот работник органов по отцу был грузином, а по матери абхазцем и потому знал абхазский язык, что работниками кенгурских органов держалось под большим секретом.

Абхазцам, даже работающим в органах, не вполне доверяли и считали возможным, что переводчик будет всячески выгораживать своих абхазцев. Считалось, что, во-первых, такая проверка покажет степень честности этого переводчика, недавно после фронтового ранения вернувшегося домой и принятого в органы как человек, показавший себя бесстрашным и беспощадным с врагами на фронте. А во-вторых, если он в процессе перевода и разговора с этой блаженной женщиной будет выгораживать ее — прекрасно. В таком случае не исключено, что она проникнется к нему доверием и именно ему кое о чем проболтается. Все это было хитроумной, как он сам полагал, выдумкой начальника кенгурского НКВД.

Однако переводчик с первого же раза понял предназначение этого свидетеля допроса, ибо в наиболее сложных по психологическому смыслу местах лицо его невольно напрягалось, и было ясно, что он знает язык.

После вопроса следователя Софичка, почти всегда понимая его, стремилась прямо начать ответ, но следователь ее останавливал, заставляя вопрос переводить на абхазский язык, а потом ждал, когда пере-

водчик передаст ему ответ Софички. Софичка считала, что они это так делают, потому что принимают ее за дуручку, которая запутается, начав говорить по-русски. Но ведь она могла в трудных местах обращаться за помощью к этому парню? Ведь так пошло бы все быстрее.

Когда время от времени замолкали сидящие за столом, раздавался неугомонный щебет воробьев, копошившихся в кронах лавровых деревьев, покрытых робким субтропическим снегом.

Третий день Софичку вызывали на допрос. Третий день от нее ничего не могли узнать. Софичку и жену Шамиля взяли по поводу неожиданного сообщения чегемского осведомителя. Он сообщил, что один из жителей Чегема вспомнил, как однажды бригадир ему сказал, что Софичка видится со своим двоюродным братом Чункой, бежавшим с фронта.

Именно в связи с этим сейчас взяли Софичку. У начальника теперь возникла новая версия убийства бригадира. Хотя до этого он был почти уверен, что бригадира убил Шамиль, но тот, покончив жизнь самоубийством, навсегда дезертировал от расстрела. И такая великолепная улика, как труп бригадира, пропала без пользы для дальнейшего следствия. И чтобы этого не случилось, чтобы труп бригадира не пропал для следствия, он, однако сам этого не осознавая, не поленился перетащить труп (благо безъязыкий) в новое дело. Теперь он был уверен, что бригадира убил Чунка как самый лихой парень Чегема. Но почему покойный бригадир связал Чунку с Софичкой, было не вполне ясно. Скорее всего, он случайно увидел Чунку, входящего или выходящего из дома Софички. Почему тот решил его казнить как доносчика? Скорее всего потому, что он грозил доносом. Оба дураки. Ведь истинный доносчик никогда не станет грозить доносом. Значит, бригадир что-то вымогал. Но у кого он мог что-то вымогать? Не у старого Хабуга или Кязыма? Маловероятно. Не у самого

же дезертира? Совсем невероятно. Значит, у самой Софички. Что может вымогать похотливый человек у молоденькой вдовушки? Ясно что. Тут начальник действительно подошел к тому, что было, но бедный Чунка, дотлевавший в белорусских лесах, тут был ни при чем.

Значит, она пожаловалась Чунке, скорее всего чтобы тот принудил бригадира. А тот по широко известной горячности своего характера убил его.

Но именно потому, что Чунка сейчас живой и прячется где-то в лесу, надо вести допрос так, как будто органы уверены, что бригадира убил теперь мертвый Шамиль. „Подлец, — думал о нем начальник, — переиграл меня, покончив жизнь самоубийством“. Значит, надо все свалить на Шамиля, и тогда такая версия облегчит признание Софички. Ведь одно дело просто дезертировать, а другое дело — дезертирство и убийство.

И допрос он вел по такому сюжету: как можно меньше касаться связи Софички с Шамилем, а давить и давить на признание по поводу Чунки. Любой ценой добиться этого признания. Всю вину за связь с дезертиром Шамилем сконцентрировать на жене.

Это даст возможность потом, если сейчас не удастся добиться у Софички признания, выпустить ее и неуклонной слежкой рано или поздно поймать ее двоюродного брата. Была уверенность, что Чунка ни за что не обратился бы к собственной сестре, живущей в одном дворе с Большим Домом, потому что вокруг него нет леса и в Большом Доме всегда много чужих людей. А Софичка живет в одиночестве, и сразу за изгородью ее усадьбы начинается лес.

Софичка, помня наставление Шамиля, сначала держалась просто и твердо. Она все отрицала. Но когда следователь осторожно стал намекать на домогательства бригадира, она внутренне растерялась от стыдности этого разговора и похожести на правду того, что говорил следователь. И как только у нее

мелькнула страшная догадка, что они все знают и только, издеваясь над ней, не все ей говорят, следовательно почувствовал ее смущение и решил, что пришло время прямо заговорить о Чунке.

Тут Софичка поняла, что они ничего не знают точно: ни об убийстве бригадира, ни о том, что Шамиль много раз заходил к ней.

Чувствуя, что следовательно теряет терпение, переводчик-абхазец не выдержал и стал укорять Софичку в бессмысленности ее запирательства. Он был новичком в органах. Об истинном положении вещей он сам знал не больше того, что говорил следователь, и поэтому считал, что у органов есть основания верить словам бригадира.

— Подумай сама, — говорил он, стараясь вразумить ее и помочь ей, — кто поверит, что бригадир не видел Чунку, а просто выдумал это? Что он, сумасшедший? Пойми ты, глупая, что твой двоюродный брат никуда не денется. Рано или поздно ему придется сдаваться или его убьют. И чем раньше он сдастся, тем лучше для всех. Если он сдастся сейчас, его скорее всего отправят на фронт, и там он...

Переводчик переводчика внимательно слушал его, стараясь уловить в его словах вредное направление. Он не хотел ему зла, но логика его труда заключалась в том, чтобы он находил в работе переводчика искривление работы следствия, иначе становилась слишком явной ненужность его работы. Так устроен человек. Однажды примирившись с протivoестественностью своего труда, он поневоле начинает искать оправдание ему, создавая для себя столь необходимую для человека иллюзию его нужности.

— ...Его скорее всего отправят на фронт, и там он, — продолжал переводчик, — кровью смоем свой позор... Ведь он клятву давал Родине быть честным солдатом. Он нарушил клятву, он клятвopреступник.

— Да? Клятву?! — неожиданно вспыхнула Софичка. — Знаю я, что солдат дает клятву, не такая я глу-

ная. Но разве государство тоже не дает клятву, когда берет солдата, исправно кормить его? А Шамиль что рассказывал? Их по три-четыре дня не кормили на перевале. Солдаты между боями чернику и ежевику собирали, как дети. Это же смех! Если ты нанимаешь работника, он должен честно работать, но и ты его должен честно кормить... А если ты его перестал кормить, он бросает мотыгу и уходит! Так-то!

— Перестань болтать глупости! — вспыхнул в ответ переводчик. — Ты, видно, не знаешь, где находишься! Кормили — не кормили! Это не твоего ума дело! Мы тут с тобой третий день мучаемся, а ты уперлась, как ослица! Это плохо кончится — предупреждаю тебя. Твой следователь и так проявил к тебе много терпения!

— Вот и целуйся с ним, — отвечала Софичка, — бедный Чунка с начала войны не пишет! Дай Бог, чтоб он был жив! Но я не знаю, где он!

— Что она говорит? — наконец спросил следователь, терпеливо ждавший, что переводчику, может быть, удалось, что-нибудь выудить у нее.

— Все те же глупости, — ответил переводчик, несколько омрачаясь, — Шамиль, мол, бежал с перевала, потому что плохо кормили, а Чунку с тех пор, как его взяли в армию, она в глаза не видела.

Тайный переводчик переводчика, вслушиваясь в его перевод, отметил: не сказал о том, что она сказала, мол, солдаты питались ежевикой. Одно дело — солдат плохо кормили. Другое дело — солдаты, как дети, собирали ежевику и чернику. Конечно, мелочь, но все же налицо с ее стороны издевательство над армией, а он это не отметил в своем переводе.

— Вот что, — вдруг окаменев лицом, сказал красавец следователь, — кончилось мое терпение. Скажи ей, пусть разуется.

Софичка поняла его слова и растерялась.

— Он что, сказал, чтобы я разулась? — спросила она по-абхазски.

— Да, — кивнул переводчик, мрачней. Он сам еще не знал, что собирается делать следователь, но ничего хорошего не ожидал.

— Чем ему мешают мои туфли? — спросила Софичка.

— Сними, — буркнул переводчик, — я тебя тысячу раз предупреждал...

— Он, наверное, сдурел, — сказала Софичка, — вон какой откормленный, помахал бы мотыгой...

Она сняла туфли.

Переводчик переводчика, помешкав, отметил про себя, что переводчик не перевел оскорбление следователя.

— Встань, — сказал следователь, уже прямо обращаясь к Софичке.

Софичка встала. Она стояла перед ним, маленькая, стройная, крепкая, лучеглазая. Она стояла в сером свитере домашней вязки, в черном пиджаке и черной юбке и в толстых белых носках, надетых поверх чулок.

— Сними носки, — приказал следователь.

— Совсем спятил, — сказала Софичка по-абхазски.

Она сняла носки и сложила каждый носок в туфель. Взяв в руку коробку с кнопками, следователь вышел из-за стола и, взяв другой рукой Софичку за руку, отвел ее в угол комнаты, как учитель нерадивую ученицу.

— Разрази меня молния, если я пойму, что он хочет, — пробормотала Софичка.

Ссыпав на ладонь горсть кнопок, он положил их на пол. Потом, ссыпав на ладонь еще горсть кнопок, положил в полуметре от первой горсти.

— Он что, поставить меня на них хочет?! — вскричала Софичка, догадавшись, в чем дело, и оборачиваясь к переводчику-абхазцу. Теперь язык был последней тонкой нитью, связывающей ее с надеждой на защиту. И тот это понял и, потемнев лицом,

промолчал. Он подумал, что лучше бы снова добровольцем отправился на фронт, чем поступать сюда работать.

Переводчик переводчика заметил, что переводчик с абхазского изменился в лице, и постарался это запомнить. Но то, что он сам изменился точно так же в лице, этого он не мог заметить. Оба они такую пытку видели в первый раз. Видели, как гасят окурки о лицо, видели, как ставят босыми ногами на кукурузные зерна (очень болезненно, если долго стоять), но такого оба не видели.

Следователь слегка подталкивал Софичку в спину, чтобы она шагнула на кнопки, но она, не переступая, обернулась на переводчика-абхаза, всем страхом, всем недоумением, всей надеждой, всей лучезлазостью обратилась к нему:

— Что ж это он со мной делает?! Ты что, не видишь?

— Я же тебе говорил, дура, сознайся! — клокотнул переводчик.

И Софичка поняла, что здесь нет ни языка, ни крови и не будет ей помощи ни от кого. И вспыхнула в ней гордость.

— Я женщина, я не могу драться с мужчиной, — вымолвила она с горестным сарказмом, — а ты ходи по миру! Считай себя мужчиной!

Она ступила левой ногой в хрустнувшую горстку кнопок, старалась основную тяжесть тела удерживать на правой ноге, и, выждав мгновение, когда нога как бы привыкла, как бы смирилась с болью, ступила на кнопки и правой ногой. Боль ошпарила обе ее ноги, словно на них плеснули кипятком.

Через несколько мгновений боль притупилась и стала горячей и тяжелой. Софичка почувствовала, что главное — застыть и не шевелиться, чтобы новые кнопки не вонзились в ступни, и дышать как можно тише. Так Софичке казалось, что боль не будет вкалываться в нее новыми когтями.



— Некоторые о классовой борьбе любят читать в учебниках, — горестно сказал красавец следователь, возвращаясь на свое место, — но боятся смотреть на диалектику в ее натуральном виде.

Он сел и с мрачным видом посмотрел на обоих переводчиков. Те молчали. В тишине слышалось, как за окном на лавровых деревьях, разбрызгивая нежный снег, гомонят воробьи. Софичка внимательно сквозь тяжелую, горячую боль вслушивалась в слова следователя, думая, что он сейчас обязательно объяснит причину своей жестокости. Она была уверена, что он сейчас, поставив ее на конторские гвозди, не может не объяснить причину своей безумной жестокости. Но, к своему удивлению, она ни одного слова не поняла из того, что следователь сказал. Ей показалось, что он говорит по-русски, но, чтобы она ничего не поняла из того, что говорят по-русски, такого никогда не бывало. Такого никогда не бывало ни в городе на базаре, ни в разговорах с бойцами рабочего батальона, ни с людьми, забредавшими в Чегем, чтобы обменять вещи на кукурузу.

От боли, от лихорадочного страдания, от непонимания, почему это с ней сделали, что-то в голове у Софички вспыхнуло, она вспомнила фильмы, которые изредка привозили в сельсовет, и, обернувшись к переводчику-абхазцу, крикнула:

— Это лемец!

— Кто? — не понял он.

— Этот, что поставил меня на конторские гвозди!

— Брось, ради Бога! — воскликнул тот, чувствуя, что эта женщина своими наивными предположениями, сама того не желая, усугубляет свою вину.

„Надо было проситься на фронт“, — тоскливо подумал он. Ранение освобождало его от воинской повинности, но, если бы он пожелал добровольно идти в армию, его бы взяли.

— Что она сказала? — спросил следователь.

— Глупости, — пожал плечами переводчик, — она говорит, что вы немец.

— Немец, — повторил следователь обиженно и взглянул на Софичку, — немец тебе показал бы...

Ему представилось, как немец ставит ее на кнопки, аккуратно шляпкой вниз повернув каждую кнопку. А ведь он просто сыпанул кнопки на пол, и половина из них стояла шляпкой вверх и не могла вонзиться ей в ноги, но он махнул рукой на это. И вот тебе благодарность: немец!

Зазвонил телефон. Следователь взял трубку.

— Да, стоит, — сказал он. — Нет, чертовка, — добавил он, — молчит, как партизанка... Есть, есть, ждем, — гостеприимно сказал он и положил трубку.

Софичка не помнила, сколько времени она еще стояла. Иногда сквозь горячую боль, поднимающуюся к коленям, врывается в ее сознание щебет воробьев. Она никак не могла взять в толк, как могут щебетать воробьи, когда с ней делают такое. Ее уже лихорадило.

— Пусть подойдет, — сказал следователь, кивая переводчику.

— Сойди, — подхватил переводчик по-абхазски и облегченно вздохнул.

— Насытились, — сказала Софичка, всех троих объединяя еще более лучистым, теперь лихорадочным взглядом. Она приподняла одну ногу, ударом боли почувствовав, как мгновенно глубже вонзились кнопки во второй ноге. Сошла.

Ее лихорадило все больше и больше. Она нагнулась и, приподняв ногу, вынула из окровавленной подошвы две кнопки и отбросила их. На подошве второй ноги застряло четыре кнопки, и, вынимая последнюю, она порвала чулок и огорчилась своей неосторожной поспешности.

— Пусть подойдет и сядет, — сказал следователь.

Софичка подошла к своему стулу и села. Ее лихорадило.

— Может надеть носки и туфли, — сказал следователь.

Софичка из телефонного разговора поняла, что кто-то должен прийти.

— Хочет, чтоб не видно было крови, — усмехнулась Софичка и стала надевать на ноги шерстяные носки.

Софичке подумалось, что следователь хочет скрыть то, что он сделал, от человека, который должен войти. Она думала, что сам следователь или эти его люди сейчас соберут конторские гвозди и спрячут. Но они почему-то этого не делали. И она не могла понять, радоваться этому или ужасаться. Если они забыли убрать конторские гвозди — это хорошо, она покажет, что ее, женщину, лучшую колхозницу села Чегем, поставили на них. И тогда им всем не поздоровится. А если здесь всех принято ставить на конторские гвозди, тогда что делать? „Не может быть, — думала Софичка, — не может быть! Этот следователь лемец, шпион — таких в кино показывали!“

В самом деле открылась дверь, и вошел высокий плотный человек. Софичка мгновенно узнала в нем того начальника, который когда-то приходил к ней домой встречаться с Шамилем. Еще сама не осознавая ее причины, Софичка почувствовала волну стыда, ударившую ей в голову, и она мгновенно отвернулась от начальника и опустила голову.

От начальника не укрылся этот ее жест стыда, и он решил, что она стесняется перед ним из-за своих ложных показаний. Все-таки есть в этих дикарях какая-то своеобразная совесть. И он решил сыграть на этом.

— Здравствуй, старая знакомая, — с улыбкой сказал он, подходя к ней.

Софичка преодолела стыд и подняла голову.

— Это лемец, — сказала Софичка, кивая на следователя.

— Кто-кто? — не понял он.

— Лемец, — повторила Софичка и пояснила: — Он из тех, что с нами воюют.

— Ах немец, — догадался начальник. — Почему ты так думаешь, Софичка?

Софичке было приятно, что он запомнил ее имя.

— Он поставил меня на конторские гвозди, — сказала Софичка и показала рукой на угол, — вот там... Они еще валяются... У меня кровь на подошвах. Показать?

— Какой нехороший человек, — грозно сказал начальник, — мы его обязательно накажем, тем более если он немец.

— Лемец, лемец, — с лихорадочной уверенностью подтвердила Софичка, — он притворяется нашим. Только лемец может сделать с женщиной такое.

— Мы его крепко, крепко накажем, — сказал начальник, — за то, что он так ужасно с тобой обращался. Но и ты нам помоги, Софичка. Помоги нам найти твоего брата Чунку. Пойми — ему будет лучше, если он сам придет к нам или ты поможешь нам найти его.

— Его здесь нет, — сказала Софичка, глядя на начальника своими лучистыми и лихорадочными теперь глазами, — он с самого начала войны ничего не пишет. Честное слово. Честное слово. Честное слово.

— Софичка, — тихо сказал начальник и погладил ей плечо рукой, — посмотри мне в глаза?

Софичка и так смотрела ему в глаза. Начальник с пристальным отцовским упреком глядел ей в глаза.

— Когда я зашел сюда и ты меня увидела, — напомнил начальник, — ты ведь почувствовала стыд и опустила голову? Сознайся, Софичка, и я никому не дам пальцем тебя тронуть.

— Да, — сказала Софичка дрогнувшим голосом и, вспомнив свой стыд, снова постыдилась и опустила голову.

— Вот видишь, Софичка, — торжественно сказал начальник и кинул победный взгляд на следователя, — я вижу, что ты честная... А теперь ты мне скажи, почему ты тогда почувствовала стыд?

Софичка стояла, опустив голову.

— Я жду, Софичка, — напомнил начальник и снова ласково погладил ее плечо.

Софичка подняла свои кроткие, лучистые глаза.

— Я постыдилась потому, — сказала Софичка, — что ты у меня в доме принял хлеб-соль, а люди твоего дома мучили меня... Я как-то соединила это все вместе, и мне стало стыдно... Они плюнули и на мой хлеб-соль, и на тебя, и на меня...

Софичка снова опустила голову.

— Только от этого тебе стало стыдно? — спросил начальник.

— Да, — сказала Софичка и снова подняла на него свои лучистые, доверчивые глаза.

И начальнику вдруг стало не по себе. Какая-то тень какого-то совсем другого жизнеустройства мелькнула в его сознании. И молнией в голове: „А может, она права?“ Но он в тот же миг погасил эту неправильную мысль, даже не сознаваясь в ней самому себе. Но на душе у него осталась какая-то неприятная муть.

— На сегодня хватит, — холодно бросил он следователю и, повернувшись, быстрыми шагами ушел из кабинета.

Софичка удивленно посмотрела ему вслед. Она не понимала, почему начальник сначала был такой ласковый, а потом вдруг обиделся на что-то и так внезапно исчез.

Следователь стал по-грузински переговариваться с переводчиком переводчика, знавшим абхазский язык. Он пытался выяснить, не сболтнула ли Софичка чего-нибудь полезного, что переводчик с абхазского скрыл от него. А тот, кстати, до войны несколько лет работал в Грузии и там освоил грузинский. Об этом в НКВД не знали.

И переводчик с абхазского, понимая по-грузински, теперь очень настороженно прислушивался к тому, что переводчик переводчика говорил следова-

телю. Он хотел узнать, не интригует ли переводчик переводчика против него и правильно ли он передает смысл его разговора с Софичкой.

Он так сосредоточился на этом, что переводчик переводчика по выражению его лица внезапно догадался, что переводчик с абхазского знает грузинский язык. Радуясь своей проницательности, он подумал: „Хорошо, что я догадался, но ведь теперь и он, зная грузинский язык, догадался, что я знаю абхазский. Но если следователь узнает, что переводчик с абхазского знает, что я знаю абхазский язык, он меня отстранит от работы. А это мне невыгодно. Надо делать вид, что я не догадался о том, что переводчик с абхазского знает, что я знаю абхазский язык, а сам я не знаю, что переводчик с абхазского знает грузинский. Надо держаться как можно нейтральнее, чтобы не возникло скандала“.

Переводчик переводчика по-грузински доложил следователю, что никаких полезных сведений от Софички не поступило. Разве что оскорбила армию, сказав, что на перевале красноармейцы от голода, как дети, собирали ежевику и чернику. А переводчик с абхазского слишком обобщенно это перевел, сказав, что, по ее словам, продукты питания на фронт поступали нерегулярно.

Большей нейтральности он себе не мог позволить. Но и переводчик с абхазского был доволен, вспомнив, что Софичка по мелочам гораздо больше себе позволяла.

— Это ерунда, — сказал следователь, выслушав сообщение своего тайного помощника, и отправил Софичку в камеру.

...Софичку ставили на кнопки еще два раза, но ничего у нее выведать не могли. Начальник кенгурского НКВД был в нерешительности, не зная, как быть дальше. И вдруг раздался звонок из райкома партии. Секретарь райкома справлялся о том, что

дал допрос Софички. Начальник сознался, что допрос пока ничего не дал.

— Отпустите ее, — сказал секретарь райкома, — раз нет доказательств ее вины. Учтите, что она лучшая колхозница села Чегем. Политически правильно будет ее освободить, раз нет доказательств ее вины.

— Хорошо, — ответил начальник, — я и сам собирался ее отпустить.

— Тем более, — сказал секретарь райкома и положил трубку.

Он вообще узнал о том, что Софичка взята органами, от председателя колхоза, который был уверен в невиновности Софички и любил ее за кроткое и неутомимое трудолюбие. Вопрос о Шамиле, по его разумению, сам собой отпал благодаря его самоубийству, а в то, что Чунка прячется в лесах, он не верил своим здравым мужичьим умом. Жалобы о том, что Чунка не пишет с начала войны, не умолкали в Большом Доме, не умолкали в доме родной сестры Чунки и не умолкали в устах Софички. Нет, перехитрить они его не могли, если бы, продолжая жаловаться, что от него нет весточки, были бы связаны с ним, как с дезертиром.

Через две недели, кое-как подлечив ей ноги, Софичку выпустили. Начальник через своих людей приказал чегемскому осведомителю пристально и осторожно следить за домом Софички.

Перед тем как ее отпустить, он вызвал ее к себе. Он сказал ей, что сперва не поверил ей, что человек, допрашивавший ее, — немец, но теперь убедился, что это так. Этот человек по его приказу арестован. Он поплатится за свои зверства. (На самом деле следователь уехал в командировку в другой район. Начальник был уверен, что в ближайший месяц накроют Чунку, когда он будет входить или выходить из дома Софички.) Начальник извинился перед ней за все ее мучения и очень просил никому не говорить о том, что здесь было. Этим могут воспользоваться

враги, а если враги этим воспользуются, вина падет на нее. Он поверил, что Чунка погиб на фронте, и приказал больше этим делом не заниматься. Он попрощался с ней за руку и сказал, чтобы она спокойно жила у себя в Чегеме и работала.

Софичка радостно вышла на улицу и в тот же день к вечеру прибыла в Чегем. „Наверное, уже не ждут меня“, — думала она, спускаясь с верхнечегемской дороги и открывая ворота во двор Большого Дома. Залаяли собаки.

— Софичка пришла, Софичка! — крикнули дети дяди Клымы, первыми выбежавшие во двор. Они бросились в ее объятия.

Вечером за ужином Софичка, возбужденная, сверкая своими лучистыми глазами, рассказывала обо всем, что с ней было.

— Говорит, враги могут воспользоваться, — махнув рукой, пересказывала она прощальный разговор с начальником, — большие люди тоже иногда глупости говорят. Где уж тут враги у нас!

По словам Софички получалось, что страшнее всего были не пытки конторскими гвоздями, а то, что по ночам ей слышался непрерывный плач детей Клымы, Маши, Шамяля. Дети рыдали и умоляли ее спасти их.

Одни чегемцы, слушая этот ее рассказ, скептически качали головами и говорили, что такое ей примерещилось от пыток. А другие чегемцы, более причастные к науке, как они думали, говорили, что такое получается оттого, что в еду арестованных подкладывают лекарства, от которых человек слабеет духом и говорит начальству именно то, что от начальства надо скрывать.

Жену Шамяля так и не выпустили. Ее обвинили в том, что она не только не донесла на мужа-дезертира, но и была связана с ним, дав ему крестьянскую одежду и снабжая его продуктами. Ее отправили в один из сибирских лагерей, откуда она так и не вер-



нулась. Софичка дважды по этому поводу писала письма Сталину. Она уже знала, что кенгурский следователь выпущен из тюрьмы, если вообще там сидел, и продолжает работать у себя в НКВД. Поэтому Софичка и кенгурскому начальнику больше не доверяла. Она писала Сталину, что Шамиль бежал с фронта от голода, и он сам себя наказал, убив себя. А жена его ни в чем не виновата. А сама она первая колхозница Чегема и просит за невинную женщину, у которой остались двое детей. На первое письмо, посланное обычной почтой, она не получила ответа от Сталина. Тогда она решила, что письмо перехватили в Кенгурске и не дали ему ходу. Второе письмо к Сталину она послала по-другому, решив перехитрить кенгурское начальство. Она вложила его в письмо Тали, которое она писала на фронт к мужу, с тем чтобы он оттуда его переправил Сталину. И это письмо дошло до мужа Тали, и он сообщил, что переправил письмо тому, кому Софичка его адресовала. Софичка в первый день, узнав, что письмо теперь дойдет до Сталина, была окрылена надеждой. Но проходили дни и месяцы, и надежда ее тускнела. От Сталина не было ответа. Софичка не знала, что и думать. С одной стороны, она надеялась на Сталина, а с другой стороны, она точно знала, что дедушка Хабуг ненавидит и презирает Сталина. Неужто прав дедушка Хабуг?

В августе 1944 года старый Хабуг умер. За неделю до смерти он еще тесал новое топорище. Именно тогда он почувствовал, что смерть близка: силы, уходившие на труд, были несоразмерны труду. И так как подобного никогда в жизни у него не бывало, он понял, что это она. Ему уже было сто три года. Смерти он боялся не более дерева, теряющего осенние листья. Он сказал невестке, тете Нуце, что хочет вымыться, и велел ей нагреть воду и дать ему чистое нижнее белье.

Он тщательно вымылся, переоделся в чистое белье и велел невестке принести ему праздничную верхнюю одежду, которую он не надевал уже десятилетиями.

— Ты что, в дорогу собрался? — удивилась тетя Нуца.

— Да, в дорогу, — ответил старый Хабуг, одевшись и оглаживая одежду, довольный ее прочностью и чистотой: путь предстоял нештучный.

— Куда тебя несет?! — гневно удивилась невестка, думая, что он собрался в соседнее село. — Ты старик. Кто тебя будет сопровождать? Все заняты!

— А вот провожатых как раз мне и не нужно, — ответил старый Хабуг таким голосом, что невестка стала о чем-то догадываться.

— Принеси мне подушку, — сказал старый Хабуг и, стянув бычью шкуру с перил веранды, поволок ее в тень яблони.

И это потрясло Нуцу. Никогда на ее памяти он не лежал под тенью яблони, даже в самый жаркий полдень. Он мог сидеть под тенью яблони, но обязательно при этом плести корзину, точить напильником клинок мотыги или лопаты или мастерить себе чуйяки из сыромятной кожи. Но чтобы старый Хабуг сам приволок под тень яблони бычью шкуру и улегся на ней, такого не бывало. И тут невестка сильно заволновалась, вынесла из горницы подушку, выбила ее и старательно подложила под голову старика.

— Не вздумайте меня мыть, — сердито напомнил старик, — если со мной что-нибудь случится. Ты же видела, что я мылся, и другим скажи...

Неделю он умирал, и каждый день по его просьбе его выносили под яблоню. Кроме Тали и Софички, он никого возле себя не хотел видеть. Но если приходили люди, терпел их молча. На второй день привезли доктора, внука охотника Тендела. Старый Хабуг насмешливо дал себя ощупать и прослушать. Проявив

достаточное терпение по отношению к врачу, он иронически спросил у него:

— Разве от старости есть лекарство?

— Если заболели, — отвечал врач, — можно чем-нибудь помочь.

— Я умираю не от болезни, а от старости, — сказал старый Хабуг, — хватит лапать меня.

Врач смущенно пожал плечами и выпрямился. Он ничего не мог понять, сердце старика работало, как у двадцатилетнего юноши.

На следующий день, когда старый Хабуг лежал под яблоней, на Чегем обрушилась гроза. Могучие струи дождя забарабанили по широкой кроне яблони. Старика хотели перенести в дом, но он отказался. Дождевые капли, просачиваясь сквозь густую крону, иногда падали ему на лицо и на вывернутые, корявые от многолетних трудов руки.

Старик с удовольствием слушал, как дождь оmyвает стебли кукурузы, листья и плоды яблони, гроздья винограда, толстая лоза которого висела по дереву. С жадной радостью шумели под дождем ореховые деревья. Дождь был нужен — кукуруза и фруктовые деревья добирали последние предосенние соки.

— Мац-аллах, благодать, — шептал старый Хабуг и слизывал с ладоней дождевые капли.

Многообразный грохот ливня на листьях деревьев, винограда, на стеблях кукурузы, на траве постепенно сменился спокойным, напыщенным шумом, словно природа, второпях утолив первые приступы жажды, уже ровными глотками вбирала в себя живительную влагу.

Следующий день выдался особенно жарким. Старый Хабуг стал тяжело дышать, словно упорно взбирался на неведомую гору. Он часто просил пить. Тали или Софичка подавали ему его любимый напиток — кислое молоко, смешанное со свежей роднико-

вой водой. Старик поднимал свою голову, свое лицо со стремительным горбоносим профилем и быстро высасывал стакан, как всегда при жизни после тяжелой работы. И смерть была его последней тяжелой работой, с которой он с таким азартом, с такой радостью справлялся при жизни. Но не только работой смерти, но и работой жизни был занят его мозг.

— Если Большеусый умрет, — вдруг внятно сказал он неизвестно кому, когда думали, что он уже в полном беспамятстве, — может быть, к чему-нибудь придем...

Это были его последние слова, которые можно было разобрать. Как и многие мощные натуры, он, умирая, выразил то, что больше всего беспокоило при жизни его душу.

И при виде этого маленького мертвого старика трудно было поверить, что он еще застал амхаджирство, насильственное переселение абхазцев в Турцию, бежал оттуда с юной женой, обосновался в Чегеме, неистовой работой заставил цвести и плодоносить эту дикую землю, развел неисчислимые стада коз и овец, насадил сотни фруктовых деревьев, оплел их сотнями виноградных лоз, хотя сам за всю жизнь не выпил и стакана вина, правда, мог съесть полкорзины свежего винограда, выдолбил целую флотилию ульев (мог вытянуть, даже не присев, увесистую кружку пахучего меда — любил мед), ездил всю жизнь на муле, презирал насмешки абхазцев, считавших мула недостойным верховой езды, а ему на муле было удобнее, презирал пьяниц и лентяев, даже презирал абреков, независимо от того, почему они ушли в лес, народил дюжину детей, и Большой Дом был полной чашей, где бесконечные гости, бежавшие от долинной лихорадки, целыми днями во дворе, в тени деревьев на шкурах животных, переплывали лето, изредка приподнимая задницу, чтобы не отстать от тени, и дочери сбивались с ног, готовя на этих бездельников, но все равно летом было

столько молока, что его не успевали переработать в сыр, ведрами отдавали соседям, сливали собакам, а потом в коллективизацию потерял почти все, но не впал в уныние, потому что главного у него никто не мог отнять при жизни — его богатырской, его пьянящей радостью любви к труду. Вот что может один человек — как бы кричала вся его жизнь, но услышать ее никто уже не мог и не хотел.

При стечении всей родни, кроме тех, что были на фронте, всего села и многих людей из других сел с почетом похоронили старого Хабуга на семейном кладбище.

На поминках те или иные односельчане со смехом вспоминали его гомерические вспышки гнева при виде плохой работы или плохо сработанной вещи. И ради полной правды надо сказать, что восхищение его трудолюбием сопровождалось не очень тонко дозированной насмешкой, потому что лень и пьяные застолья уже и в Чегеме становились нормой.

Кончилась война. Из самых близких родственников убитыми оказались только Чунка и муж Тали. Нури, хоть и был дважды ранен, вернулся в Мухус живым и с боевыми наградами. Нури захотел увидеться с родными, и дядя Кязым, посоветовавшись с Софичкой, разрешил ему приехать. Софичка не собиралась прощать брату убийство мужа, но после такой войны, она считала, брат заработал право увидеться с родными. Готовились к пиршеству.

Софичка помогала тете Нуце и Тали резать кур, жарить их на вертеле, готовить сациви, печь хачапури. Во время этих приготовлений дядя Кязым отозвал Софичку в горницу.

— Софичка, — сказал он, — кончилась страшная война. Убит Чунка, убит Баграт, убиты многие наши родственники. Иные вернулись покалеченными. Нури, слава Богу, жив, хотя дважды был ранен, и имеет награды. Его сегодняшнее посещение Боль-

шого Дома давай сделаем днем прощения его греха... Ведь столько лет прошло, мертвого все равно не воротишь... Мне передавали: он ждет твоего прощения, надеется на него.

— Я рада, — сказала Софичка, — что Нури вернулся к своей жене и к своим детям. Но простить ему убийство мужа не могу.

— Но почему, Софичка, ведь прошло столько времени?

— Не знаю, — сказала Софичка, — получится, что я предала своего мужа.

— Он так ждет твоего прощения, Софичка.

— Нет, — повторила Софичка, — зла я на него не держу, но пусть терпит. Будет знать, как в живого человека топором швыряться.

— Эх Софичка, — сказал дядя Клязым и вышел из комнаты.

Софичка еще некоторое время помогала на кухне, а потом перед приходом брата ушла к себе домой. По дороге она встретила тетю Машу, которая со всем своим семейством направлялась на пиршество в Большой Дом. Понимая, почему Софичка там не осталась, тетя Маша виновато опустила глаза и прошла мимо Софички со своими дочерьми. Софичка не держала ни на кого обиду, но ей было очень грустно.

Годы шли. За это время Софичку дважды наградили орденами за трудовую доблесть. В тот день Софичка вместе с другими колхозницами мотыжила кукурузу на поле. Вдруг одна из женщин разогнулась и, опершись на мотыгу, под большим секретом рассказала новость. Оказывается, вчера вечером в сельсовете собрали всех партийцев села и сказали им, что на днях будут выселять из Чегема греческие и турецкие семьи. В Чегеме в ту пору жили три греческие семьи и две турецкие.

Софичка уже слыхала, что греков выселяют из Абхазии, но она думала, что это касается тех сел,

где целиком живут греки. Она не думала, что выселение дойдет и до Чегема. Тем более она не знала, что выселять будут и турок. Что же будет со старым Хасаном, его женой и его двумя внуками? Они же погибнут в этой распроклятой Сибири!

— Увезут, Софичка, твоего бедного Хасана с внуками!

— Нет, — воскликнула Софичка, задыхаясь от возмущения, — это несправедливо! Как же могут выслать стариков с детьми?!

— Могут, — подтягивая землю мотыгой, сказала одна из колхозниц, — эти все могут!

— Нет, — отрезала Софичка, — такой подлости не может быть!

— Может, ради тебя оставят, — сказала одна из колхозниц насмешливо, — ты ведь на них горбатись всю жизнь. Стахановка!

— Конечно, — согласилась Софичка, — я сейчас же пойду к председателю.

— Только не говори, что я рассказала, — предупредила та, что сообщила о собрании партийцев.

— Не бойся, — успокоила ее Софичка, — про тебя я не скажу.

Софичка положила на плечо свою мотыгу и быстро пошла в сторону дома. Она пришла домой и вымыла с мылом лицо и руки. Потом вымыла ноги. Переделалась в праздничное крепдешиновое платье, надела еще достаточно новые туфли. Потом надела на себя пиджак, сунув во внутренний карман два своих ордена и кипу грамот за трудовую доблесть. Пошла в правление колхоза. Через полчаса она уже входила в кабинет председателя колхоза.

— Здравствуй, Софичка, — сказал председатель колхоза, поднимая лицо над бумагами.

— Здравствуйте, — ответила Софичка и приблизилась к столу.

— Дело какое? Садись, — сказал председатель, привставая и приветливо глядя ей в лицо.

— Нет, я постою, — сказала Софичка и подошла к столу.

— Так что тебя привело? — спросил председатель.

„Эх, если бы хоть четверть колхозников работали так, как она, чегемский колхоз был бы первым в районе“, — с бесплодной грустью подумал он.

— Это правда, что греков и турок будут выселять из Чегема? — дрогнувшим голосом спросила Софичка.

— Кто тебе сказал? — спросил председатель, и по тени страха, наплывшей на его лицо, она поняла, что это правда.

— Люди говорят, — сказала Софичка и прямо в глаза ему посмотрела своими лучистыми глазами.

— Хоть и правда — тебе-то что?

— Я к тому, — разъяснила Софичка, — чтобы семью старого Хасана не выселять. Куда ж им ехать, старикам с детьми?

Тут председатель вспомнил, что они родственники.

— Это дело политическое, — тихо сказал он утрашающим голосом, — у нас не спрашивают, кого выселять.

— Я к тому, — сказала Софичка, — чтобы вы замолвили за него словечко. Я же кумхозу всю жизнь отдала...

— Знаю, Софичка, — ответил председатель, — и мы тебя любим за это, и государство тебя двумя орденами наградило. Шутка ли!

— Я к тому, — сказала Софичка, — что это уж очень подло получается. Куда же в Сибирь уезжать старикам с детьми?

— Я же тебе говорю, Софичка, что это дело политическое, — терпеливо повторил председатель, — у нас никто не спрашивает. Это Москва решает. Москва!



— Я к тому, — повторила Софичка, — что они там не выживут.

— Ну, что ты заладила, Софичка, — терпеливо повторил председатель, — это дело политическое. Я даже заикнуться об этом не могу. Когда тебя взяли в НКВД, я сам позвонил секретарю райкома, и тебя выпустили. А тут и заикнуться нельзя.

— А кто же может им помочь?

— Никто, никто, — отвечал председатель, уже теряя терпение.

— А когда им ехать? — спросила Софичка, как бы переходя к другой мысли.

И у председателя отлегло.

— Тебе я скажу, — склонился к ней председатель, — хоть это тайна. Завтра или послезавтра за ними придут машины.

— Выходит, — сказала Софичка, — мне пора собираться?

— Не дури, — заволновался председатель, — тебе-то зачем собираться?

— Кому как не мне, — ответила Софичка, — у них родственников больше нет.

— Не сходи с ума, Софичка, — растерялся председатель, — зачем тебе ехать в Сибирь? Там зима почти круглый год.

— Вот я и думаю, — сказала Софичка, роясь во внутреннем кармане пиджака, — до чего же подло стариков с детишками туда отпускать одних.

Она вынула из кармана кипу грамот и ордена и положила все это на стол.

— Это еще что? — удивился председатель.

— Раз вы не можете помочь моим старикам, заберите это себе, — сказала Софичка, — выходит, вы меня, как дурочку, обманывали этими побрякушками. Не нужны они мне.

— Ты что, Софичка, не дури! — крикнул председатель, вскакивая с места, но Софичка уже выходи-

ла из его кабинета, так и не обернувшись на его голос.

Самое забавное, пожалуй, состоит в том, что через год, когда она вместе со своими стариками и детишками жила на далеком острове на Енисее, ордена вместе со всеми грамотами аккуратно пришли на ее имя. И лейтенант, присматривавший за ссыльными, дивясь ее наградам, выдал ей все и, покачав головой, как позже рассказывала Софичка, сказал:

— Кто же такую героиню мог выслать? Евреи, наверно...

Тогда шла уже антикосмополитическая кампания, и в голове у лейтенанта все перепуталось. Софичка об этой кампании ничего не знала.

— А при чем тут евреи, — ответила Софичка лейтенанту, — я их и в глаза никогда не видела.

Потом Софичка завернула ордена в эти грамоты и сбросила в Енисей. Ордена были достаточно тяжелые, и ком наград легко пошел на дно.

...Софичка быстро шла к дому старого Хасана. „Если завтра ехать, — думала она, — надо успеть все приготовить: и еду, и одежду, и утварь. А что делать со скотом, с курами? — волновалась Софичка. — Надо и мне быть готовой“.

Она вошла в дом старого Хасана. Он сидел на кухне у открытого очага. Оказывается, он уже слышал про высылку, только не знал, что это будет так скоро.

— Если б не эти сироты, — сказал старый Хасан, — я бы никуда не уехал. Я бы застрелил свою старуху и сам застрелился бы. Придется ехать в эту распроклятую Сибирь.

— Ничего, — успокоила его Софичка, — я еду с вами. Как-нибудь выживем.

Старый Хасан посмотрел на Софичку, и глаза у него увлажнились.

— Бог отблагодарит тебя, Софичка. Но что скажут твои родственники?

— Я их уговорю, — сказала Софичка, — вы не беспокойтесь. Пока собирайте вещи. Я пойду к своим. К вечеру вернусь.

Софичка вышла из дома старого Хасана и пошла по верхнечегемской дороге. Не заходя к себе, она прямо направилась к Большому Дому.

Когда она рассказала о своем намерении ехать в Сибирь вместе со старым Хасаном и его семьей, тетя Нуца запричитала, а дядя Кязым стал уговаривать ее не делать этой глупости. Сколько он ее ни ругал и ни отговаривал, Софичка стояла на своем.

Поняв, что решение ее бесповоротное, он сказал ей, чтобы она оставила ему свою корову и все ценные вещи, которые она не может вывезти с собой. Он дал ей две тысячи рублей, чтобы она могла в первое время покупать на месте продукты и что понадобится по дому.

Вместе с дядей Кязымом и тетей Нуцей они спустились к ней домой и стали собирать ее в дорогу. Собрав два чемодана и осторожно вложив туда большую фотографию мужа, Софичка с кувшином спустилась к роднику, а оттуда, как обычно, вернулась на могилу мужа. Она постояла над ним и рассказала ему обо всем. Она сказала, что, несмотря на высылку, надеется, что когда-нибудь они вернуться, и тогда она ему расскажет об их сибирской жизни. Как всегда, после разговора с мужем на душе у нее полегчало. Она поняла, что муж всячески одобряет ее решение не оставлять его родителей и племянников.

Возвратившись на родник, она набрала кубышкой, плававшей на поверхности родника, свежей воды и долго тянула вкусную ледяную воду. Софичка была уверена, что такой воды нет больше нигде, а в Сибири не будет и подавно. Ей хотелось запомнить вкус родной воды.

Она наполнила кувшин, нарвала ком из папоротниковых стеблей, положила его на плечо и взгромоз-

дила туда же кувшин. И пошла к себе. И кувшин казался ей легким, как никогда. Видно, никогда настолько не одобрял муж ее действия.

Тарелки и постельное белье уже забрала в Большой Дом жена Кязыма. Кур она решила забрать вечером, когда они зайдут в курятник. Вечером же она отгонит к себе корову и теленка.

Софичка взяла горсть соли и подошла к теленку, который пасся во дворе. Пока теленок ел соль с ее ладони, она гладила его голову и теплую, мягкую шею. Доев соль, теленок замотал головой и отошел от Софички. Софичка грустно вздохнула и вернулась на кухню. Она подошла к очагу и засыпала жар золой, словно надеялась вернуться сюда и выгрести горячие угли. Пока она возилась в кухне, вдруг раздался резкий стук молотка. Это дядя Кязым забивал досками двери и окна в горнице. Софичке на минуту стало не по себе. Ей показалось, что ее живую заколачивают в гроб.

Взяв в руки по чемодану, она и дядя Кязым вернулись в Большой Дом. Софичка прошла по комнатам дедушкиного дома, и ей показалось, что она слышит запахи детства. Потом она обняла и расцеловала детей Кязыма и вместе с ним, взяв по чемодану, они ушли к старому Хасану. Было решено, что остальные родственники придут с ней прощаться туда. Дядя Кязым сговорился со старым Хасаном забрать его двух коров, продать их, а потом прислать им деньги в Сибирь, когда они обоснуются там и пришлют свой адрес. Вечером жена старого Хасана в последний раз подоила коров, и Кязым вместе с телятами угнал их к себе домой.

На следующее утро в дом старого Хасана набилось много односельчан. Все уже знали, что их будут выселять, и пришли с ними попрощаться. Многие приносили с собой хачалури и жареных кур. Софичка с раннего утра металась между кухней и горницей. Готовила фасоль, сациви, мамалыгу, расса-

живала гостей и хозяйничала над столами. Старый Хасан раскрыл все свои запасы вина и чачи и, сидя во главе стола, витийствовал, насылая на головы властей чуму и моровую язву.

Часа в три дня, когда некоторые особенно опьяневшие гости подзабыли о причине, которая их здесь собрала, у дома старого Хасана загудела машина и остановилась.

Гости высыпали во двор. Некоторые из женщин зарыдали, некоторые завывали. Из кабины машины выскочил офицер, из кузова попрыгали два солдата с автоматами. Лица у солдат были растерянные. Офицер держался тверже, но чувствовалось, что ему нелегко дается эта твердость.

Толпа ревела, и многие одновременно говорили, стараясь перекричать друг друга. Обнимались, целовались, в слезах прощались. Старый Хасан, стоя на веранде, громко призывал гостей не расходиться после их отъезда, а доесть закуски и допить все оставшееся вино и снова помянуть уезжающих в Сибирь в своих тостах. Сосед громко обещал старому Хасану беречь его дом и ждать его приезда.

Наконец отъезжающие взобрались в кузов вместе с солдатами, и грузовик запылил дальше. Машина останавливалась возле каждого дома, откуда выселялись люди, и везде было полно народу, везде поднимались крики, рыдания, и Софичке каждый раз приходилось спрыгивать с машины, чтобы попрощаться с односельчанами.

Наконец грузовик выехал из села и направился в сторону Кенгурска. Там их посадили в поезд и повезли. Судя по скудным письмам Софички, их много дней и ночей везли в поезде и на многих станциях им выдавали горячий борщ и хлеб. Так что они не голодали.

Наконец они приехали в большой сибирский город, и там была большая сибирская река под назва-

нием Енисей. Там их пересадили на пароход и повезли по реке. Много дней и ночей они ехали на пароходе, и ссыльных постепенно ссаживали на маленьких пристанях.

И вот они приехали на остров, где оставили их. Здесь оказался колхоз. Председатель отвел им пустую избу. Старик Хасан стал работать по плотничной части, а Софичку приставили к ферме ухаживать за скотом, и, так же, как у себя в Чегеме, она стала лучшей работницей. Люди здесь были добрые. Однажды, когда она нашла в тайге и гнала на ферму сбежавшего быка по кличке Моряк, ей встретился местный житель. Он взглянул на нее и крикнул:

— Три, три щеки, а то отмерзнут!

И она оттерла щеки, и они не отмерзли. А ведь мог и молча пройти мимо. Люди здесь добрые, и молога всем хватает. Председатель ее уважает.

Дети ходят в школу, но школа за рекой на берегу. Поэтому Софичка научилась управлять лодкой и перевозит детей до школы и обратно, когда нет льда.

Старший мальчик, окончив школу, пошел работать на лесозаготовки. Он стал настоящим мужчиной и хорошо зарабатывает. Потом от Софички долго не было писем. Потом пришло письмо о том, что у них случилось несчастье. Спиленное дерево упало не в ту сторону и подмяло сына Шамиля своими страшными ветками.

Софичка и вся семья были потрясены горем. Мальчика похоронили на островном кладбище, и семья Софички как бы закрепилась на этой земле первой могилой. Но старый Хасан, приближенный возрастом к смерти, очень не хотел ложиться в мерзлую сибирскую землю.

Умер Сталин. Что-то ожило в стране, зашевелились поселки ссыльных, с надеждой вздохнули люди. Софичка обязана была каждый месяц переезжать на лодке Енисей и отмечаться в отделении ми-

лиции. После смерти Сталина она перестала ездить туда отмечаться, и их никто не беспокоил по этому поводу.

— Я давно знала, что Сталин плохой, — сказала Софичка, узнав, что партия осудила Сталина, — еще с тех пор, как он не захотел отвечать на мое письмо. А дедушка всегда говорил, что Сталин — разбойник.

Как только открылась река, старый Хасан стал собираться в дорогу, хотя никакого разрешения уезжать у него не было. Смерть Сталина сама по себе стала залогом свободы и сама по себе заставила насильников тревожно задуматься.

Председатель колхоза не отпускал их, грозил тюрьмой, очень уж он не хотел лишаться такой работницы, как Софичка. Да и никаких распоряжений пока еще не было относительно ссыльных. Но время сдвинулось, и председатель понимал, что у него нет уже такой власти, чтобы насильно задерживать их.

Они взяли билеты и сели на пароход. Без соответствующих бумаг капитан не имел права их брать, но время сдвинулось, и соответствующие бумаги заменили соответствующие бутылки водки. Потом они пересели в поезд и приехали в Абхазию. В Кенгурске, выйдя из поезда, старый Хасан наклонился, выцарапал щепоть земли и поцеловал ее.

В Чегеме их радостно встретили, и они поселились в доме Софички, потому что, увы, дом старого Хасана разобрали, пока он был в Сибири. Это было постыдно, но никто не верил, что они могут вернуться назад. Дядя Кязым отдал Софичке одну из своих коров, чтобы у нее было молоко. Деньги от продажи коров старого Хасана он давно отослал им в Сибирь.

Старого Хасана вызвали в кенгурскую районную милицию, пытались выяснить, по каким бумагам он приехал из Сибири. Но он потребовал у них показать бумагу, по которой его выслали из Чегема. Такой бу-

маги у них не нашлось, и они, махнув рукой, отпустили его в Чегем.

Софичка снова работала в колхозе и снова стала лучшей. Сверстницы ее теперь еще больше отставали от нее, а из молодых ее никто не мог догнать. Теперь, при Хрущеве, в колхозах, производящих табак и чай, за трудодни платили приличные деньги. На сибирских морозах Софичка слегка усохла, но по-прежнему была сильна и неутомима.

— Я двужилъная, — говорила она, когда удивлялись ее энергии, — меня ничего не берет.

Вскоре умерла жена старого Хасана, а потом заболел и он какой-то неизлечимой желудочной болезнью. Целыми днями он лежал на кушетке и, если приходили его навестить, рассказывал односельчанам о чудной сибирской жизни. Ел он теперь только похлебку из вина, в которую крошил чурек. Потом умер и он. Его, как и жену его, похоронили на их семейном кладбище рядом с могилой Шамиля.

К этому времени совсем выросла и расцвела дочь Шамиля, Софичкина воспитанница и любимица Зарифа. Как хороша она стала, какой загадочный свет струили ее темные продолговатые глаза!

Вскоре в нее влюбился учитель из Кенгурска, приехавший с учениками помогать колхозу, как это было принято тогда. Зарифа тоже его полюбила и вышла за него замуж.

В день, когда отправляли невесту в Кенгурск, Софичка рано утром пришла на могилу мужа. Постояла над ней, мысленно, а иногда и вслух рассказывая ему новости. Она сказала ему, что вот воспитала дочь его брата, вырастила в холодной Сибири, а теперь выдает ее замуж за ученого человека, учителя. Она приготовила ей такое приданое, что ни перед кем не будет стыдно. Зарифа будет жить в городе Кенгурске, и его невинно пролитая кровь продолжится в жизни детей Зарифы, раз сама она не успела родить ему ни дочку, ни сына.



Около часу она стояла возле могилы мужа, разговаривая с ним и время от времени пригибаясь, чтобы вырвать сорняк из-под какого-нибудь цветочного стебля. Умиротворенная тем, что мужу ее скорее всего понравилось все, о чем она ему рассказала, она вернулась домой.

В ночь после свадьбы Зарифы Софичке приснился стыдный сон. Ей приснилось, что она встретила с мужем после долгой разлуки. Словно он был летом на альпийских лугах со скотом, но в то же время она чувствовала, что это лето длилось неимоверно долго, со дня его смерти, о которой она помнила во сне, но во сне же, стыдясь перед ним живым, что помнит об этом, делала вид, что ничего не помнит. И он вошел к ней на постель и взял еще более ослепительно, чем при жизни, взял ее с какой-то нежной скорбью, накопившейся в нем после многолетней разлуки.

Она проснулась среди ночи, стыдясь случившегося, оглушенная пережитым счастьем и гадая, что бы мог означать ее сон. Сон ее, скорее всего, означал, так думала она, что Зарифа в замужестве будет счастлива и замужество ее будет плодородным.

В самом деле, Зарифа через год родила мальчика, а еще через год девочку. Но тут случилось то, о чем Софичка никогда не подозревала и чего она никогда до конца так и не поняла. В Зарифе проснулась жестокая, жадная, красивая самка. Она чувствовала, что многим, очень многим нравится, а зарплаты мужа едва хватает сводить концы с концами. У нее родилось стойкое ощущение чудовищной несправедливости, убеждение, что красота ее недооплачивается. И так как взять было не с кого, она стала, как стервятник, все рвать у Софички. Сначала Софичка сама им помогала, удивляясь, что учитель зарабатывает меньше, чем она, крестьянка. Потом Зарифа стала брать у нее весь ее заработок и все, что она выручала, продавая на базаре орехи или сыр.

Зари́фа завидовала всем, кто в Кенгурске был зажиточнее, чем ее семья. А таких было большинство. Тех, кто жил так же бедно, как ее учительская семья, или еще беднее, она просто не замечала. И зависть ее была острым, болезненным чувством, заставляющим ее по-настоящему страдать.

Зари́фа завидовала всем, но больше всего завидовала Со́фичке за то, что та никому не завидовала и не испытывала тех страданий, которые испытывала она. Со́фичка счастливая, думала Зари́фа, ей ничего не нужно. Независтливость Со́фички она воспринимала как следствие удобной дурусти ее. А свою завистливость она воспринимала как страдание умного существа, понимающего, что к чему, как неудобство от ума. И поэтому ей казалось естественным рвать и рвать у Со́фички все, что можно, и не испытывать при этом никакой жалости и никакого стыда.

И вдруг Зари́фа в один из приездов к Со́фичке стала плакаться, что она с мужем и двумя детьми живет в однокомнатной квартире и ей до того стыдно перед людьми, что она не знает, как быть дальше и не наложить ли ей на себя руки. Со́фичка ужаснулась и вспомнила, что и отец ее покончил с собой и, наверное, это у нее в крови.

— Что ты говоришь, Зари́фа?! — воскликнула Со́фичка. — Мы что-нибудь придумаем!

— Покамест вы что-нибудь придумаете, меня не будет, — жестко отвечала Зари́фа, — лучше бы я погибла в Сибири, а не мой брат!

— Зари́фа, замолчи! — крикнула Со́фичка. — У меня сердце разорвется!

— Продай дом, — вкрадчиво предложила Зари́фа, — у меня ведь тоже здесь своя доля.

Со́фичке стало неловко. Ей даже не пришла в голову мысль, что никакой доли Зари́фы в ее доме нет.

— А мне куда? — робко спросила Со́фичка, думая, что Зари́фа позовет ее в город к себе. Но она так

не любила бывать в городе с его пылью, грохотом и суматохой. Но Зари́фа не предложила ей переехать к себе.

— А ты переезжай в Большой Дом, — сказала она Со́фичке, — ты же всю жизнь ишачила на них. Да и дедушка любил тебя больше всех! А дом этот строил твой дедушка!

— Дедушка больше всех любил Тали и меня, — поправила Со́фичка. И опять ей в голову не пришло, что она в девятнадцать лет вышла замуж и никак не могла всю жизнь ишачить на Большой Дом. Но напор нахальства на деликатную душу — своеобразный гипноз. В силе напора как бы подразумеваются знания, которых нет у деликатной души, и она покоряется напору, как превосходству больших знаний.

В сущности, так и можно было сделать. В сущности, и дядя Кязым, и тети Нуца неоднократно предлагали ей перейти жить в Большой Дом. Они жалели ее за одиночество, но и такую работницу иметь в доме кто бы не пожелал.

— Хорошо, — сказала Со́фичка, — продадим.

Зари́фа, не ожидавшая такой быстрой победы, порывисто обняла Со́фичку и даже прослезилась.

— Только ты меня жалеешь в этой жизни, больше никто! — воскликнула она.

— Кого же мне жалеть, как не тебя, сироту! — воскликнула Со́фичка и тоже расплакалась.

Зари́фа уехала. Со́фичка на следующий день пришла в Большой Дом и сказала, что ей в самом деле приелась ее одинокая жизнь и она хочет вернуться в Большой Дом. Но теперь, когда Зари́фа уехала и она сама приостыла, ей показалось стыдным признаться в том, что свой дом она собирается продать и отдать деньги за него Зари́фе. Она знала, что дядя Кязым недолюбливает Зари́фу и часто насмехается над ней. Недолюбливает — это было не то слово. Он ее просто ненавидел, знал, как она беззащитна.

во грабит Софичку. Но, жалея Софичку, он дальше насмешек над этой теперь городской кекелкой не шел. Сейчас он сразу все понял, зная, что Зарифа приезжала к Софичке.

— Софичка, — сказал дядя Кязым, — наш дом — это твой дом. Ты здесь выросла. Но с одним условием, Софичка...

— Каким? — спросила Софичка, ничего не понимая.

— Чтобы духу этой кекелки никогда не было в нашем доме!

— Не будет, дядя Кязым. Но ты к ней несправедлив. В городе так стыдно быть бедным!

— А знаешь, что нужно было бы для справедливости, Софичка? — насмешливо спросил дядя Кязым.

Он спросил спокойно, но изнутри весь клокотал. Он умел себя держать в руках, как настоящий горец.

— Что? — наивно спросила Софичка.

— Надо было бы все шнурометры, на которые ты нанизывала табак, — сказал дядя Кязым, — сунуть ей в задницу и тянуть изо рта. Небось лет десять пришлось бы тянуть. Вот тогда бы она поняла, кто ты и кто она! Дом они сами будут продавать, или мне тебе его продать?

— Ты продай, — сказала Софичка, убитая его презрением к Зарифе и одновременно чувствуя, что он продаст лучше.

— Правильно, — насмешливо сказал дядя Кязым, — они оба такие дураки, что и дом твой толком продать не сумеют. Облапошат их.

— Но он же не из простых, он же учитель, — сказала Софичка.

— Учитель, — презрительно повторил дядя Кязым, — чему может научить детишек этот учитель, если сам эту куклу, набитую опилками, спутал с женщиной.

Через месяц дядя Кязым продал дом Софички человеку из местечка Наа. Кязым получил хорошие деньги за дом. Новый хозяин дома разобрал его и на быках вывез к себе. Софичка отвезла деньги Зарифе в Кенгурск. Та приняла деньги без особой радости, как должное.

— Деньги — это не главное, — сказала она, пряча их, — надо теперь продать эту однокомнатную и найти трехкомнатную квартиру. А мой муж такой остолоп, кроме своей школы, ничего не знает...

В конце концов ей удалось купить хорошую трехкомнатную квартиру. И Софичка продолжала ей помогать, втайне от дяди Кязыма, потому что новая квартира требовала новой мебели.

Кстати, когда Зарифа выходила замуж, из Мухуса Нури дал знать, что хочет приехать на ее свадьбу с хорошими подарками, но Софичка наотрез отказалась и от его подарков, и от его присутствия на свадьбе. Однако через некоторое время он сам приехал в Кенгурск, нашел Зарифу и подарил ей роскошный персидский ковер и золотые часы. Такой богатый подарок потряс Зарифу, и ей очень понравился этот пожилой, но интересный и, по слухам, всеильный мужчина. Сам он был в восторге от нее. И хотя она была еще почти девчонкой, но они успели многое сказать друг другу глазами. Нури просил не говорить Софичке о подарке, потому что она его не может простить за грех молодости, о чем он день и ночь жалеет. Он вечный виновник перед Софичкой, но, увы, не может искупить свой грех. Софичка не хочет его простить.

Нури знал, что Зарифа рано или поздно передаст его покаянные слова Софичке. И это будет ему полезно. Он в самом деле жаждал прощения Софички.

Он уже был крупным табачным воротилой в Мухусе. Работал он всего лишь приемщиком табака на табачной фабрике, но уже сколотил себе солидное

состояние. Имел особняк на краю Мухуса и две машины. Жил припеваючи, дом — полная чаша, жена, двое детей и на стороне бесчисленное количество самых изысканных шлюх. Многие годы он прирабатывал тем, что, определяя сортность табака, входил во незаконные отношения с председателями колхозов. Каждый колхоз должен был сдавать определенное количество табака первого, второго и третьего сорта. У некоторых колхозов был избыток первого сорта, и фабрика в его лице частным образом откупала этот избыток, чтобы потом, перепродав в тридорога, приписать этот табак колхозу, который недовыполнил свой план по сдаче первосортного табака. Это был его прочный постоянный заработок, но с появлением цеховиков и развитием их тайных фабрик он стал вкладывать в них деньги и получать от них солидный доход. Он был дерзок и бесстрашен, но придерживался уголовных правил игры, и за это его уважали в подпольном мире. Многие секретари обкомов и работники прокуратуры были куплены кланом, к которому он принадлежал, но был еще один клан, который купил остальных секретарей обкомов и оставшихся прокуроров. В сущности, борьба шла между ними.

И во всей этой опасной и захватывающей игре Нури не имел ни одной осечки, и все его операции кончались удачей. Но чем удачней он играл здесь, тем чаще он думал, что потерпел полный крах с сестрой. Ни купить, ни умиловить ее он никак не мог. Но он не понимал, что это чувство вины перед сестрой удерживало его часто на краю пропасти, не давало идти на безумный риск, подсознательно останавливало его, как бы оставляя за ним простор для будущего, где бы он мог наконец получить прощение. Но сам он все это ощущал по-другому. Он чувствовал, что в этой жизни он добился всего, но счастья нет, и нет именно потому, что он не смог добиться прощения сестры. И все его попытки за трид-

цать лет сблизиться с ней и получить от нее прощение пока ни к чему не приводили. Но он был упорен, надеялся и ждал, когда Софичка простит ему и душа его наконец освободится для полного счастья.

Софичка, конечно, не собиралась никогда простить брату убийство мужа. Но странным образом в ней это твердое решение сочеталось с гордостью за благополучие, богатство и высокое положение брата, о чем она, конечно, слышала. Она считала, что брат ее — умный человек, большой знаток табачного дела, и богатство его — следствие его трудолюбия и тонких знаний. И она тайно гордилась им, его хорошей семьей, его особняком, его машинами. „Хорошо, что один из наших добился всего“, — думала она.

Нури правильно рассчитал, привезя подарки Зарифе, каюсь в своем грехе и прося Зарифу ничего о его приезде не рассказывать Софичке. Зарифа, конечно, все рассказала Софичке. Она даже преувеличенно долго говорила о его покаянии. И она, желая поближе сойтись с таким богатым и щедрым родственником, почти униженно просила Софичку простить его. Софичке было приятно, что обычно почти надменная с ней Зарифа так кротко и настойчиво умоляет ее простить брата. И ей было приятно, что у нее такой богатый и щедрый брат, а ее гордая Зарифа заискивающе ищет сближения с ним.

— Пусть он тебе помогает, если хочет, — сказала Софичка, — но прощения от меня ему не будет.

И вот прошел год с тех пор, как Софичка перешла жить в Большой Дом. Был чудный сентябрьский день. Солнце жарко светило, но в табачном сарае, устланном свежим папоротником, где сидела Софичка и низала табак, было прохладно и тихо. Пахло усыхающим табаком и папоротниковым духом. Редкие струи ветерка время от времени доносили сюда запах зреющего винограда.

— Хороших тебе трудов, — вдруг услышала она голос своего брата Нури.

Софичка подняла голову. Он стоял в дверях табачного сарая, коренастый, среднего роста, в кожаном черном пиджаке. Такие пиджаки сейчас носили в городе некоторые люди. Не из последних. Софичка удивилась, что не услышала ни его машины, которую он, видимо, остановил на дороге, ни его собственных шагов.

— Здравствуй, — сказала она, но навстречу ему не поднялась. Снова приподняла низальную иглу и стала низать табак. Брат продолжал молча стоять в дверях. В тишине раздавалось только быстрое цоканье нанизываемых на иглу свежих табачных листьев. Цок! Цок! Цок! Цок!

У Нури сжалось от жалости сердце при виде Софички. Он ее так давно не видел. Ей было пятьдесят лет, но она ему показалась вконец усохшей старушкой. Только большие лучистые глаза не изменились. На ее похудевшем лице они казались еще больше.

— Зачем приехал? — спросила Софичка, наполнив табачную иглу листьями и резким движением руки сдергивая листья на шнур, продетый в иглу.

— Ты же знаешь, Софичка, — сказал он, переминаясь в дверях.

— Я ничего не могу сделать, — вздохнула Софичка, приподняв голову и снова наклоняясь к табачной игле. И снова в глубокой тишине — цоканье табачных листьев, нанизываемых на иглу. И казалось, не быстрые пальцы Софички накалывают листья на иглу, а хищное острие иглы само вонзается в стебелек табачного листа: цок, цок, цок.

— Кто же может, как не ты? — сказал брат, снова переминаясь в дверях.

— Я не могу, — твердо повторила Софичка после некоторой паузы.

Снова в тишине зацокали табачные листья.

— Софичка, — выдавил Нури глухим голосом и вдруг неожиданно для Софички рухнул на колени в палоротниковую подстилку табачного сарая.



Софичка, хоть и не показывала виду, была сильно смущена этим его поступком. Она с ужасом подумала, что в табачный сарай может заглянуть бригадир или еще кто-нибудь из колхозников и застанет ее брата в этой нелепой, странной, недостойной мужчины позе. Все-таки он был ее брат, и ей стыдно было за него.

— Так и будешь стоять? — спросила Софичка, стараясь не выдавать своего волнения. Она перестала низать табак и посмотрела на него. Он стоял на коленях, безвольно склонив голову, и казалось, что ноги его обрублены до колен.

— Так и буду, Софичка, — сказал Нури, — и, если ты меня не простишь, буду здесь стоять и день, и ночь, и сегодня, и завтра...

Софичка собралась с силами и сделала вид, что она спокойно продолжает низать табак. „Что же это будет, — думала она, волнуясь, — соберутся люди, а он здесь будет стоять на коленях и ждать моего прощения? Как стыдно!“

Она подняла голову и снова посмотрела на него. Он все еще стоял на коленях, склонив голову с несколькими седыми прядями, упавшими на лоб. „О, как время идет, — подумала Софичка, и жалость к брату пронзила ее. — Тридцать лет, а может быть больше, он ждет моего прощения!“

Она вспомнила, как они играли в детстве, как бегали в лес за лавровишней, за черникой, за каштанами. Как он ловко лазил по деревьям. Совсем недавно она увидела на стене кухни в Большом Доме свои и его пароходы, нарисованные химическим карандашом. Неумелые, милые рисунки пароходов, которые они отсюда, с чегемских высот, видели плывущими по морю. Куда они собирались плыть на этих пароходах?!

Картины детства, одна за другой, промелькнули в голове Софички, и все они были прекрасны, потому

что были озарены ослепительным светом ожидания счастья. И Софичка вдруг подумала: всего достиг ее брат, и семья у него хорошая и ладная, и дом у него свой, и работа почетная, и машина, и только одного ему в жизни не хватает — ее прощения. И ей вдруг мучительно захотелось увидеть и почувствовать полноту счастья своего брата...

— Хорошо, — сказала Софичка, — встань, я тебя прощаю. Ты тоже исстрадался.

И Софичка вдруг заплакала, сама не зная отчего, и ей стало легко-легко.

— Софичка, — сказал Нури и, вставая на ноги, машинально отряхнул колени, — я теперь всю жизнь буду помнить...

Ему тоже вдруг стало хорошо-хорошо. Он постоял перед ней некоторое время, не зная, что сказать, и, стыдясь своих мокрых глаз, провел рукавом по глазам. И не зная, что делать дальше, повернулся, вышел из сарая и зашагал к своей машине.

— Ужужжал, — сказала Софичка, услышав шум мотора и улыбаясь сквозь слезы. На сердце у нее было легко-легко. И она заработала с удвоенной энергией.

Нури сел в машину и поехал. Еще когда он приехал в деревню, в Большой Дом, и узнал, что Софичка в табачном сарае, он решил пойти к ней и попросить прощения. И независимо от того, даст она ему прощение или нет, на обратном пути снова зайти в Большой Дом и пообедать. Но сейчас он решил, что незачем останавливаться в Большом Доме, и поехал дальше. Ему как-то стыдно было, что начнутся разговоры о прощении и, главное, о том, что он брякнулся на колени. Тогда это как-то получилось само собой, а теперь ему было стыдно, что он стоял на коленях.

Вскоре он почувствовал, что то странное и прекрасное ощущение, которое он испытал в табачном сарае, улетучилось.

„Что случилось?“ — думал он. Ничего особенного не случилось. Почему он этому прощению придавал такое значение? Он сам не мог понять и из-за этого сейчас злился на себя.

Раньше он мечтал, что, если Софичка простит ему его грех тридцатилетней давности, он устроит по этому поводу большое пиршество, на которое созовет всех родственников. Сейчас это ему казалось ненужным и глупым ребячеством.

Но зачем он, битый волк, король табачных махинаций, добивался прощения от сестры столько лет, он никак не мог понять. Неужели только из упрямства? Неужели только потому, что сестра ему этого прощения не давала? Он никак этого не мог понять, и сейчас злился на себя за всю эту глупость, и с особенным стыдом вспоминал, что во время прощения прослезился. Деревня, темнота, думал он, вспоминая многолетнее упрямство сестры, не хотевшей его прощать.

„Дурость, дурость все это“, — думал он и, нажав на газ, обогнал ехавший впереди него грузовик и чуть не столкнулся с грузовиком, поднимавшимся навстречу из-за пригорка. Это был первый знак отсюда, но он этого не понял. Он успел свернуть направо и вывалился в кювет. К счастью, с ним ничего не случилось, и машина осталась цела. Удивляясь самому себе, как он в таком месте мог пойти на обгон, он выехал снова на дорогу. Теперь он проклинал себя за всю эту ненужную поездку, удивляясь своей глупости. Почему он всю жизнь мечтал, чтобы сестра его простила, думая, что это ему что-то даст? Ни черта не дало и не могло дать, думал он.

Уже у выезда на приморское шоссе он остановил машину, чтобы заправиться.

— Что, Нури, к своим ездил? — спросил знакомый заправщик, наливая бензин в бак.

— Да, — сказал Нури, похаживая возле машины и раздраженно удивляясь, как это он мог решиться

обгонять машину у самого пригорка, когда не видно, идет ли встречная машина.

— Ну, как там? — спросил заправщик.

— Ничего хорошего, — сказал Нури и, сплюнув в сердцах, добавил: — Темнота.

— Деревня — она и есть деревня, — согласился заправщик, убирая шланг.

Нури выехал на приморское шоссе. Он собирался на обратном пути заехать к одному председателю колхоза и отдать ему его долю денег за незафиксированный, но сданный табак. Это было обычное дело. Он с председателем колхоза договорился по телефону, что заедет к нему, и деньги были у него в кармане.

Сейчас он внезапно решил, что не будет заезжать к нему и деньги оставит себе. Если председатель пригрозит — не страшно, он не из пугливых. А жаловаться властям тот не посмеет, потому что он и сам тогда сядет в тюрьму.

— Почему не заехал? — позвонив ему вечером, спросил председатель колхоза.

— У меня нет с тобой никаких дел, — ответил ему Нури, чтобы тому сразу все стало ясно.

Но тут случилось неожиданное. Председатель колхоза, обезумев от ярости, пожаловался в милицию.

По случайности это отделение милиции контролировал клан, враждебный клану Нури. И он, этот клан, ухватился за этот рычаг плотоядными пальцами. Знаменитое табачное дело завертелось с необычайной быстротой. Клан действовал стремительно и раздумчиво. Прежде всего председателя колхоза, спасая от смерти, по крайней мере до суда, упрятали в одиночную камеру смертников. Более надежного места в Абхазии не нашли.

Были схвачены многие люди. В том числе и Нури. По суду он получил пять лет тюрьмы. Сам он

никак не мог понять, почему тогда пожадничал и не дал председателю причитающиеся ему деньги. Понять, что только долгое непощение Софички и тоска по этому прощению всю жизнь удерживали его хотя бы на уровне уголовной морали, он не мог. И он никак не мог понять, что с ним случилось. Он только догадывался, что его рискованный обгон машины и рискованное решение не отдавать председателю колхоза деньги имеют какой-то общий корень. Но какой именно, он так и не осознал.

...В полдень Софичка сдернула с низальной иглы на шнур последнюю порцию табачных листьев и, отложив иглу, встала и вышла из сарая. Она по-прежнему чувствовала необыкновенную просветленность и шла быстро, легко. Через несколько минут ей повстречался бригадир. И Софичке захотелось поделиться с ним своей радостью. Он был первым человеком, которого она встретила с тех пор, как она простила брата.

— Брата моего Нури не видел? — спросила она у него.

— Видел, — отвечал бригадир, — провонял тут мимо на своей машине.

— А ты знаешь, — сказала Софичка, чувствуя, что у нее глаза влажнеют, — я ему все простила.

— А чего ты ему должна была прощать? — спросил бригадир, нетерпеливо перекладывая топорик с одного плеча на другое.

Бригадир был совсем молодой, ему было лет тридцать.

— Как — чего? — удивилась Софичка. — Он же моего мужа нечаянно убил тридцать лет назад.

Бригадир что-то смутно слышал об этом, но думал, что это вообще дореволюционная история.

— А-а-а, — протянул бригадир, — что-то слышал. Долго же ты ему прощала.

— Да, — с горькой гордостью вздохнула Софичка, — тридцать лет...

— Сдается мне, — с безжалостностью молодости сказал бригадир, снова перекладывая топорик с плеча на плечо, — нужно было ему твое прощение, как собаке кубышка на хвост.

— Что ты! — всплеснула руками Софичка. — Он так мучился... Кого только не подсылал ко мне...

Но бригадиру надоел разговор о ее брате.

— Сколько шнуров нанизала с утра? — спросил он.

— Двенадцать, — ответила Софичка, загрузив, оттого что разговор так упростился.

— Ай да Софичка! Ай да молодец! — воскликнул бригадир и двинулся дальше и уже на ходу: — Не было и нет тебе равных в Чегеме!

Софичка не почувствовала радости от его похвалы. Ее огорчило, что бригадир не понял ее состояния. Но ведь это было так давно, утешала она себя, его небось и на свете тогда не было.

Она подошла к Большому Дому и очень удивилась, что возле него не стоит машина Нури.

— А где же Нури? — с дурным предчувствием спросила Софичка у Нуцы, зайдя на кухню.

— Говорят, уехал, — отвечала Нуца, возясь у очага, — разве он к тебе не заезжал?

— Заезжал, — отвечала Софичка, радуясь, что сейчас обрадует тетью Нуцу: — Ты знаешь, я ему простила все...

— Молодец, Софичка, — сказала тетя Нуца, дунув на ложку и пробуя, готов ли фасолевый соус, — твой дядя будет рад этому.

Но в самом ее равнодушном голосе Софичка не почувствовала никакой радости.

— Да, — задумчиво сказала Софичка, — мертвого все равно не подыметь, а что же брата всю жизнь мучить... Я так решила...

— Правильно, Софичка, — отвечала тетя Нуца и, взяв веник, начала подметать кухню. — Кстати, сходила бы за водой. Свежей воды нет.

— Хорошо, — сказала Софичка, готовясь перекусить. Она достала из шкафа холодной мамалыги, зеленого лука, плеснула на тарелку фасолевого соуса и присела к столу.

Перекусив, Софичка взяла медный кувшин и отправилась к роднику. Софичка чувствовала некоторое смущение, которое сама себе не могла объяснить. Смущение это было вызвано тем, что брат ее, получив прощение, не остановился у родных, а прямо уехал в город.

Она была уверена, что это великое прощение будет отмечено праздничным застольем, но поняла, что, оказывается, ничего такого не будет. И потом ее неприятно удивила будничность, с которой жена дяди поздравила ее с этим прощением. Нет, совсем не этого она ожидала. Софичка чувствовала, что случилось что-то не то, но что именно, она не могла понять.

Подойдя к роднику, она поставила кувшин на камень, запруживающий родник. Повернулась и пошла на могилу мужа. Сейчас она туда шла с некоторой тревогой и неуверенностью. Став в изголовье могилы, она не знала, с чего начать разговор с мужем, и, увидев несколько пожелтевших листьев, залетевших сюда от могучего грецкого ореха, росшего над родником, убрала их и отбросила.

— Сегодня я его простила, — сказала Софичка, громче обычного, обращаясь к мужу, — ведь уже прошло тридцать лет... Чего человеку мучиться...

Софичка прислушалась к себе и не услышала внутри себя голоса своего мужа. Ей это показалось странным.

— Я же знаю, — сказала она, — если б он тогда тебя не убил, а ранил, ты бы его давно простила...

Софичка снова прислушалась к себе и не услышала внутри себя голоса своего мужа. Тихий ветерок прошелестел в деревьях, и с лавровишни слетело на могилу несколько пожелтевших листьев. Два из них упали на могильный холмик. Софичка удивленно взглянула на лавровишню. У лавровишни вечнозеленые листья. За тридцать лет саженец вырос с большое дерево, насколько лавровишня может быть большой. Она заметила на дереве надломленную ветку. Кто-то, когда ягоды созрели, срывал их и, видимо, надломил ветку. С нее-то и слетели пожелтевшие листья. Что-то порхнуло в глазах у Софички, и она заметила белку, рыжими спиралями взлетающую по стволу. Добравшись до ветки, обращенной в сторону могилы, белка двумя взлетами оказалась на ее кончике и оттуда, вцепившись в нее и покачиваясь, глядела на Софичку бусинками глаз, словно удивляясь ее приходу сюда и ее странным ожиданиям. Софичка постояла, прислушиваясь к себе и удивляясь, что внутри нее не возникает связи с мужем. Внутри было пусто. Муж не откликнулся.

— Он встал на колени, — сказала Софичка, голосом стараясь убедить своего мужа, — я женщина и то никогда не становилась на колени, а он мужчина... Он большой человек в городе. У него свой дом и машина... Даже две... А он стал на колени, чтобы я его простила. Кто я? Старая кумхозница...

Софичка снова прислушалась к себе, уже предчувствуя, что голоса не возникнет. И в самом деле муж молчал. Так ей показалось. Он заперся от нее там, в своем гробу.

И вдруг на Софичку нахлынула обида.

— Я всю жизнь была верна тебе, как собака, — сказала она. — Я в Сибирь поехала с твоими родителями. Я ухаживала за ними, когда они заболели. Я похоронила их с почестями... Я выдала твою племянницу Зарифу замуж за учителя... Я отдавала ей все, что зарабатывала в кумхозе... Я продала дом...



Наш дом, чтобы она могла купить себе трехкомнатную квартиру... Ко мне трое сватались еще до войны... Но я была верна тебе, как собака. А теперь кому я нужна, старая кумхозница... А ты мне и отвечать не хочешь... Да, мой брат согрешил, и я тридцать лет не прощала ему! А твой брат не согрешил? Он бросил товарищей на фронте и удрал в Чегем. Он ведь тоже клятву давал быть верным... А мой брат не бросил фронта... Он был дважды ранен...

И вдруг Софичку обожгла мысль: но ведь это бунт против мужа!

— Нет, Шамиль тоже не виноват, — почти крикнула она, рыдая, — он защитил мою честь. Он достойный тебе брат. Меня из-за него поставили на конторские гвозди... Нет, из-за Чунки... Я уже не помню, из-за кого. Но это было так больно... Ты бы пожалел меня, если б знал... Меня никто, кроме тебя, никогда не жалел... А сейчас и ты меня не жалешь...

И она еще с полчаса тихо плакала над могилой мужа, но ответного голоса так и не услышала. В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности.

И Софичка, понурив голову, направилась к роднику. Она поймала тыквенную кубышку, плававшую на поверхности родника, и наполнила кувшин свежей водой. Потом она по привычке нарвала папоротников, сделав из них прокладку, чтобы кувшин поменьше отдавливал плечо, взгромоздила его на себя и пошла.

Она поднималась с кувшином в Большой Дом, и впервые тяжесть кувшина показалась ей непомерной, и эта тяжесть больно отдавливала ей плечо.

На следующее утро Софичка почувствовала во всем теле такую слабость, что не смогла встать. Софичка слегла. К ней приводили врачей, но они ничего не находили. На вопросы, болит ли у нее что-ни-

будь, она неизменно всем отвечала, что у нее ничего не болит.

— Так что с тобой, Софичка? — спрашивали близкие и односельчане.

— Силы утекли, — неизменно отвечала Софичка и старалась вытянуть руки, как бы показывая направление, по которому утекли силы. С каждым днем Софичка угасала. Весть о том, что Нури арестовали, она выслушала равнодушно.

Врачи ничего не могли понять. Скорее всего, это была глубочайшая депрессия. Клятва, данная умирающему мужу, была ею невольно нарушена, и прервалась духовная связь с ним, поддерживавшая ее великую жизненную энергию.

— Силы утекли, — повторяла она навевающим ее, стараясь вытянуть руки и показать, куда они утекли. Через месяц она умерла. Ее со всеми почестями похоронили на семейном кладбище, и в тот же день, посоветовавшись между собой, родственники перенесли прах ее мужа и предали его земле рядом с ней.

Прошло десять лет. Нури просидел в тюрьме всего два года. Люди его клана вытащили его оттуда.

Сегодня он и его друзья на трех машинах приехали на чудную лесную лужайку, расположенную над Чегемом. Отсюда открывался прекрасный вид на далекое синее море с долгим профилем корабля, идущего на Батуми, на серебристые извивы реки Кодор и на могучие леса, росшие на холмах предгорий.

Их было шесть человек, трое мужчин и три женщины. Можно сказать, что Нури их сегодня угощал чегемским воздухом и чегемскими пейзажами. Впрочем, угощением этим отнюдь никто не собирался ограничиваться. Они приехали якобы на охоту и на пикник в горах. В глубине души все мужчины знали, что охота навряд ли получится. Из города были при-

везены всевозможные напитки, свежая зелень, отборные фрукты. А по дороге в Чегем у одного крестьянина был куплен молодой барашек как самый верный охотничий трофей.

Мужчины часа два бродили по лесу, не слишком отдаляясь от лужайки. Но ни одна косуля и ни один дикий кабан не пожелали выбежать им навстречу, и они вернулись на лужайку, хоть и не набив дичи, но набрав аппетит.

Женщины в это время возились возле барашка, привязанного на длинной веревке к одной из машин. Они кормили барашка, несколько обалдевшего от внимания трех женщин, свежими листьями лещины. Женщины, смеясь, поперебой совали ему ветки с листьями, как бы радуясь неумолимости перехода от своей древней профессии к не менее древней профессии пастушек.

Увидев возвращающихся мужчин, женщины бросили барашка и побежали им навстречу с легкостью косуль, снова перебегая к своей древнейшей профессии, освеженной буколическими радостями. И тут-то самое время было перестрелять их за отсутствием другой дичи, и в этом, вероятно, не было бы большого преступления.

Однако эти мужчины были солидными коммерсантами, а не какими-нибудь чудовищами, чтобы убивать женщин, а равно и мужчин, когда этого не требует ДЕЛО. Такими убийствами они брезговали как проявлением самого подлого, самого непотребного хулиганства.

Весело разожгли костер.

...Костер! Он всегда бодрит и успокаивает. Костер — прасущность человеческого уюта. У костра человек впервые почувствовал себя защищенным от холода и диких зверей. У костра человек впервые задумался о небе и о Боге, ибо с неба хлестнувшая молния, сопровождаемая громом, сожгла первое де-

рево, и человеку явился огонь, и он почувствовал, что Бог — всеблагая, но и грозная сила.

Человек никогда не перестанет удивляться чуду превращения твердого тела древесины в жидкое пламя, которое, изгибаясь, выгибаясь и загибаясь под порывами ветра, все равно всегда выпрямляется и тянется к небу, к своей родине.

Вполне вероятно, что идея дома впервые возникла в голове человека у костра. Сначала крыша, чтобы защитить костер от непогоды, а потом по той же причине и стены, а потом человек назвал домом место, где его костер защищен со всех сторон, и сам он защищен в том месте, где защищен костер.

Идея дома — костер. Хозяин идеи — костер. Путем не слишком долгих манипуляций в историческом плане цивилизация незаметно изгнала из дома костер. Хозяина дома изгнала из дома, выдав дому некоторое количество удобных заменителей костра.

И человек остался в доме, который он когда-то создал для костра. Дом остался — костра нет. Человек легко забыл, что в его доме когда-то был костер, был очаг. Но его прапамять об этом не забыла, и не забыл об этом его язык, великий хранитель народного опыта. И человек, не понимая горькой самоиронии своих слов, иногда автоматически называет родной дом родным очагом, как говорили в старину.

И часто человеку в родном доме неуютно, ему тоскливо, ему чего-то не хватает, а не хватает ему объединяющего семью горящего очага. Озаренная очагом, обдаваемая волнами тепла, ловя это тепло лицом и растопыренными ладонями, семья делилась у очага своими радостями и горестями, своими воспоминаниями и своими мыслями. Общение у очажного костра требовало от человека духовной работы, невольно развивало в нем мастерство общения, этику понимания собеседника. Тысячи народных пословиц и поговорок, все сказки и легенды создавались и тысячелетиями оттачивались у домашнего очага.

Что же сейчас собирает семью и близких семье людей вместо домашнего очага? Алкоголь или телевизор. Иногда, как бы чувствуя собственную недостаточность, они действуют вместе. Люди пьют и одновременно посматривают телевизор. Или смотрят телевизор и одновременно попивают. Кайф!

Диалог в семье заменился монологом телевизора. У очага мы жили сами, а теперь вынуждены жить отраженной в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего изменить нельзя.

У очага была переливающаяся, трепещущая, как огонь, импровизация нашей собственной жизни. И подумать только! Такая импровизация происходила каждый вечер в миллионах домов! И ни одна из них не повторяла другую, ибо каждая жизнь неповторима! А теперь в миллионах домов каждый вечер молча проглатывается один и тот же сюжет всегда чужой жизни. Господи, как скучна диктатура развлечений!

Другой заменитель живого огня — алкоголь. Очаг опасно перенесен на обеденный стол: в бутылке — мокрый огонь. И он действительно развязывает языки, как когда-то языки огня развязывали человеческий язык.

Но люди разучились обращаться с огнем, в том числе и с алкогольным огнем. И подкладывают, и подкладывают дрова в этот огонь, подливают и подливают в рюмки.

Раньше близость к пламени очага контролировалась прямой угрозой обжечься. Контролировать огонь алкоголя гораздо труднее. Чем больше пьешь, тем сильнее иллюзия его живительной безопасности. Последующая рюмка как бы приглашает опьянение предыдущей рюмки.

И потому так радуется нас, как начало нашего выздоровления, живой огонь костра, выжигающий из наших душ мусор суетных и тщеславных забот. И да здравствует костер с печеной картошкой, с ухой или

шашлыком! Да и без всякой еды радует нас вечно молодое, веселое пламя, мы тянем к его струям руки и, может быть, сами того не осознавая, молимся:

— Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни! И ты забудь! Мы забыли позор нашей истории и наш собственный позор! И ты забудь! Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку! Господи, дай! Мы только начинаем жить! Мы у костра!

...Весело разожгли костер. Нури прирезал барашка и умело разделал его. Мясо вместе с помидорами и болгарским перцем насадили на шампуры и приготовили пахучий, шипящий, сочащийся шашлык. Потом долго обедали на расстеленном ковре, сопровождая эту еду шутками и смехом. По мере насыщения смех компании делался все громче и дружнее: повышенное количество выпитого воспринималось как повышенное качество шуток. Пили „Хванчкар“, точнее, запивали „Хванчкар“ французский и армянский коньяк.

Женщины пили, не слишком отставая от мужчин. Мужчины были в летах и богаты, и поэтому женщины у них были молоды, красивы и профессиональны в делах любви.

После еды и выпивки, так сказать, завершив не слишком головокружительную первую часть программы, приступили ко второй, о головокружительности которой не могло быть и речи, ибо эта часть программы самой природой всего более отдалена от головы.

Две пары устроились в машинах, а Нури, как более натуральный человек, вытащил из багажника свой старый плащ и повел свою раскосую красавицу на край лужайки, кстати целомудренно рассчитав, что этот край необозрим из машин. Эта кенгурская красавица уже много лет была его тайной (хотя бы от мужа) любовницей. Кстати, самая красивая и по-

тому самая дорогая шлюха, приезжавшая летом в Мухус, сочетая умеренный отдых с неумеренным промыслом, сказала однажды потрясающую по своей самоотверженности фразу.

— С Нури, — сказала она, — я бы даже бесплатно заперлась в номере на неделю.

Эта историческая фраза облетела деловые круги Мухуса.

— Да врут все они, — отвечал Нури, морщась, когда его поздравляли по этому поводу. Стыд за похотливость, или злозадость, как говаривали чегемцы, — последнее, что в нем оставалось от чегемства.

...Все еще мощный самец, он, не раздеваясь, стремительно овладел ею и теперь после сладостных телесных трудов пытался отдышаться.

Она все еще лежала рядом с ним с задранном платьем, но ее голые, стройные ноги сейчас вызывали в нем только отвращение и ненависть.

— Прикрой занавеску, — клокотнул он в ее сторону. Она удивленно посмотрела на него и молча прикрылась платьем.

Чем яростнее он брал женщину, тем сильнее поднималось в нем отвращение после близости. Иногда он не мог сдержать себя, правда, имея дело с другими шлюхами, и неожиданно после бурного соития они получали пару увесистых пощечин.

— За что? — случалось, начинали они плакать.

— За то и за это, — загадочно отвечал он.

Но он и сам не знал, за что. По-видимому, перед каждой близостью женщина создавала для него иллюзию достижимости счастья, и он всей своей бычьей страстью проламывался к нему, но путь к счастью всегда обрывался у самого пика, и он, обессиленный, каждый раз сползал в гнусную, грязную пустоту.

Но эту свою любовницу он никогда не бил. Она ведь была ему родственницей, хоть и не по крови, но

все же... Но все же по чегемским обычаям он был достоин смертной казни и теперь второй раз в жизни избежал этой казни, на этот раз просто потому, что не было уже таких чегемцев, которые могли быть исполнителями древних обычаев.

Особенно чувственную тонкость этой связи придавало то, что его любовница была дочерью человека, который должен был казнить его за убийство брата и который сам уже давно гниет в земле. Тогда Софичка спасла Нури от смерти. Да, эту любовницу он никогда не бил после близости или тем более до близости, и он слегка гордился этим в глубине души. Однако после любовных утех она его раздражала не меньше остальных.

Что с ними поделаешь! Он-то хотел, чтобы всякая шлюха, вызвавшая пламя его страсти, после близости немедленно, как, бывало, жена, да, как жена, застенчиво прикрывала себя, приводила себя в пристойный вид. Но ни одна из них об этом не догадывалась, а валялась в разнузданной позе, в которой настигли ее последние содрогания. Бесстыжие стервы!!!

При всем богатстве и уважении, которым он пользовался в подпольном мире и в мире чиновников, которых подкармливали подпольные воротилы, Нури был недоволен жизнью.

В последние годы все его раздражало: от правительства до жены. Этот покорно испытующий взгляд жены, когда он поздно возвращался домой, этот взгляд молча, но неизменно ему говорил: „Ты опять был с женщиной?“ Невозможно было ей объяснить, что с женщинами он бывал гораздо реже, чем она думала, что он был занят своими бесконечными делами и бесконечными разборками с партнерами. Она всегда смотрела на него с этим немым упреком, от которого можно было сойти с ума. Слава Богу, еще с немой, хотя сама невозможность ответить на немой упрек еще больше его раздражала.



Его приводили в бешенство собственные балбесы, его взрослые дети, игроки и пьяницы, которых совершенно невозможно было подключить к какому-нибудь серьезному делу, требующему сообразительности и мужества. Слава Богу, что они еще как будто бы не кололись! Но с каким тайным, глупым, подбострастным азартом, он это знал, они ждали его смерти, чтобы прокутить, прожрать, просрать все его богатство! Ничтожества! Он и сейчас был физически здоровее их!

Но главное тупиковое противоречие его жизни было в том, что благодаря слабостям этого государства он и ему подобные люди скопили большие богатства, но, чтобы сохранить эти богатства, им теперь нужно было более сильное и более жесткое государство.

А государство, как назло, дряхлело и дряхлело, и уже появились молодые, столь дерзкие волки, что пытались их, старых волков коммерции, обкладывать подпольными налогами, и иногда небезуспешно. (Задолго до Москвы окраины репетировали новые общественные отношения в стране. А Москва, глядя на все это, хлопала глазами, уверенная, что до нее такое никогда не дойдет.)

Мир перевернулся! И некоторые коммерсанты уже трусливо платили. Нет, лично к нему, зная его бесстрашие, пока никто не обращался. Но он ставил вопрос принципиально! Что это за государство, спрашивается, которое вместе со своей купленной-перекупленной милицией не может защитить богатых, солидных людей от молодых и наглых голодранцев-шакалов?!

Вдруг он услышал далекий мальчишеский голос: „Хейт! Хейт!“, сзывающий коз, и еле уловимый звук колокольца на шее козы. Он сам когда-то пас коз на этих склонах, иногда вместе со своей сестренкой Софичкой. Они тогда были детьми. Как давно это было!

И ему вдруг мучительно захотелось взглянуть на Большой Дом, где он вырос. Он знал, что дядя Кязым уже умер, что дети его и вдова живут в городе, но он не знал, что Большой Дом уже продан и новый хозяин разобрал его и свез в то же прожорливое местечко Наа, хотя кухню, примыкающую к дому, он еще не успел разобрать.

Нури решил, что за час он успеет спуститься отсюда к Большому Дому и до заката поднимется.

— Я спущусь к Большому Дому и вернусь, — неожиданно сказал он своей любовнице и, быстро встав, вытянул несколько глотков из слегка початой бутылки французского коньяка, стоявшей рядом.

Заткнув бутылку пробкой, он легко вскочил и, держа ее в одной руке, бодро пошел вниз, и охотничий нож болтался у него на бедре. Это последнее, на что обратила внимание его любовница, когда он стал спускаться к Большому Дому.

Он быстро спускался вниз по тропе, но зная, что эта тропа ведет к восточной части Чегема, вскоре свернул в заросли направо, потому что ему надо было двигаться к западной части Чегема.

Ниже лужайки, на которой они пировали, загустел туман, и Нури уже двигался в молочной полутьме склона, все меньше и меньше его узнавая. Ему казалось, что туман нарочно замаскировал местность. И, уже потеряв всякие ориентиры, плутая по одичавшему, разросшемуся кустарниками склону, он в бешенстве дикого кабана пробивался сквозь них, скалясь от ярости и шепча:

— Сдохну, но выйду к Большому Дому!

Свирепея с каждым шагом, он рвался сквозь колючие плети ежевики, сквозь кусты бересклета, сквозь податливую бузину, сквозь бодливые, негнувшиеся, наждачные самшитовые заросли. Он выдирался из капканов лиан — обвойника, хмеля, павоя, сквозь заросли держидерева, хватавшего его злыми клювами колючек. Он рвался и рвался, иногда

оскальзываясь и падая на каменных осыпях, иногда съезжая вместе с ними, но, и падая, он успевал высоко поднять бутылку с коньяком, сохраняя ее, как светильник разума, как источник энергии, и иногда после очень болезненного падения припадал к бутылке и выпивал несколько живительных глотков.

И дальше с еще большим упорством и яростью сквозь гибкий кизильник, сквозь лопоухие кусты лавровишни, сквозь грохочущий молодой листвой неизвестно откуда взявшийся юный ольшаник, сквозь кусты лещины, лоха, миндаля, сквозь злобно ошестиненные кусты дикой розы, так называемой собачьей розы, по-собачьи разодравшей ему брюки, сквозь резиново-упругие кусты рододендрона, сквозь шипастые плети заматерелого сассапарилля.

Снова скользил и падал на осыпях камней, и, падая, вновь героически выбрасывал вверх руку с бутылкой, и вновь припадал к ней, и, снова набравшись энергии, шептал сквозь зубы:

— ...вашу мать! Сдохну, но выйду к Большому Дому!

Лицо и тело его были исцарапаны, искусаны, изгрызаны, измочалены, измолоты природой Чегема, словно она вознамерилась не пускать его в Большой Дом и вообще вырыгнуть его из себя.

Он уже плутал несколько часов, смертельно устал, был пьян и понял, что заблудился, но шел, не останавливаясь, теперь уже надеясь выйти хоть к какому-нибудь жилью, а там с помощью хозяев добраться до Большого Дома.

И хотя он разумом знал, что заблудился, но каким-то звериным чутьем, сам не подозревая об этом, хоть и петляя по склону, словно по течению инстинкта, медленно приближался к родным местам и уже в полной темноте ввалился во двор Большого Дома, но ничего не узнал.

Он только заметил какое-то строение — не то заброшенная хибарка, не то покинутый сарай. Это

была кухня Большого Дома, примыкавшая к нему. Но отдельно он ее никогда не видел и потому не узнал.

Главным ориентиром Большого Дома был гигантский грецкий орех, посаженный дедом еще в девятнадцатом веке. Он рос на правой стороне двора. Но этот грецкий орех уже давно был кем-то срублен, а потом распилен на доски и увезен.

Точнее, дело было так.

Какой-то приезжий прохиндей, увидев могучее дерево, усеянное тысячами орехов, поленился или испугался взобраться на него и длинной палкой, как это обычно принято, посбивать орехи. Зато он не поленился несколько дней подряд рубить орех и, наконец завалив его, собрал множество мешков грецкого ореха. Остановить его было некому.

К этому времени страна окончательно обэндурилась, и ее охватил жадный пафос одноразовости, как последняя стадия атеизма. Пафосом одноразовости определялась и вся жизнь человека, и все его действия (заработал — пропил) — вплоть до лишения жизни столетнего плодоносящего дерева ради того, чтобы собрать с него один урожай.

А другой человек из того же неугомонного местечка Наа, увидев опрокинутый ствол исполинского орехового дерева, не поленился привезти на тракторе из Наа что-то вроде портативного деревообрабатывающего заводика. И он целый месяц трудился с помощниками, разрезая ствол и распиливая его на бесчисленные доски, которых хватило бы, вероятно, на строительство небольшого поселка. И в течение еще одного месяца доски были вывезены при помощи того же трактора в это муравьино-неутомимое местечко Наа.

Кроме гигантского грецкого ореха, как ориентир Большого Дома еще оставалась старая яблоня, но она была далеко не столь высока и тонула в темноте. Он ее просто не заметил.

Вдребадан пьяный, от усталости едва передвигая ноги, он с тяжелым скрипом открыл дверь кухни, совершенно пустой, с едва угадывающейся слева черной пастью очага. Нури допил коньяк, швырнул бутылку в дыру очага, дошел до правого угла кухни и, рухнув, заснул мертвецким сном.

Он проснулся на следующий день за полдень, когда кухня была залита светом солнца, льющим-ся сквозь проломы окна. Пробудившись, он увидел перед собой стену, на которой были нарисованы кривотрубные парходы, которые он в детстве рисовал здесь вместе с Софичкой. И он подумал, что это счастливый сон о детстве, и бессознательно, чтобы продолжить сон, закрыл глаза. И тогда вдруг видение кораблей исчезло. И тут он опять открыл глаза и окончательно проснулся. Слегка размытые рисунки кораблей были на месте.

Значит, он все-таки вышел к Большому Дому! Но как он не узнал родной дом и родную кухню! Он перепил, черт возьми! Он вспомнил, как они в детстве вместе с Софичкой рисовали эти корабли, бесконечно слюнявя карандаш и отнимая его друг у друга. Вспомнил, как они пасли коз, как он ее храбро защищал от обидчиков, соседских мальчишек. Вспомнил, как он еще совсем малышом, но уже чувствуя себя мужчиной, стыдился, когда Софичка целовала его в то место между ключицами, где горло переходит в грудь и где, по абхазским народным поверьям, помещается душа.

Софичка была на два года старше него, и он вынужден был покоряться ей, хотя ему уже тогда было стыдно, что сестра его целует. И он нехотя раздвигал рубашку на шее, а Софичка, улыбаясь, говорила:

— Там, где душа! Только там, где душа!

И целовала его.

И вдруг он с ошеломляющей ясностью понял, что загубил ее чистую жизнь, что нет и никогда не будет

ему прощения за это, и, с дикой, утробной тоской напрасного, запоздалого покаяния, закричал всей мощью своего голоса:

— Софичка!

Он звал сестру. Это был вопль отчаяния, сливающийся с криком о помощи проснувшейся души. Но в ответ только молчание ветхой, заброшенной кухни. На голос его с тихим замирающим шорохом с потолка посыпалась какал-то труха, как последние песчинки в песочных часах жизни.

И проснувшаяся душа его захотела вырваться из вместилища его собственного тела. И он, не сводя глаз с этих кривотрубных кораблей, так счастливо плывших куда-то в детстве, выхватил нож из чехла, раздернул защитного цвета охотничью рубаху, легко нашел острием отточенного, как бритва, ножа то место у основания горла, где якобы помещается душа, и с медленным сладострастием вонзил туда нож.

Потом он порывисто вырвал из раны нож и отбросил его. Кровь хлынула фонтаном! Уже теряя сознание, он судорожными движениями пытался прикрыть рану, а потом вдруг, словно вспомнив что-то, кровавыми ладонями стал мазать по стене, и никто никогда не узнает, что означали эти его движения: то ли желание сохранить нежные рисунки детства под защитным слоем собственной крови, то ли стереть их навсегда так, как будто их никогда не было. Минут через пять он, растянувшись у стены, тихо умер.

Его труп нашли в тот же день. Кенгурский следователь сначала настаивал, что это убийство пьяного человека, не очень ловко замаскированное под самоубийство. И убийство скорее всего совершено женщиной, которая нещадно оцарапала лицо защищающейся пьяной жертвы.

Кто его знает, может быть, следователь переживал за учителя, мужа любовницы Нури, и жажда

возмездия внушила ему этот вариант. Но вариант этот был легко опровергнут всеми остальными показаниями. Тело Нури под изорванной одеждой было исколото, исцарапано, в страшных синяках и ссадинах. Все это было никак не похоже на последствия женских побоев. Тут следователь природу-мать спутал с его красавицей. Участники пикника тоже дружно показали, что, когда Нури спускался к Большому Дому, никакая женщина его не сопровождала.

Оставшиеся родные, несмотря на его давнее изгнание из рода, хотели похоронить Нури на семейном чегемском кладбище. Но тут вмешался могущественный клан дельцов, к которому он принадлежал, и с непостижимым в своей сентиментальности культом своих мертвецов устроил ему пышные похороны на самом престижном мухусском кладбище.

Был привлечен и местный скульптор. И теперь Нури в виде мраморного памятника в свой естественный рост сидит на мраморной скамье над своей могилой. Он сидит с видом ученого-ботаника, благогостно рассматривающего табачный лист, очень натурально распластанный на его ладони. Скульптор, проявив известную находчивость, вырезал или отлил табачный лист из бронзы. Но не всякий поймет, что это табачный лист, а не, скажем, виноградный, если не прочтет надпись, выведенную золочеными буквами под его именем и гласящую:

„ВЕЛИКОМУ ЗНАТОКУ АБХАЗСКИХ ТАБАКОВ  
ОТ УБИТОЙ ГОРЕМ ГРУППЫ ТОВАРИЩЕЙ“.

# Пшага

П О В Е С Т Ъ



---

Двое пленных немецких офицеров, в странно распахнутых шинелях, животом вниз, лежали у ног полковника Алексея Ефремовича. Один из них лежал, сцепив пальцы на затылке, как бы прося пощады, как бы прикрывая затылок. Второй, наоборот, лежал, распластав руки, пружинисто упираясь ладонями в землю, словно готовый в любую секунду вскочить.

Полковник вытащил пистолет и почти невидящими от ярости глазами взглянул на лежащих офицеров. Как бы просящие пощады, как бы защищающие затылок руки заставили его первым выделить этого офицера, а может быть, даже вспомнить, для чего он вытащил пистолет. Полковник выстрелил ему в затылок.

Голова дернулась и застыла, а руки медленно сползли с затылка и мягко легли на землю, словно досадуя на то, что на этот раз стреляющего не удалось смягчить, словно надеясь, что в следующий раз все может кончиться гораздо лучше.

После выстрела второй офицер, мощно оттолкнувшись руками от земли, успел стать на колени и, бесстрашно глядя в лицо полковника ненавидящими серыми глазами, стал выхаркивать в него какие-то немецкие проклятия, одновременно пытаясь встать.

Полковник выстрелил ему в грудь. Тело офицера откинулось от удара пули, но он не дал себя опро-

кинуть и, не своя с полковника ненавидящих глаз, вдруг встал. Но уже ничего не мог сказать, а только продолжал смотреть на полковника. Полковник хотел еще раз выстрелить в него, но офицер неожиданно рухнул назад.

Одна нога его, может быть, ища опоры, чтобы встать, с судорожной силой задвигалась, но опора никак не находилась, а каблук, все реже и глубже взрывая землю, прокопал канавку длиной от ступни до колена, и нога затихла, улегшись в ней.

Полковник вложил пистолет в кобуру и, отвернувшись от мертвых немцев, уставился на могилу, где только что был зарыт его любимый адъютант. Да, здесь, в Будапеште, когда уже рукой достать до победы, его храбрый, его веселый адъютант был убит почти случайной пулей.

За парком, где полковник хоронил своего адъютанта, стояла колонна пленных немцев. Из-за деревьев они не могли видеть то, что здесь произошло, но по выстрелам нетрудно было догадаться. Именно из этой колонны, которая случайно в это время проходила здесь, полковник приказал привести двух офицеров. Из-за ограды парка всю эту сцену наблюдал один из конвоиров с автоматом в руке. Он был совсем молод, и круглые глаза его застыли в ужасе.

Офицер, вместе с несколькими солдатами хоронивший адъютанта полковника и сейчас стоявший рядом с ним, когда тот повернулся к могиле, поймал глазами этого конвоира, резко махнул ему рукой и что-то прошептал исковерканным ртом. Скорее всего:

— Гони дальше!

И хотя конвоир никак не мог его услышать, но все понял, быстро повернулся и побежал к колонне. Колонна колыхнулась и проследовала дальше. Горбоносый угрюмый полковник все еще смотрел на могилу любимого адъютанта. Он почувствовал, что боль и ярость внутри него начинают затихать.

Старый отставной генерал Алексей Ефремович ехал в метро к центру Москвы. Он ехал с дачи, которую теперь редко покидал, в гости к своему другу генералу Нефедову. Он мог выбрать путь и покорооче, но у него было много времени в запасе, и ему почему-то захотелось пройти пешком от площади Свердлова до Пушкинской площади. Он сам не знал, почему это ему вдруг захотелось, хотя пешие прогулки, да еще в сутолоке толпы, ему давно были не по нраву да и не по здоровью. Физически он еще был крепким, жилистым, но сердце иногда сильно прихватывало.

На вид он казался удивительно хорошо сохранившимся стариком. Сухощавый, прямой, мужественно-горбоносое лицо с яркими, не разжиженными временем голубыми глазами, седовласый, но ничуть не лысеющий, он еще выглядел хоть куда. Но сердце иногда сильно прихватывало.

В Отечественную войну он много раз встречался со смертью и теперь боялся ее не больше, чем другие люди, так же, как и он, много раз рисковавшие жизнью. Он боялся непристойной неожиданной смерти среди чужих людей.

Поэтому, уезжая в город, он всегда держал в кармане паспорт и на отдельной бумажке телефон генерала Нефедова со строгим наказом: позвонить! Разъяснить, по какой причине надо звонить генералу Нефедову, он считал слишком сентиментальным и надеялся, что, если это случится, люди догадаются сами.

В сущности, генерал был очень одинок. Сын его, геолог, слишком много пьющий геолог, вместе с семьей почти круглый год пропадал на Севере. В Москве бывал в отпуск, проездом на юг. Естественная для старого человека любовь к внукам все время оставалась неутоленной.

Дочь с мужем, военным, жила на Дальнем Восто-

ке да к тому же была бездетна. Кстати, она была третий раз замужем и каждый раз выходила за военного, и каждый следующий муж был чином выше предыдущего. А он любил только ее первого мужа, и как тот рыдал на груди генерала, когда они расходились! Но что он мог сделать?

Он очень любил свою дочку, но развод с первым мужем в глубине души не мог ей простить. По какой-то иронии судьбы и даже некоторому злорадству генерала, пока его дочь вместе со своими новыми мужьями поднималась в чинах, первый ее муж, видимо, самый одаренный, он был военным инженером, вдруг обогнал ее последующих мужей в чинах, женился, родил ребенка. Он иногда еще звонил генералу. И как деликатно, стараясь скрыть волнение, он, бывало, спрашивал о судьбе своей первой жены. Генерал догадывался, что боль на том конце провода еще пульсирует.

А дочь его во время своего последнего приезда, узнав от отца, что ее первый муж теперь выше в чинах, чем ее последний муж, только весело расхохоталась. Она была с юмором и поняла намек отца. Нет силы, подумал генерал, глядя на хохочущее, хорошенькое лицо своей дочки, сильнее равнодушия.

Да и имел ли он право в конце концов читать нотации дочке, если сам он после смерти жены, с которой душа в душу прожил всю жизнь, снова женился. Он женился на медсестре, которая ухаживала за ним в больнице, когда он тяжело заболел.

Около года она приходила к нему домой, но потом, по ее настоянию, они оформили брак. Она была отличная хозяйка, и генерал это ценил. И вдруг, хотя и не сразу после оформления брака, на него, как снежная лавина, обрушилась ее фантастическая глупость и подозрительность.

Для генерала было величайшей загадкой: почему он этого раньше не замечал? Конечно, она не давала

себе воли, но и сам он, будучи в глубине души уверен, что поднял и осчастливил ее, считал, что она будет ему навек благодарна.

Сама не первой молодости, она все время подозревала, что у него какая-то тайная от нее жизнь, тайные планы, тайные вероломные решения, то ли соединиться со вдовствующей какой-нибудь генеральшей, то ли обделить ее в секретном завещании. И завещания никакого не было, и с вдовствующими генеральшами он общался в основном по телефону, потому что дружил с их мужьями. Он знал, что она вечно роется в его бумагах, в его карманах, в его записных книжках. Ищет следы его тайной жизни, которой нет.

Если он приходил домой и спрашивал: „Мне звонили?“ — она многозначительно подносила палец к губам, якобы вспоминая, а на самом деле думая, выгодно или невыгодно ей говорить правду.

Когда генерал об этом догадался впервые, он пришел в предобморочное бешенство, но потом, как это ни странно, привык. Он понял: того, что было с женой, больше никогда не будет.

Впрочем, эта женщина была необыкновенная чистюля и прекрасно готовила, и генерал старался это ценить, потому что не было сил переходить на новые позиции. Встряхиваясь, он думал иногда: „Чего там! Книжки есть, Нефедов еще не впал в маразм, а больше мне ничего и не надо“.

Но в последние месяцы его почему-то стали мучить вещи, о которых он раньше почти не думал. Вот это убийство двух немецких офицеров у могилы любимого адъютанта и то, что он забыл родной абхазский язык за долгое время службы в России. Он даже смутно чувствовал, что два этих факта, внешне столь далекие друг от друга, чем-то связаны.

Он вновь и вновь возвращался к убитым немцам, стараясь понять, почему и как это могло случиться. Вот он стоит у могилы только что похороненного адъютанта. И вдруг он видит из парка, как по улице

проходит колонна немецких военнопленных. Зачем он приказал привести двух офицеров? Почему не одного? Не трех? Тогда он не задумывался над этим, а теперь, кажется, понял почему.

Он хотел, чтобы они друг друга обожгли стыдом. Вот почему двоих. Для равновесия стыда. Он хотел сказать, какой юный, бесстрашный, веселый, исполнительный был его адъютант. И что он напишет теперь его матери?

Все это он хотел сказать немецким офицерам и вдруг понял, что ничего не может сказать, потому что рядом нет переводчика, а сам он, кроме десятка слов, ничего не понимает по-немецки.

И вот стоят перед ним молодые немецкие офицеры, и он им ничего не может сказать, и положение становится просто глупым. И тогда в порыве бешенства он по-русски приказал:

— Ложись!

Они ничего не поняли и продолжали смотреть на него. Он и тогда не думал, что собирается убить их. Не думал, что собирается убивать их, но собирался? Или не думал, что собирается их убивать, и не собирался?

— Ложись! — снова закричал полковник.

Лейтенант подскочил к немцам и стал, наклоняясь вперед, руками показывать, что они должны делать. Первым понял его чернявенький офицер с почти мальчишеским лицом.

— Яволь! Яволь! — закивал он и быстро лег на живот, широко раскинув руки. Возможно, он всю эту процедуру принял за какой-то восточный обычай преклонять врага перед могилой представителя побеждающей армии. Он лег, покорно раскинув руки, как бы ожидая последующих приказов.

Второй немецкий офицер, высокий красивый блондин, с серыми чуть на выкате глазами, сначала не хотел ложиться и всем своим обликом показывал презрительное непонимание происходящего.

И он никак не ложился, пока лейтенант не подскочил к нему и, силой наклоняя ему голову одной рукой, другой показывал на лежащего немца, настаивая, чтобы он последовал его примеру. Наконец и этот офицер, предварительно придав своему лицу выражение еще более презрительного непонимания происходящего, лег.

Он тоже лег на живот, но не раскинул руки, а держал их полусогнутыми возле своего тела, напряженно упирался ладонями в землю, словно ожидая приказа: „Встать! Лечь! Встать!“

Но вот прошла минута, но никакого дальнейшего приказа не последовало. Было тихо. И тогда чернявому, лежавшему раскинув руки, стало страшно, и он, подтянув руки, сплел пальцы на затылке, как бы пытаясь его заштитить.

В последние месяцы, непрерывно вспоминая о том, что случилось чуть ли не пятьдесят лет тому назад, генерал пытался понять, в какой миг ему пришло в голову убить их. Может, тогда, когда чернявенький подтянул руки к затылку и этим подтолкнул его к страшному решению?

Но нет, жестко поправлял себя Алексей Ефремович. Решение убить их пришло именно тогда, когда он приказал им лечь и как бы формально приравнял их к горизонтальному положению своего адъютанта. Дальше он уже полностью должен был приравнять их в смерти. Не сумев обжечь их стыдом, он принял это страшное решение. Но тогда оно ему не казалось ни страшным, ни роковым. Ни один из участников этой сцены никуда не донес, и самоуправство полковника осталось без всяких служебных последствий.

И многие, многие годы после войны — и когда он окончил военную академию, и когда стал генералом — только вскользь вспоминал о случившемся, и только недавно, в последние месяцы, оно его стало

мучить. Как и почему он мог расстрелять двух безоружных пленных?

Ему вспоминалось и доброжелательное, покорное лицо чернявенького немца, и надменное, холодное лицо высокого красивого офицера, как бы заранее своим лицом говорящего: „Ничего, кроме подлости, я от вас не жду и не могу ждать“.

И еще, как бы отдельно от всего, вспоминалась нога этого высокого красивого офицера, когда он после выстрела наконец рухнул на спину. Эта нога минуты две с невероятной, судорожной силой рыла землю каблуком ботинка и удивительно глубоко отрыла ее, так что вся она, от ступни до колена, уложилась в вырытую ею канавку и там успокоилась.

Его вторая боль — забвение родного языка. Он двадцать пять лет не был в Абхазии. В армию он пошел задолго до войны, потом война, потом служба на Дальнем Востоке и только потом, когда его перевели в Москву, он в отпуск с первой женой поехал отдыхать на Пицунду.

Он никак не афишировал свой приезд, но об этом узнали, и местное начальство, как бы гордясь им, стало повсюду его приглашать. И тут-то он обнаружил, что забыл родной язык. Как это случилось, он не мог понять.

Когда заговаривали по-абхазски, он чувствовал в мелодии гортанной речи что-то родное, но слов не мог разобрать. Тогда это было досадно, но большого беспокойства не внушало.

Окружающее абхазское начальство это обстоятельство несколько не смутило. Все они прекрасно говорили по-русски и если в присутствии людей другой национальности переходили на родной язык, то это означало, что в общую беседу они вносят уточнения, приятные для своего национального чувства. Представители других национальностей — грузины, мингрельцы, армяне — тоже во время общей русской беседы вдруг переходили на свой



язык, явно для того, чтобы вносить уточнения, приятные для своего национального чувства. Генерал оказывался среди русских, которым непонятно было, на какой язык переходить, чтобы поворковать отдельно от остальных.

Однажды в прекрасный лунный вечер генерала и его жену пригласили на банкет, устроенный под открытым небом. Банкет был устроен в честь грузинского министра, отдохавшего здесь, на Пицунде.

Был великолепный стол, как это умеют, кажется, только грузины, и веселый, впрочем, легкомысленный говор порхал над столом. Алексей Ефремович был старше всех по возрасту и с некоторым доброжелательным любопытством приглядывался к застольцам.

Министр был молод, весел, распахнут. Генерал отметил, что в его поколении начальники такого ранга не бывали столь молодыми и держались достаточно напыщенно. И ему понравился молодой министр.

Однако в разгар застолья, когда стали поднимать тосты за эту землю, за эти горы, за это море, он почувствовал некоторую странность, но суть ее не сразу понял. Но после третьего или четвертого тоста уловил, в чем ее суть.

— Друзья мои, — сказал генерал, — эта земля, эти горы, это море имеют свое название. Это Абхазия, почему бы вам не называть ее по имени?

Генерал это сказал с некоторой дружеской иронией, но вдруг за столом воцарилась напряженная тишина.

— Алексей Ефремович, — прервал тишину один из застольцев, — вы боевой генерал, вы не в курсе истории. Это Грузия, а не Абхазия.

— Ну, естественно, — кивнул генерал, — Абхазия входит в Грузию, но мы же сейчас сидим в Абхазии?

— Дорогой Алексей Ефремович, — упрямо повто-

рил тот же человек, — наукой доказано, что название „Абхазия“ — это второе самоназвание Грузии. Наука доказала. Мы ни при чем...

— Чушь! — с тихим бешенством проговорил генерал, как всегда, взрываясь на нелепость. — Если Абхазия второе самоназвание Грузии, почему вы никогда не употребляете его по отношению к Грузии?

Опять воцарилась некоторая неприличная тишина. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не жена Алексея Ефремовича. Она вдруг подняла фужер с вином и сказала:

— Выпьем за прекрасную Абхазию, включающую в себя всю Грузию, тем более что это одно и то же!

Юмористическая двусмысленность ее тоста почему-то сразу дала разрядку. Все расхохотались, а некоторые, хохоча, шутливо грозили ей пальцем. Министр легко вскочил, подошел к ней с бокалом, чокнулся, поцеловал ей руку и сказал теплые слова о братских народах, которые иногда, именно вследствие братства, позволяют себе братские раздоры.

Все было исчерпано, и вечер продолжался.

Говорят, есть защитный национализм. Как будто неправильное решение математической задачи одним человеком дает право другому человеку на свое неправильное решение той же задачи. Общась с местным абхазским начальством, он заметил, что и они, хотя и более осторожно, проявляют националистические наклонности.

Алексей Ефремович не поехал в родной Чегем, потому что знал: там теперь нет никого из близких. В том старом Чегеме, где прошло его детство, ничего подобного никогда не было. Село было в основном абхазским, но там жили и мингрельцы, и армяне, и греки. Генерал знал, что там не было никаких национальных распрей. И если один крестьянин жил лучше другого, то другой точно знал, что это след-

ствие того, что тот лучше ведет хозяйство, лучше работает. Неужели время так изменилось, думал Алексей Ефремович, или все это свойство узкой административной среды, где идет борьба за теплые местечки?

Бедный Алексей Ефремович, если б он знал, как далеко это все пойдет! Нет, он тогда не знал этого, но был огорчен. Кстати, на Пицунде он получил письмо от генерала Нефедова, который отдыхал в Новороссийске и звал его туда в гости. И он уехал с женой в Новороссийск.

Там его поразил неприятно нервирующий сильный ветер, который, кажется, назывался „бора“. И тогда он впервые почувствовал, что прихватывает сердце. Генерал побывал у местного врача, тот его прослушал и сказал, что ничего особенного, просто нервы пошаливают.

— Как это вы терпите этот ветер? — спросил генерал, одевался после прослушивания.

— А мы по субботам уезжаем за город, в местечко Пшада, — ответил врач, — это тайна природы. Там никогда не бывает ветра. Там мы отдыхаем от него.

„Пшада“, — повторил про себя генерал и смутно почувствовал, что в звучании этого слова слышится что-то абхазское. Он знал, что раньше, до второй половины девятнадцатого века, здесь жило абхазское племя убыхов. Во время кавказской войны огромное большинство из них было перебито, а остатки племени переселились в Турцию и там полностью растворились. Нет убыхов. Генерал прочел об этом в одной книге. Смутная боль за неведомое родное племя перекинулась на Абхазию, и он тогда подумал, что эти незначительные национальные раздоры скорее всего рассосутся.

Больше о забвении родного языка он всерьез не задумывался, а вот в последние месяцы стал вспоминать об этом с мучительным напряжением.

„Пшада, Пшада“, — говорил про себя генерал, и что-то похожее на обрывок мелодии, слышанной в детстве, звучало в этом слове. Но он никак не мог уловить мелодию этого слова целиком, то есть смысл его. И при этом почему-то был уверен, что в этом слове есть какой-то важный смысл. Но какой? Пшада...

Да, он давно забыл родной язык, но, как это ни странно, по-русски говорил все еще с небольшим абхазским акцентом. Казалось, звуки русской речи текут по бывшему руслу родного языка (речь, речка: текут), сохраняя его изгибы, пороги, перекаты.

Алексей Ефремович уже более пятнадцати лет был в отставке. Он и до этого достаточно много читал, а теперь это стало его самым любимым занятием. Да, чтение и самостоятельные раздумья теперь были его главным занятием в жизни. Раньше, если он и проявлял самостоятельную мысль, — а он ее проявлял достаточно часто, особенно на фронте, — это был его способ лучшим образом выполнить приказ.

Да, всю жизнь он любил выполнять то, что приказывало ему командование. Каждый раз, когда ему давали задание, он испытывал восторг, прилив сил, вдохновение.

Вспыхнула картина далекого довоенного года. Он еще совсем зеленый боец кавалерийского полка. Дело было на Северном Кавказе. Отрабатывали переправу на бурной речке. Ржание лошадей, смех, крики бойцов. Один из командиров, инспектировавших учения, оказавшись рядом с ним, кивнул на плывущую лошадь:

— Поймай ее и верхом сюда!

Он бросился в воду за лошадью, хотя не умел плавать. Ему казалось, что он в прыжке с мелководья допрыгнет до лошади и схватит ее. Она плыла метрах в семи от берега. Но, сделав мощный прыжок

в сторону лошади, он промахнулся и вдруг понял, что тонет. Почувствовав под ногами дно, но, преодолевая ужас, выбросился из воды, судорожно хватая ртом воздух и снова погружаясь в быстрый поток. Он одновременно испытывал и дикий страх утонуть, и энергию восторга, с которой он бросился в воду выполнять приказ.

Возможно, этой энергии восторга ненадолго хватило бы, его уже отнесло метров на двадцать вниз по течению, но, вынырнув из воды после третьего погружения, он вдруг увидел рядом с собой другую лошадь и успел уцепиться одной рукой за кончик ее гривы. Лошадь шарахнулась, пучок гривы, обжигая ладонь, вырвался из пальцев, и он снова погрузился в воду. Но тут лошадь повернулась к нему задом и, выплеснувшись из воды, на миг с головой ушла в воду. И он случайно под водой ладонью задел за ее круп и уж совсем не случайно с такой силой оттолкнулся от дна в ее спасительную сторону, что, вылетев из воды, шлепнулся ей на спину и успел перекинуть ноги.

Тут-то он уже был хозяин: горец, умевший с детства обращаться с лошадыю. Намертво стиснув ногами горячий, как жизнь, живот лошади, он лихо повернул ее, выгнал на берег и, разбрызгивая прибрежную гальку, подлетел к трясущемуся инспектору. Тот все видел.

— Ты что, не умеешь плавать? — спросил инспектор, когда он спрыгнул с лошади.

— Не умею.

— Какого же черта ты полез в воду?!

— Вы же приказали!

— Откуда ты?

— Из Абхазии.

— Черноморец и не умеешь плавать?

— Я из горного села. У нас нет большой реки.

— Молодец! — окончательно успокоился инспек-

тор. — Будешь большим командиром. Только научись плавать.

Конечно, он вскоре научился плавать. И навсегда запомнил слова этого человека. Но сколько сил было тогда, сколько сил!

Попав в армию, а потом в училище, он заметил, как легко превосходит своих сверстников физической силой, телесной устойчивостью. Особенно легко в этом он превосходил городских парней.

Однажды в училище, занимаясь боксом, он на ринге получил от противника сильный удар и пришел от этого в такую ярость, что ответным ударом выбросил противника из ринга, тот пролетел между канатами. После этого он получил прозвище Железный абхаз, и прозвище это его радовало.

Но точно так же с тайным стыдом он заметил, что многие ребята, особенно городские, превосходят его своими знаниями. И он жадно всю жизнь цапал знания, где только мог, чтобы не чувствовать себя ущербным.

На „Площади Свердлова“ генерал вышел из вагона и легким шагом пошел к выходу. Среднего роста, прямой, смуглое горбоносое лицо, как бы сточенное ветрами, все еще выражало энергию жизни. Особенно оно источало энергию жизни, когда он улыбался. Глаза загорались, да и зубы почти все были целы. Последнее наследие Чегема, говаривал он, когда кто-нибудь удивлялся этому обстоятельству.

Однако перед выходом из метро он расстегнул свой темный цивильный плащ и вытащил из бокового кармана пиджака трубочку валидола. Открыл, потряхнул на ладонь таблетку и положил под язык. Закрыв трубку и спрятал в карман. Таблетка валидола, да и сама трубочка, придавали ему уверенность, когда он приезжал в город один. Необязательно даже класть под язык таблетку, обязательно нащупать ее в кармане. „На фронте, — вспомнил он, —

выходя из землянки, было приятно для спокойствия почувствовать на боку пистолет. Тогда пистолет. Теперь валидол.“

Досасывая холодок валидола, он вышел из метро. Был теплый осенний день. Солнце просвечивало сквозь гигантские спирали облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. Возле метро толпилось много людей, продавцов и покупателей всякой всячины — от жевательной резины до водки.

Дососав таблетку валидола, генерал вынул сигареты, закурил, шелкнув зажигалкой, и с удовольствием вдохнул дым.

— Отец, можно сигарету стрельнуть? — услышал он возле себя и увидел подошедшего к нему солдата. Генерал обомлел. Солдат просит сигарету у генерала! Но солдат выглядел так браво, форма на нем так хорошо сидела, что Алексей Ефремович почувствовал прилив доброжелательности.

Не так все плохо, мелькнуло у него в голове, да и откуда солдату знать, что он генерал. Алексей Ефремович с удовольствием протянул солдату пачку. Солдат аккуратно вытянул сигарету и, возвращая пачку, попросил:

— Прикурить можно?

— Прикуривай, солдат, — весело ответил генерал и, затянувшись собственной сигаретой, подставил ее солдату.

Солдат прикурил и, видимо, по-своему поняв легкую общительность старика, вдруг спросил:

— Папаша, а не продадите мне пачку сигарет?

— Этим не занимаюсь, — сухогато ответил генерал.

Солдат отошел, и радость по поводу его ладности несколько улетучилась. Ничего не поделаешь, время такое, подумал генерал.

Он пошел в сторону подземного перехода и вдруг увидел возбужденную толпу возле Музея Ленина.

Какие-то люди, мужчины и женщины, с мрачным достоинством стояли, опираясь спиной о стену музея. Они как бы защищали последнюю твердыню и, опираясь на нее спиной, как бы у нее же черпали силы для ее защиты. Некоторые из них держали в руках плакаты. Другие люди подступали к ним и, тряся руками перед их неподвижными лицами, что-то им доказывали.

И хотя генерал давно считал, что защищать тут нечего и доказывать нечего, он вошел в толпу, чтобы разглядеть плакаты и послушать, о чем говорят люди. Самый большой плакат, который держал сумрачный молодой человек, гласил: „ФАШИЗМ НА РОДИНЕ ЛЕНИНА НЕ ПРОЙДЕТ“.

„Какой дурачок, — подумал генерал и с жалостью добавил: — Бедный мальчик!“ Другие плакаты были столь же наивны и глупы. Толпа была возбуждена, и многие, как заметил генерал, были полупьяны. Однако те, что стояли с плакатами и защищали Музей Ленина, явно были трезвы.

В толпе противников Ленина особенно выделялся высокий сильный мастерового вида человек. Он был на крепком взводе. Он крыл чуть ли не матом защитников музея и почему-то называл их евреями, хотя у всех у них, как заметил генерал, были русские лица.

По накалу злобы этого здоровенного человека чувствовалось, что ему очень хочется с кем-нибудь подраться. Но почему-то драки не происходило. То ли не находилось смельчака, который схватился бы с ним, то ли люди изменились, и теперь политический спор не приводит ни к дракам, ни тем более к доносам. Впрочем, доносить, кажется, теперь некому. Учатся демократии, иронически подумал генерал.

Он заметил, что в толпе немало пожилых женщин, кто с кошелкой, кто с сумкой у ног. Они тоже спорили и чаще всего с мужчинами, причем женщи-



ны были наступательной стороной, а мужчины как бы оправдывались. И это независимо от того, какую сторону они занимали — ленинскую или антиленинскую.

Алексею Ефремовичу подумалось, что женщины интуитивно чувствуют какую-то вину мужчин перед ними, перед их детьми и внуками, перед жизнью вообще и потому они так наступательны, а мужчины как бы оправдываются.

В сущности, так оно и есть, подумал генерал. Если ленинское дело правильное, то как страна могла дойти до этого безобразия? А если ленинское дело неправильное, то где вы были до сих пор, как вы, наши защитники, могли допустить это?

Одна из них, исчерпав все доводы в споре с женщиной, вдруг всплеснула руками и крикнула:

— Ну чего ты, здоровый лоб, среди бела дня торчишь здесь? Работать надо!

Генерал, чувствуя, что невольно заряжается электричеством этой галдящей толпы, сначала для подстраховки сунул руку в карман с валидолом, а потом и совсем ушел и спустился в подземный переход.

И, словно освобождая его от смутной тяжести этих вздорных споров у Музея Ленина, словно возвращая ему гармонию жизни, вдруг перед его взором вспыхнула фронтовая сценка с любимым адъютантом.

После успешного боя немцы отступали. Полковник сидел в захваченной командирской землянке. И бой был жаркий, и день был жаркий. Хотелось пить.

Влетел адъютант и поставил на пол рядом с ним ведро свежей воды. Алексей Ефремович дотянулся до кружки, набрал воды и стал медленно с удовольствием пить, поглядывая на покрасневшее веснущатое лицо адъютанта.

— Товарищ полковник, — рассказывал тот, задыхаясь, — что сейчас было! Чуть от страха копыта не отбросил. Захожу в лесок, где речка, пью воду, черпанул ведром и вдруг слышу кто-то вроде стонет, вроде рычит. Озираюсь — никого.

Там-сям убитые лежат. А на самой речке в раскорячку лежит огромная дохлая немецкая лошадь. И вдруг снова слышу какой-то угрожающий стон. Озираюсь — никого. А я забыл оружие взять с собой. Елки-палки, думаю, что это такое! И страшно, и ничего понять нельзя. Может, кто-то в кустах следит за мной, может, нечистая сила. Умираю от страха и сдвинуться не могу. Опять откуда-то грозный стон, главное, близко где-то, а я ничего не вижу.

И вдруг вижу что-то из дохлой лошади вылезает. У меня волосы поднялись. Мама родная — дохлая лошадь рожает! Она шагах в двадцати лежит от меня. И что-то из нее выдвигается, шевелится, разобрать не могу. Дохлая лошадь рожает! И вдруг задом вывалилось! Собака! Нет, волк! Повернулся, хлюп, хлюп, хлюп по воде на берег и в лес. Эх, было б оружие — пристрелил бы! Никогда так страшно не было в бою! Я потом подошел к лошади, заглянул в дыру. Он ей половину внутренностей отъел. Наверное, давно приходил сюда подкрепиться, а тут меня почувал.

— Ты мне лучше скажи, — проговорил полковник, дурашливо поглядывая на кружку, из которой пил, — ты меня напоил водой из-под дохлой лошади или догадался повыше взять?

— Обижаете, товарищ полковник, — тоже чуть дурашливо отвечал адъютант, — вы всегда меня обижаете. Конечно, повыше взял. Но откуда такой страх?

— Это тебе послужит хорошим уроком, — проговорил полковник, — сколько раз я тебя учил, что на месте боя, пока не убраны трупы, нельзя появлять-

ся без оружия. Раненый, который кажется убитым, может прийти в себя и прихлопнуть. Дезертир может наскочить и тоже от страха прихлопнет.

— Так пить хотелось, все забыл, товарищ полковник! Но откуда такой страх?

— Необъяснимость ситуации страшнее всего на фронте, — сказал полковник и добавил: — Да и в жизни, наверное, так.

И вдруг все погасло.

Необъяснимость ситуации в стране сейчас страшила и тревожила генерала. Он пытался охватить все взглядом, взвесить, понять. Что пришло с новым временем? Всевластие КГБ рухнуло. Это хорошо. Пресса стала свободной или почти свободной. Это хорошо. Но и глупой развязности и хамства в ней прибавилось. Это плохо.

У него в дачном поселке, где жили люди самой разной среды, в том числе и совсем простые люди, с необычайной быстротой начали расти дома. Хозяева дачных участков каким-то образом продавали часть земли преуспевающим людям, и те возводили себе дома. Генерал считал, что само по себе это хорошо. Пусть, пусть будет как можно больше состоятельных людей.

Но и многих обнищавших людей он видел, особенно на вокзалах и в электричках, когда он ездил в город или возвращался к себе на дачу. И это навело тоску.

Гуляя в окрестностях своего поселка, он видел, как люди, получившие клочки земли, старательно их обрабатывают и сажают картошку. Страх голода нависал над страной.

Но было и что-то обнадеживающее в этих островках частного предпринимательства. Так хорошо обработанную землю он видел только в Германии. Значит, люди умеют и хотят работать, когда работают на себя.

Но угроза голода. Страна и нищает, и богатеет одновременно. Кто кого обгонит? Может, богатеющие, разбогатеет, подадут руку помощи обнищавшим? Как-то не очень верилось. Или обнищавшие, отчаявшись, свернут шею обогатившимся? Трудно сказать. Неужто гражданская война маячит? Или обойдется?

Генерал шел по подземному переходу. Здесь во многих местах продавали книги и газеты. Он остановился возле одной из книжных стоек и стал разглядывать самые разнообразные книги — от приключенческих до политических. Увидел книгу с названием „Новое о Берии“, он потянулся было к ней, чтобы посмотреть и купить, и вдруг рука сама отдернулась. Он понял, что объелся подобного рода книгами и не хочет их больше читать.

Он пошел дальше. Вскоре он услышал звуки довоенного джаза и увидел небольшую толпу. Он любил старый, довоенный, мелодический джаз. Он остановился в толпе. Джазисты играли с большим подъемом. Даже было странно, что здесь, в подземном переходе, они играют с таким увлечением. После окончания мелодии толпа зааплодировала. И многие стали совать бумажные деньги в большую жестяную банку, стоявшую перед музыкантами. Генерал вынул бумажник и тоже сунул в нее деньги. Музыканты снова заиграли старую довоенную вещь, и генерал с удовольствием их слушал.

Но потом высокий молодой человек подошел к пожилому саксофонисту и начал с ним о чем-то спорить. Генерал никак не мог понять, о чем они спорят, хотя видел и понимал, что молодой человек ведет себя нахально. Пожилой саксофонист вдруг оставил свой саксофон и стал сам наседать на этого очень молодого и на вид очень сильного человека. Генерал почувствовал, что вот-вот начнется драка, и никак не мог понять, что они делают.

— Я заказал, я заказал! — вдруг донесся до него хозяйский голос молодого человека.

Генерал понял, что молодой человек заказал музыкантам играть что-то, а они не хотели играть на заказ. Генералу понравилось, что этот пожилой саксофонист такой неуступчивый и храбрый.

И уже вот-вот, казалось, должна была начаться драка, но тут к молодому человеку подошел его друг и оттащил его в сторону. Они прошли мимо генерала, и длинная рука этого скандалиста, как бы сучая от праздности, проболталась возле него.

— Я заказал! — пророкотал тот еще раз и, подойдя к одинокому саквояжу, стоявшему в стороне, подхватил его и двинулся дальше вместе со своим другом. Странно, что саквояж никто не охранял, словно он стоял у него дома. Может быть, подумал генерал, у него тут есть глаза, которые со стороны следили за саквояжем, и он в самом деле чувствует себя здесь хозяином.

Генерал пошел дальше. У выхода из подземелья стояла маленькая худенькая старушка с протянутой рукой. Она была настолько согнута, что и не видела проходящих людей. Ее сморщенная ладошка как бы смотрела на проходящих вместо нее.

Он остановился и, вытащив из бумажника десятку, осторожно сунул ее в ладошку старушки. Ладошка медленно сжалась, чтобы удержать деньги. Так и не подняв головы, старушка тихо поблагодарила его.

Выйдя наверх, генерал снова поднял голову и посмотрел на небо. Он снова удивился гигантским спиральям облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. Но солнце просвечивало сквозь них, и был теплый день ранней осени.

Он прошел мимо Центрального телеграфа и стал подниматься вверх по улице Горького. Вдруг он заметил, что по той стороне тротуара на двух высоких

стройных лошадях, гнедой и пегой, как ни в чем не бывало едут два милиционера. Это было что-то новое. Он на мгновение залюбовался сытыми красивыми лошадьми и пошел дальше. Он вспомнил дни своей военной молодости и, погрузившись в воспоминания, уже ничего не замечал.

После того как защитников одной из высот на Клухорском перевале, которыми командовал капитан Алексей Ефремович, немцы накрыли мощным минометным огнем, он был ранен и вскоре потерял сознание от потери крови.

Что было дальше, он не помнил. Мгновениями, приходи в себя, он смутно догадывался, что перекинут через седло лошади и лошадь, скорее всего не одна, все спускается, и спускается, и спускается куда-то вниз. Он иногда слышал голоса проводников, по-видимому сопровождавших лошадей, и тоскливо догадывался, что слышит не язык немцев, а язык явно кавказский, хотя, какой именно, он не понимал. И язык этот смутной горечью отдавался в его гаснущем сознании.

Пришел он в себя в немецком госпитале. Он ранен был в оба предплечья. К его удивлению, лечили аккуратно и вполне прилично кормили. Через месяц он был здоров.

Ему выдали красноармейскую одежду и куда-то повели. В одной из комнат госпиталя сидели два человека. Оба были русские. Один допрашивал. Другой записывал. Он назвал свое имя, село, где родился, национальность.

— Пойдешь в кавказскую освободительную армию? — спросил тот, что допрашивал. — Учти, немцы уже в твоём селе.

Это было враньем, но он об этом не знал.

— Я пленный, — ответил он ему, — готов работать. Но стрелять в своих не могу.

Тот окинул его презрительным взглядом, но, видимо, сразу понял, что уговаривать не стоит.

— Ишачить и без тебя есть кому, — сказал он брезгливо, — сдохнешь в лагере.

Так он очутился в лагере. Несколько тысяч голодных солдат. Жалкая ежедневная баланда. Иногда вдруг завозили в лагерь дохлых лошадей или баранов. Обезумевшие от голода люди кидались разрывать сырое гнилое мясо.

Каждый день полный грузовик трупов, а иногда и два раза в день, увозили из лагеря. Он ни разу не притронулся к гнилому мясу, жил на одной баланде и страшно ослаб в первую же неделю.

С первого же дня он думал о побеге, но не мог понять, как это сделать. Кругом проволочные заграждения, вышки, часовые. Ни на какие работы никуда не выводили никого. Только грузовик каждый день въезжал в лагерь, и немецкие солдаты вбрасывали в кузов тела умерших. Он и сейчас помнит стук мертвой головы о дно кузова.

Однажды, уже истощенный от голода, в полусне, в полубреду он сидел на земле, прислонившись к стенке барака, и, думая, что говорит про себя, оказывается, громко сказал по-абхазски:

— Будь проклята моя судьба!

— Ты абхазец? — вдруг услышал он над собой абхазскую речь.

Он открыл глаза и увидел в пяти шагах от себя стройного, как хлыст, немецкого офицера.

— Да, я абхазец, — сказал он, не веря своим ушам, — а ты тоже абхазец?

— Из каких ты мест? — спросил офицер, не отвечая на его вопрос.

— Я из Чегема, — ответил он.

Офицер больше ничего не сказал и ушел. По полному отсутствию какого-либо акцента он понял, что офицер в самом деле абхазец. Но каким образом он

мог стать немецким офицером? Наверное, подумал он, это сын какого-нибудь абхазского князя, бежавшего за границу после революции.

Через полчаса к нему подошел работник кухни и забрал его с собой. Здесь он таскал воду, рубил и пилил дрова, разжигал печь и делал все, что ему велели. Еды стало намного больше и дней через десять он почувствовал, что теперь в силах бежать.

И наконец, у него появился план побега. Единственный путь к побегу — канализационная канава. Минуя проволочное ограждение, она подходила к горной реке и вливалась в нее. Река день и ночь, напоминая о свободе, шумела метрах в ста от лагеря.

Обе вышки с часовыми с этой стороны лагеря были достаточно далеко. Но с той стороны колючей проволоки взад-вперед похаживал часовой с автоматом. Через канализационную канаву был переброшен деревянный мостик. Часовой ходил вдоль лагеря. Вверх через мостик примерно пятьдесят шагов. Потом вниз через мостик примерно пятьдесят шагов.

Ночью по канализационной канаве сравнительно легко можно было добраться до колючей проволоки, под которой канава выходит из лагеря. Самое главное было тут. Надо было так рассчитать, чтобы часовой в это время удалялся от моста вниз или поднимался от моста вверх. Чтобы он был спиной к тому месту, где будет стоять беглец.

Тут надо было нырнуть в кровавое дерьмо и вынырнуть за колючей проволокой. И сразу же после этого, не останавливаясь, быстро идти вперед и успеть спрятаться под мостом, переждать, пока часовой пройдет вверх или вниз и снова будет спиной к этой спасительной канаве. И тогда снова изо всех сил прорываться к реке. И теперь, даже если часовой случайно обнаружит его вблизи от реки, шансы на спасение есть. Убить человека в темноте с такого расстояния не так-то просто. Конечно, если он обна-



ружит его и не сумеет убить, будет погоня. Но и здесь остается шанс. Ночь и очень быстрая горная река.

Самое страшное, думал он, это, вынырнув из дерьма, от ужаса, от вони, от омерзения не закричать, не задохнуться, не поднять плеск. Вот самое главное.

Если удастся уйти от погони, он будет продвигаться в сторону Майкопа. Там, возле города, есть сельцо, где живет друг его отца, бывший чегаец. Звали его Ашот Саркисян. Он его хорошо помнил и еще совсем пацаном отвечал вместо отца на несколько писем, которые они от него получили в Чегеме. Письма писались по-русски, и он догадывался, что приходившие от дяди Ашота тоже писала одна из его дочерей, а не он сам. Он был уверен, что дядя Ашот спрячет его, а когда фронт приблизится, он постарается уйти к нашим.

Интересно, что тот офицер-абхазец, который велел взять его работать на кухню, больше никогда не подходил к нему и демонстративно не замечал его. И тогда у него в голове мелькнула и погасла мысль о каком-то государственном сходстве нашей страны с немецкой. Ему подумалось, что есть общая боязнь вызвать идеологические подозрения. Разумеется, он тогда верил в нашу единственную правоту, и эта мысль, на миг вспыхнув, тут же погасла.

Он доверял парню, который привел его на кухню и сам там работал. И он уговорил его бежать вместе с ним. Тот согласился. Он объяснил ему самое главное: нырнуть в дерьмо под проволоку и, вынырнув с той стороны, быстро скрыться под мостом.

— А ну, затаи дыхание, — сказал он ему.

Тот затаил. С минуту держал воздух в груди, потом выдохнул. Этого было вполне достаточно.

— Умри, но не закашляйся и не плесни, когда вынырнешь, — предупредил он его, — это главное. Остальное будешь делать, как я.

Выбрав безлунную ночь, они забрались в крайний отсек большой барачной уборной. Легко раскатали и осторожно, чтобы не шуметь, оторвали две доски над канализационной канавой.

Он первым, осторожно нащупав дно ногами, влез в кровавую гниль дизентерийного дерьма. Поднялся жуткий смрад.

— Давай, — шепнул он напарнику.

— Не могу, — прошептал тот, — меня сейчас вернет.

— Но мы же договорились? — яростно шепнул он снизу.

— Не могу, не могу, — отвечал тот дрожащим шепотом, — иди без меня... Прости...

Что было делать? Предаст? Не предаст? Или только вонь его остановила? Вылезать было уже поздно, да он и не хотел.

— Заложил доски, как было, — шепнул он своему неудачливому напарнику и, нагнув голову, вышел на открытую часть канализационной канавы.

Пригнувшись и совсем незаметный сверху, он шел и шел по этой канаве, все время держа в поле зрения смутный силуэт движущегося часового. Время от времени к горлу подступали рвотные спазмы, и тогда он поднимал, нет, запрокидывал голову, ловя как бы льющиеся прямо с неба струйки чистого воздуха. Он добрал до проволочной изгороди у выхода из концлагеря. Затаился и, когда часовой прошел мостик, попробовал ногой место, куда он должен был поднырнуть, чтобы оказаться по ту сторону концлагеря.

Проклятье! Как он не подумал об этом! Оказывается, и под потоком дерьма, невидимые сверху, проходили три ряда колючей проволоки, припаянных к бетонированному выходу.

По горло приседая в дерьме, когда часовой приближался к мостику, а потом, когда тот проходил

мостик, выпрямляясь, он изо всех сил, но и стараясь не шуметь, бил ботинком, давил на средний провод. Провод не поддавался.

Теперь он заметил то, что из лагеря не мог заметить. Часовой каждый раз, когда ему надо было сверху или снизу приближаться к мосту, замедлял шаги. Приближаться к канализационной канаве ему явно было неприятно. Но от этого и ждать, пока он пройдет, было невыносимо.

Около часу он долбил ботинком провод, но тот только слегка сгибался. И вдруг лопнул! Он сунул руку в дерьмо и, нащупав один конец лопнувшего провода, загнул его вдоль канавы. Пока он, низко нагнувшись, загибал его, рвотные спазмы усилились, и его вырвало. Слава Богу, часовой был далеко и ничего не услышал. Теперь рвотные спазмы ослабли. Он дотянулся до второго конца провода и, стараясь не уколоться о колючки, изо всех сил завернул его вдоль канализационной канавы и даже вонзил конец провода в землю, чтобы он не спружинил обратно. Этот конец провода особенно долго не поддавался.

Он перервал средний провод, потому что это давало самую широкую прореху между проводами. Он снова окунул руку в дерьмо и проверил расстояние между нижней и верхней проволокой. Расстояние было достаточным, чтобы пронырнуть между ними.

Главное, ныряя, не зацепиться о колючки нижнего или верхнего провода. Он решил, что, даже если и зацепится, нельзя ни на мгновение останавливаться, даже если придется рвать одежду вместе с мясом.

Он несколько раз мысленно проделал операцию и понял, что трудно будет с нижней частью тела. Верхняя часть тела, заранее нацеленная самой силой инерции, правильно проскользнет, но как быть с нижней частью тела?

Поднырнуть в воде и управлять телом в воде он умел, но как управлять телом в дерьме, кто умеет вообще в нем плавать? И он пришел, как ему казалось, к единственному правильному решению. Надо поднырнуть между проводами, нащупать на той стороне дно и, цепляясь за него пальцами, тащить все тело на эту сторону. А если крепко зацепится, не теряться, а рвать и рвать одежду, тем более что она была достаточно ветхая.

Когда часовой отошел шагов на десять вверх по мосту, он вдохнул как можно больше воздуха и, с яростью отбивая отвращение, нырнул. Все получилось так, как он рассчитывал. Он нащупал руками дно и, быстро перебирая руками, вытянул все тело. Брюки его все-таки зацепились за колючки нижнего провода, но он, как и решил заранее, изо всех сил дернулся и, изорвав брюки, вынырнул по ту сторону лагеря.

Скорей, скорей, пока часовой не повернул назад! Опасаясь, что дерьмо затечет в глаза, он боялся открыть их. Инстинктивно откинув голову, тряхнул ею и заставил себя открыть глаза. В глазах щипала какая-то мерзость, но видеть он мог. Он тихо ринулся дальше и остановился под мостом, дожидаясь, когда часовой пройдет над ним и пойдет вниз.

Глаза щипало, как в детстве от мыла. Но зная, какая мерзость щиплет ему глаза, он едва удерживался, чтобы, рискуя жизнью, не броситься дальше к реке, чтобы глаза, глаза — тело черт с ним! — окунуть, промыть в горной воде. Но он взял себя в руки и замер.

Мелко и часто дыша открытым ртом, так меньше воняло, он стоял под мостиком. Наконец раздалась шаги. И вдруг часовой остановился посреди мостика. Странно было чувствовать, что он совсем рядом над головой. Долгую минуту часовой стоял прямо над ним.

Что случилось? Неужели он что-то заподозрил? Если так, сейчас сойдет с мостика и глянет вниз. Снова нырять? Да и надолго ли нырнешь? Отчаяние охватило его. Столько перетерпеть и так глупо погибнуть! Что же он сделал не так? Почему часовой остановился?

И вдруг какая-то струйка задумчиво прожурчала с мостика. Он не сразу понял, что произошло, а когда понял, едва удержался от истерического смеха. Немецкий часовой не нашел другого места помочиться. Этого только беглецу не хватало здесь!

Наконец часовой, сделав свое дело, пошел дальше, и, когда он отошел шагов на десять, беглец стал быстро пробираться к победно гремящей реке, ликуя и ужасаясь, что в последний миг что-нибудь сорвется!

Но ничего не сорвалось! Он кинулся в ледяную гремящую свободу реки и, выплыв на середину, отдался течению. На ходу множество раз окуная голову и протирая глаза, пока не убедился, что они чисты.

Он плыл и плыл по течению, стараясь почаще выставлять вперед руки, стараясь не удариться о камни и вовремя оплыть валуны, кое-где торчавшие из воды. Течение несло его и несло, и, хотя тело его очугунело от холода, он хотел как можно дальше отплыть от лагеря.

И только после того, как он два раза сильно ударился о торчавшие из воды камни, и ни руки, ни тело уже почти не подчинялись ему, он решил выплывать на правый берег, боясь, что потом вообще уже не сможет выбраться из воды. По его расчетам, он уже отплыл километра четыре от лагеря.

Выйдя из воды, он заметил далекий огонек и, надеясь, что это крестьянская изба, пошел на него. Он так околел, что едва перебирал ногами. Чтобы согреться, заставил себя побежать. Ровная травянистая пойма кончилась, и он стал взбираться на

холм, откуда светил огонек. Ему еще полчаса пришлось добираться до огонька.

В самом деле, это была крестьянская изба. Он долго озирался, прислушивался и, наконец решив, что немцев, по крайней мере в избе, нет, постучал в дверь. Тишина. Еще раз осторожно постучал.

Он услышал легкие шаги. Кто-то подошел к дверям.

— Кто там? — спросила женщина.

— Свой, — сказал он как можно проще, стараясь не клацать зубами, — помогите.

— Голодный? — спросила женщина.

— Да, — сказал он, чувствуя, что это самый правильный ответ.

Долгое мгновение раздумчивой тишины. Наконец завозилась у дверей, запахнула.

— Проходи, — сказала она, пропуская его и выглядывая в темноту.

Убедившись, что больше никого нет, прикрыла дверь. Передняя марлевой занавеской отделялась от комнаты, куда она его ввела. На столе тускло светила керосиновая лампа.

Вдруг ни с того ни с сего мелькнула мысль о таинственной, победной силе света: как далеко светил ему этот маленький лепесток огня! И она, словно мгновенно угадав его мысль о свете, словно желая поддержать его в этой мысли, подтянула фитиль и стало совсем светло. Тут-то она и разглядела его как следует.

— Боже, что с тобой? — сказала она и осеклась, видимо, догадавшись, откуда он.

Он лихорадочно всматривался в ее глаза и прочел в них не страх перед ним, а сочувственный ужас. Он понял, что ей можно довериться.

— Ты бежал? — тихо спросила она у него. Лагерь был слишком близко, и она не могла не знать о существовании его.

— Да, — сказал он и, чтобы успокоить ее, добавил: — Но за мной нет погони.

— И ты оттуда приплыл?

— Да.

— Сейчас нагреею воду, и ты вымоешься в горячей воде!

— Спасибо...

Он не мог понять, что она имеет в виду — то ли от него воняет, то ли он замерз в реке и завшивел в лагере. Сказать, как он бежал из лагеря, почему-то сейчас было стыдно.

Быстро и легко мелькая в своем стареньком ситцевом платье, она развела огонь в печке, поставила на него большой казан воды, принесла из чулана лохань, мыло, мочалку. Все это она делала споро, время от времени озираясь на него и взбадривая его всем своим миловидным обликом. Ее легкость, ее подвижная полнота, ее мелькание обдавали его теплом и уютом.

Вдруг она села на стул и, скрестив руки на груди, взглянула на него.

— Одежду твою надо сжечь в огороде, — сказала она. — Нет, огонь могут увидеть, я ее закопаю.

— А где взять другую? — спросил он, поняв, что в доме нет, а может, и не было мужчины.

— Я тебе дам одежду мужа, — сказала она, — в начале войны пришло письмо, что он пропал без вести. Как ты думаешь, он жив?

— Вполне возможно, — сказал он, — при таком страшном отступлении трудно учесть, кто где.

— Может, как ты — в лагере? — вздохнула она.

— А может, и в партизаны ушел, — постарался приободрить ее более достойным предположением.

— Дай Бог, — вздохнула она и задумалась. — Мойся, — обрывая раздумья и быстро вставая, сказала она, — вот ведро, вот холодная вода, а вот горячая.

— Может, мне на огороде помыться, — сказал он,

стесняюсь, — дело в том, что я бежал через канализационную канаву.

Ему было стыдно признаться, как он бежал, но еще стыднее было бы, если б она, трогая его одежду, почувствовала бы к нему брезгливость.

— Беденький, — вздохнула она и, видимо, подумала о своем муже, — там совсем плохо?

— Ад, — сказал он, — трупы грузовики вывозят каждый день... Но может, в других лагерях лучше... Не знаю...

Она полезла в комод, вытащила оттуда трусы, майку, ковбойку, брюки, носки и положила все это на стул рядом с лоханью.

— А вот и тапки, — легко нагнулась и, достав их из-под кровати, подбросила ему, — раздевайся. Одежду — в переднюю. Я потом возьму.

Она вышла из дому. Он разделся и аккуратно сложил одежду в передней. Ботинки оставил возле лохани. Они были еще вполне крепкими, и он испытывал к ним благодарность за то, что они справились с колючей проволокой.

Он залез в лохань и вымылся. Что это было за блаженство! Горячая вода, мочалка, мыло! Потом вымыл ботинки, прислонил их к печке, чтобы они высохли, вытерся полотенцем и залез в свежую одежду. Пока он мылся, она забрала его красноармейскую одежду. Он теперь блаженно расселся на топчане. До этого он не садился вообще, боясь, что река все-таки недостаточно промыла его одежду.

— Можно? — крикнула она с улицы, словно он теперь здесь стал хозяином.

— Да, — ответил он радостно.

Она вошла и посмотрела на него сияющими глазами.

— Хорошо?

— Уф! Заново родился, — сказал он.

— А как тебя зовут? — спросила она, улыбаясь красивыми зубами, словно теперь, когда он смыл с



себя все чужеродное и стал самим собой, самое время узнать его имя.

— Алексей, — сказал он.

— А я Маша, — отозвалась она.

Он помог ей слить с лохани воду в помойное ведро и хотел вынести его, но она ему не дала.

— Теперь уж не вылезай, — сказала она многозначительно и, легко подхватив ведро, вынесла его из дому. Еле слышно за домом шлепнула вода. Они слили из лохани еще одно ведро, и она опять легко подхватила его и вынесла из дому.

Быстро собрала ужин. Она поставила на стол хлеб, сало, картошку, творог. И вдруг вынесла из чулана еще бутылку самогона, заткнутую кукурузной кочерыжкой. Это был пиршественный стол, и особенно его умилила пробка из кукурузной кочерыжки. Так в родном Чегеме затыкали бутылку с чачей. Она разлила самогон по стаканам. Ему полстакана, себе поменьше.

— За вашу встречу, — поднял он стакан, имея в виду мужа, и почему-то захотел его назвать по имени, но имени не знал. Он еще даже не успел договорить или запнуться, как она все угадала.

— С Юрой! — подсказала она быстро.

— Да, с Юрой, — повторил он, — я никогда не забуду, что ты для меня сделала. Буду жив — отблагодарю.

— Спасибо, — ответила она задумчиво, — это Бог так устроил. Именно сегодня моя мама решила пойти к сестре и остаться у нее ночевать. От всех этих дел, от войны она тронулась. Ничего не соображает. Если б ты при ней остался, она бы могла рассказать об этом соседям. Не со зла. Ничего не соображает.

Они выпили, и он стал закусывать, стараясь сдерживать аппетит.

— Я верю в Бога, — вдруг сказала она, — а ты?

— Нет, — ответил он, сожалея, что, вероятно,

огорчит ее этим, но уже чувствуя к ней такое доверие, что не мог ей соврать.

И сейчас через бездну лет генерал Алексей Ефремович, вспоминая об этом, подумал, что вопрос о Боге и теперь его не волнует, хотя стало модно ходить в церковь и читать религиозные книги.

Иногда в квартирах знакомых генералов он видел Библию и догадывался, что эта книга, скорее всего, их детей или внуков. Но у него не было никакого интереса к этим вопросам.

Однажды от нечего делать, находясь в гостях у одного своего приятеля, он взял эту книгу, надел очки и лениво листанул ее в середине. Надо сказать, что ему попалась не вполне удачная страница. Там говорилось о каком-то беспощадном сражении, где врагами, видимо и летописца этого рассказа, был убит мечом какой-то древний военачальник. На следующей странице, возвращаясь к этому сражению, летописец опять заговорил об этом военачальнике и как ни в чем не бывало заявил, что он был насмерть заколот копьём.

Алексей Ефремович очень удивился и даже протер платком очки и снова перечитал все сначала. Может, первое сообщение было предположительно, а он на это не обратил внимания? Но, нет. И о смерти военачальника от меча и о его же смерти от копья сообщалось твердо и определенно. И это на расстоянии полутора страниц!

— Бред! — хлопотнул Алексей Ефремович. Он захлопнул книгу, поставил ее на место и больше о ней не вспоминал. И увлечение сейчас многих людей церковью он считал недостойным взрослого человека кривляньем.

Однажды он летел за границу вместе с большой делегацией. Там было несколько военных, они летели на конференцию по разоружению. Хотя он уже был давно в отставке, но почему-то о нем вспомнили

и пригласили. Тогда отношение к церкви уже сильно смягчилось, но для военных, да еще генеральского ранга, религиозность могла выглядеть подозрительно.

Генерал, сидевший рядом с ним, перед взлетом самолета воровато покосился в сторону руководителя делегации и вдруг быстро и мелко перекрестился.

— Что, Виктор Андреевич, — съязвил Алексей Ефремович, — вы считаете, что Бог, заметив, что вы перекрестились, подставит ладонь под наш самолет, а то, что вы начальства боитесь больше Бога, он не заметит?

Сосед ничего не сказал, но надулся, как обиженный ребенок. Впрочем, ненадолго.

Он снова мысленно вернулся в далекий, как сон, дом этой юной и доброй женщины. После сытной еды и третьего стакана самогона ему вдруг страшно захотелось закурить. За время немецкого госпиталя и концлагеря он почти разучился курить, а тут вдруг мучительно захотелось.

— Что, закурить? — вдруг сказала она и, легко вскочив, стала рыться в комод.

„Вероятно, я, сам того не заметив, сделал какое-то движение“, — подумал он, поражаясь ее отгадчивости и не сводя с ее лица своего потрясенного взгляда.

Улыбаясь красивыми, ровными зубами, она победно принесла ему кисет табака и маленькую книжицу довоенной папиросной бумаги. Такими книжками их продавали тогда.

— Юрины запасы, — сказала она, положила на стол кисет и дала ему в руки книжицу папиросной бумаги. Быстро прошла в чулан и вернулась оттуда, щелкая на ходу коробком спичек. Она села напротив, ожидая, чтобы ему стало совсем хорошо. Он закурил, и ему стало хорошо, как никогда.

Они разговорились. Она сказала, что до оккупации работала учетчицей в колхозе. С мужем еще до войны прожила полгода, а потом его забрали в армию. И сейчас, кроме мамы и сестры, мужа которой убили на фронте, у нее никого из близких не осталось.

Он ей рассказал, как они сражались в горах, как трудно было с боеприпасами, а особенно с едой. Красноармейцы, рискуя жизнью, охотились за немецкими разведчиками, потому что у них всегда был при себе запас еды. Он поделился с ней своими планами идти в сторону Майкона, найти там друга отца, спрятаться у него, а когда приблизится фронт, попытаться перейти к нашим.

Но о чем бы они ни говорили, он чувствовал, как время от времени его как бы с головой накрывает волна нежности к этой милой женщине, и он с каким-то радостным искугом выныривал из этой волны, наслаждаясь подхватывающим его потоком и одновременно уверенный, что все-таки сильнее его и никогда, никогда не переступит границу. И казалось, этот поток дохлестнул и до нее, она притихла, сжалась, но потом вдруг вскочила:

— Ты устал. Тебе рано вставать. Надо ложиться.

Она постелила ему на топчане, взбила подушку. Потом убрала со стола, а он в это время сидел на стуле, не в силах отвести от нее глаз. Сейчас движения ее были резкими, и она ни разу на него не взглянула.

— Все! Спокойной ночи! — сказала она и, подойдя к столу, сильно дунула в лампу. Стало темно.

Быстрые шаги в сторону кровати. Шелест платья, которое она сбрасывала с себя, грохнул в душу. Шум откинутого одеяла, скрип кровати. Не помня себя, он разделся и лег на топчан.

И была долгая тишина. Он невольно вздохнул в тишине и вдруг услышал такой же тяжелый вздох в

темноте. „Нет-нет, — подумал он, — я не клятвопреступник“. И вдруг провалился в глубокий сон.

— Вставай! Вставай! Уже светло! — услышал он ее голос, и рука ее ласково потрепала его по волосам.

Он замер от невероятной сладости этого прикосновения, боясь спугнуть его. Но она быстро убрала руку. Он вскочил. Она стояла перед ним, улыбаясь красивыми, ровными зубами, все такая же свежая и молодая, все в том же ситцевом платье. Она отвернулась, и он быстро оделся.

— Вот Юрина бритва, помазок и зеркало! — кивнула она на стол.

Печка гудела. Она подала ему кружку с горячей водой. Окуная туда помазок, а потом намыливая его в мыльнице, он тщательно выбрился, вымыл лицо и вытерся полотенцем.

— Совсем мальчик, — всплеснула она руками, — кто поверит, что ты бывший командир. И это хорошо.

Он и так всегда выглядел моложе своих лет, а сейчас от худобы казался совсем юным.

— Я тебе дам Юрину колхозную книжку, — сказала она и, достав ее из комода, положила на стол: — Ты теперь Юрий Иванович Тихонов. Запомни.

— Кто же поверит, что я русский? — сказал он растерянно, однако, взяв книжку со стола, положил ее в карман.

— Главное, сейчас незаметно уйти из нашей деревни, — сказала она, накрывая на стол, — а немцы поверят. Для них главное — папир. А папир у тебя теперь есть. Ничего особенного. Сейчас многие ходят, ездят, меняют вещи на продукты.

Они сидели и завтракали. Его опять охватила лихорадка борьбы за жизнь. Надо как можно скорее и как можно дальше уйти из этих мест. Он плотно поел, выпил два стакана самогона. Тут она принесла

пиджак мужа и заставила его надеть. Он сунул в боковой карман кисет с табаком, спички, книжицу папиросной бумаги и перочинный ножик, который она откуда-то извлекла в последнюю минуту. Его уже ждал рюкзак с буханкой хлеба, шмотком сала и вареной картошкой в мундире.

— Не забудь, — хлопнула она по кармашку рюкзака, — здесь соль.

Он надел рюкзак и, разгоряченный самогоном, предстоящей опасной дорогой, а главное, невероятной добротой этой женщины, не знал, как быть, не знал, как ее покинуть.

Вдруг она рассмеялась, опять сверкнув ровными зубами, и сказала:

— Мальчик-ушастик едет в гости к дяде!

И он прильнул к ней всем телом, всей душой и обнял ее, и она сама прижалась к нему и сама поцеловала его прямо в губы. Голова у него закружилась, но в следующий миг она оттолкнула его от себя:

— Иди, иди!

— Спасибо, спасибо, — бормотал он, чувствуя, что не в силах сдержать слез.

— И тебе спасибо от Юры, — вдруг сказала она со странным лукавством и опять сверкнула улыбкой.

Никого не встретив на пути, он быстро вышел из села и пошел проселочной дорогой. Перед его глазами время от времени всплывало лицо Маши, ее улыбка, ее быстрые движения. Он старался идти как можно быстрее, чтобы как можно дальше уйти от этих мест, уйти от возможной погони. И он чувствовал и удивлялся, что сила восторга перед этой женщиной дает ему энергию все дальше и дальше отдаляться от нее.

За этот день он прошел два села, удивляясь обычности жизни в тылу немцев, радуясь, что его

никто не останавливает и ни о чем не спрашивает. Два раза по пути ему встретились немецкие грузовики с солдатами. Они промчались мимо. Ориентировочно он знал, что идет в сторону Майкопа, но сколько километров до него — не знал.

К вечеру он вошел в подсолнечное поле. Он прошел его и увидел ручей, протекавший между полем и лугом с прошлогодними стогами сена. Здесь он решил поужинать и заночевать. Снял рюкзак, прилег над ручьем и напился. Открыл рюкзак, отрезал большой кусок хлеба, несколько ломтей нежного сала, вынул несколько картофелин и стал есть, макая картошку в соль, которую от отсыпал на лист подсолнуха. Поев, он аккуратно сложил свои запасы в рюкзак. Когда совсем стемнело, он осторожно вышел на луг, подошел к стогу и быстро зарылся в него. За целый день он ни разу не присел и потому мгновенно уснул.

Утром пошел дальше. Теперь он стал гораздо смелее, чувствуя, что на него никто не обращает внимания, и уверенный, что теперь ушел от погони, если она была.

Проходя через какой-то поселок, он увидел впереди себя идущего навстречу человека. Лицо его показалось ему достаточно добрым, и он осмелился спросить у него:

— Как дойти до Майкопа?

— Дойти? — удивился тот. — До Майкопа можно доехать. Идите по этой дороге, перейдете через мост, увидите шоссе. А там на попутной машине доедете до Майкопа.

Он вышел к мосту через реку. Догадался, что это та же река, по которой он плыл, обрадовался и вдруг увидел немецкого часового, стоящего у моста. Поворачивать уже было поздно и опасно. Он понял, что и часовой его видит. И он, не останавливаясь, пошел к мосту, стараясь подавить волнение и делая вид, что не замечает часового. Часовой как будто не

обращал на него внимания, но, когда он уже выходил на мост, вдруг окликнул его. Он взглянул на часового. Тот жестом пригласил его к себе. Он вынул колхозную книжку и стал к нему подходить. Наверяд ли немец поймет, что он не русский. Может, он и читать по-русски не умеет, думал он.

— Папир, — сказал он, протягивая ему колхозную книжку.

Тот бросил небрежный взгляд на книжку, а потом строго спросил у него:

— Иуде?

Он не слышал этого слова и не понял его значения. Но понял, что тот что-то спрашивает и надо соглашаться с человеком, от которого зависит твоя судьба.

— Да-да, — закивал он ему и снова попытался обратить его внимание на свою колхозную книжку.

На этот раз часовой на книжку даже не взглянул. Но, как бы удивленно заинтересовавшись им, снова спросил:

— Иуде?

— Да-да, — снова закивал он ему и снова попытался обратить его внимание на колхозную книжку.

Но теперь немец не сводил с него глаз. Вдруг он сделал к нему шаг, переложил автомат в левую руку, а правой рукой стал щупать ему голову, затылок, шею и даже завернул ухо. Беглец растерялся и никак не мог понять, что ему надо.

— Иуде? — уже раздраженно спросил его немец.

— Да-да, — внятно повторил он, стараясь ему угодить.

Немец убрал руку, задумался, напрягся и вдруг выпалил по-русски:

— Еврей?

— Нет-нет! — крикнул он и добавил, тыкая себя в грудь: — Я абхаз!

— Кауказ? — переспросил немец.



— Да-да, — закивал беглец.

Немец успокоился и показал ему рукой, что он может идти, и сам, повернувшись спиной, отошел к краю моста.

Он быстро пошел по мосту, на ходу пряча книжку в карман. Ликуя, что избежал смертельной опасности, он старался понять действия немца. То, что немцы делают с евреями, он прекрасно знал. „Видимо, — думал он, — мой горбатый нос показался ему подозрительным, и он поэтому меня остановил. А потом, пощупав голову, понял, что она не соответствует тем признакам, по которым их учили отличать еврея от нееврея“. Он об этом что-то слышал, но никогда этому не верил. Но значит, есть какие-то признаки, если он несколько раз его переспрашивал?

...И только позже, став более зрелым человеком, он понял, что немца смутило не отсутствие каких-то признаков, которым их учили, а та подозрительная легкость, с которой он с ним соглашался. Потому-то он и напряг память и повторил это слово по-русски.

За мостом он вышел на шоссе, но, не рискуя идти по нему, свернул с него и теперь шел по лугам, перелескам, по кукурузным и подсолнечным полям, стараясь видеть шоссе или не слишком отдаляться от него.

Жизнь, которую он замечал вокруг себя, была достаточно мирная, но именно это внушало ему интуитивное опасение связываться с людьми или тем более проситься к кому-нибудь на ночлег. Казалось, немцы здесь не внушают никому опасения, и именно поэтому он старался ни с кем не связываться.

Через два дня у него кончились курева и еда. Он опять привык курить и теперь мучился от отсутствия курева.

Возле какого-то поселка ему навстречу шел человек средних лет и курил. И он не выдержал.

— Разрешите папироску? — попросил он у того, когда они поравнялись.

Тот бросил на него холодноватый взгляд, но вынул мятую пачку и протянул. Он вынул папиросу и попросил прикурить, хотя у него спички еще оставались. Возможно, он хотел, чтобы добрый поступок этого встречного проявился со всей полнотой, но получилось все наоборот. Человек, давая ему прикурить, вдруг насмешливо процедил сквозь зубы:

— Может, тебе еще и губы дать?

Внутренне извиваясь от стыда и оскорбления, он все-таки прикурил и пошел дальше. И он почему-то на всю жизнь возненавидел этого человека. В своих воспоминаниях он ненавидел только его, хотя другие пытались и убить, и предать его в этой долгой дороге, но ненавидел он только этого. Ничего в мире нет подлее хлеба, изгаженного презрением и протянутого голодному, зная, что голодный не откажется и от такого хлеба!

К вечеру, голодный, как зверь, он вышел на лесную полянку и увидел десяток ульев. Сердце у него забилось от радости. Он знал по чегемскому мальчишеству, как вскрывать ульи. Надо было найти сухой валежник, разжечь костер и, когда валежник раздымится, вскрыть улей и, отмахиваясь дымящейся головешкой от пчел, срезать соты. Нож был в кармане.

На всякий случай огляделся и вдруг увидел на опушке леса шалаш. Почти уверенный, что там никого нет, он все-таки тихо подошел к нему и заглянул внутрь. В шалаше на лежанке сидел старик с мягкой благообразной бородкой. Посреди лежанки валялись головешки старого костра. Возле старика стояло ведро, почти наполненное сотами. Из ведра торчала свежеструганая дощечка, вонзенная в соты.

— Здравствуйте, дедушка, — сказал он, остановившись у входа.

Старик поднял голову и только теперь заметил его.

— Здравствуй, мил-человек, — ответил старик, — издалека будешь?

— Иду в Майкоп, — неопределенно сказал он, стоя у входа.

— Садись, в ногах правды нет, — кивнул старик на лежанку, — до Майкопа ботинки износишь, пока дойдешь, хотя они у тебя крепкие...

Он сел. Теперь они сидели рядом в метре друг от друга.

— Дедушка, — сказал он, — меду не продадите?

— А сколько у тебя денег? — спросил старик, глянув на него ясными васильковыми глазами.

— Денег нет, — вздохнул он, — вот пиджак могу дать.

— Зачем мне твой пиджак, — сказал старик, глянув на пиджак, — мед у меня свой. Угощайся. — Он склонился к ведру, стоявшему у ног, туго провернул дощечкой и осторожно вытащил ею большой ломоть сочащийся сот. — Ешь! Не жалко!

— Спасибо, — сказал он и стал растерянно озираться, не зная, как взять этот сочащийся ломоть.

— А вон мисочка, — кивнул старик на конец лежанки, где стояла деревянная миска, прикрытая старым полотенцем.

Он скинул полотенце, дунул в миску и подставил старику. Старик шмякнул в нее ломоть сот и снова вонзил дощечку в содержимое ведра.

Миска приятно потяжелела. Он поставил ее на колени, вынул перочинный нож, раскрыл его и, отрезав кусок от сот, поймал его губами и стал есть, выжевывая и высасывая из него ароматный мед.

— А откуда ты будешь родом? — благостно спросил старик, глядя, как он ест.

— Я из Абхазии, — сказал он, причмокивая и блаженствуя.

— Так у меня же абхазские пчелы, — сказал старик, — я семь лет прожил в Абхазии. Знаешь такое место — Псху?

— Конечно, знаю! — вскрикнул он, радуясь, что старик жил у него на родине. — Но сам я там не бывал... Там сейчас немцы...

— Немцы, мил-человек, скоро везде будут...

Что-то кольнуло в груди беглеца, но съеденный мед успокоил: старик, что с него возьмешь.

— А здесь их много? — спросил он.

— Мне они не докладывают, — ответил старик и снова посмотрел на него васильковыми глазами. — Но как же ты из Абхазии здесь оказался?

Он хотел сказать ему правду, но что-то его удержало.

— Гостил у земляка, — сказал он, снова принимаясь за соты, — война меня здесь застала.

— Не успел уехать?

— Не успел.

— Долго же ты раздумывал, — сказал старик и добавил: — Дать еще меду?

— Спасибо, — сказал он и подставил миску.

Отмахнув ладонью пчел, кружащихся над ведром, старик снова провернул дощечку и, вынув ее, скovyрнул ему в миску кусок сот поменьше.

— Куда ж ты на ночь глядя пойдешь? — раздумчиво сказал старик. — Хочешь, идем ко мне домой... А то в шалаше оставайся. Только не сожги его.

Он подумал-подумал и решил все-таки оставаться в шалаше. Мало ли кто у старика дома и какие у него там соседи.

— Я, пожалуй, останусь, — сказал он, — спасибо за мед.

— Абхазская пчела — лучшая в мире, — проговорил старик и осторожно столкнул ногтем большого пальца правой руки пчелу, севшую ему на левую руку. Подняв на беглеца васильковые глаза, добавил: — У нее самый длинный хоботок... Самый

длинный... Может, и лучше остаться тебе здесь. У меня невестка злая. Ну, я пойду. Куда-то собачка ускакала. — Старик поднялся и, встав у входа в шалаш, начал громко кричать: — Рекс! Рекс! Рекс!

Тяжелое дыхание собаки он услышал раньше, чем увидел ее. Старик сделал шаг назад, как бы приглашая собаку, и он увидел огромную лохматую кавказскую овчарку. Она молча уставилась на него. Почувствовав смутную тревогу, он взглянул на старика и вдруг увидел профиль его, искаженный злобой. Похолодел. Выплюнул изо рта вощину и, не выпуская собаки из кругозора, мгновенно оглядел шалаш, ища чем защититься. Цапнул глазами из старого костра самую увесистую головешку.

— Взять, Рекс, — вавизгнул старик, — большевистского шпиона!

Но пока старик кричал, он схватил эту головешку. Он вырос в пастушеской деревне и знал, как обороняться от злых собак. Короткий рык, и собака, разинув огнедышащую пасть, прыгнула на него. Он сунул в разинутую пасть свою головешку и молниеносно, не давая времени прикусить ее, задвинул подальше в глотку. Собака рухнула на пол шалаша, вздымая тучу золы, завывала от боли и выскочила наружу.

Быть приглашенным под кров хозяина, съесть его хлеб-соль и быть им преданным — это было чудовищно для еще слишком чегемского сознания беглеца!

Бешеный, но и ясно владея своим бешенством, пригибаясь, чтобы не задеть крыши, он размахнулся головешкой и ударил старика по голове. Старик опрокинулся, кусок головешки отлетел. Оружие в руке его стало короче, но и острее.

В это мгновение собака снова прыгнула на него, и он снова успел просунуть ей до самой глотки свою укороченную, но и заостренную теперь головешку. Собака рухнула, взывала от боли и выскочила из ша-

лаша, оглашая окрестности громким лаем, время от времени выфыркивая кровь, капавшую у нее изо рта.

Однако она стояла у самого выхода из шалаша и не намерена была его выпускать. Мысль его работала быстро и четко. Перочинный нож! Нет! Слишком короткое лезвие!

И никак нельзя было затягивать борьбу с собакой. Она лаяла слишком громко и могла привлечь внимание людей, если они где-то близко живут. Он не знал этой местности.

Испугать ее было невозможно, и невозможно было убить ее этой укороченной головешкой. Он схватил еще одну головешку из потухшего костра. Она была не так увесиста, как первая, но подлиннее. Тряхнул ее в руке — прочная, выдержит.

Теперь он держал в левой руке ту первую головешку, а в правой зажал эту, которая была подлиннее. Он решил дать собаке прикусить укороченную головешку и бить ее в это время второй.

Собака продолжала громко лаять, стоя у входа в шалаш. Он видел, что она не сводит яростных глаз именно с той головешки, которая вонзалась ей в глотку. Однако прыгать на него она теперь не решалась.

Скорей, скорей! Она слишком громко лает! Если придут люди и увидят убитого старика, его ничто не спасет. Выдвинув левую руку с укороченной головешкой, он решительно пошел на собаку. Она не выдержала его решительности и попятилась, продолжал захлебываться лаем.

Он остановился, и собака снова приблизилась, не сводя глаз с укороченной головешки. Скорей! Скорей! Надо дать ей прикусить ее, а потом бить той, что зажата в правой руке. Бить по голове. На смерть.

Ярость собаки не утихала, но теперь она была гораздо осторожнее. Он опустил руки вдоль тела, что-

бы она стала посмелее. Иначе она не даст ему уйти и будет лаять в двух шагах от него.

Видя, что он не действует, собака, продолжая захлебываться лаем, приблизилась к нему с того боку, откуда торчал ненавистный обломок головешки. Он изо всех сил держал себя в руках, не делая никаких оборонительных движений, чтобы дать ей осмелеть, и в то же время не выпуская ее из виду. Спокойно! Спокойно! Спокойно! И нервы у собаки не выдержали.

Она прыгнула, и он успел выбросить вперед левую руку с укороченной головешкой. Собака вцепилась в нее зубами и, стараясь выдернуть ее из его руки, с такой силой потянула его, промотала, проволокла на несколько шагов, что он чуть не потерял равновесие и едва удержался на ногах.

Наконец изловчился и ударил ее головешкой, которую держал в правой руке. Но удар получился неточным, палка только скользнула по голове и отпружинила, выбив клочок шерсти на мощной холке собаки. Он опять изловчился и ударил по голове собаку, которая все еще пятилась и мотала его. По отзвуку головешки понял, что попал хорошо. Собака зарычала и рванулась ко второй головешке, почему-то не бросая ту, что зажала в зубах. Он бил и бил ее по голове, уже и после того как она свалилась.

Наконец она затихла, так и не выпустив из пасти первую головешку. Разгоряченный схваткой и удивленный, что собака почему-то после первых ударов не бросила зажатую в зубах деревяшку и не кинулась на него, он с трудом расшатал и вынул ее из пасти собаки. Теперь он понял, в чем дело. Она так глубоко прокусила ее, что не смогла вытащить зубы.

Он быстро вернулся в шалаш. Старик лежал с открытым ртом. Лицо его было залито кровью, и кровь по капле стекала с его бороденки. Вспомнив, с какой силой собака сжала клыками головешку, он пред-

ставил, что бы с ним было, если б она добралась до его глотки.

И он злорадно выгреб руками соты из ведра, шмякнул их в рюкзак, закрыл его, закинул за плечи и быстро пошел в сторону леса. Уже в лесу, часа через два, остынув от всего, что случилось; он почувствовал, что пиджак его разодрался на спине и под мышками. Он понял, что в таком виде опасно встречаться с людьми.

Он вынул из внутреннего кармана колхозную книжку, потом из внешнего кармана спички и перочинный ножик и положил все это в брюки. На всякий случай проверил второй внутренний карман, куда он ничего не клал, и вдруг нащупал в нем какую-то бумагу. Пальцами он понял, что это деньги. Это была красная тридцатка.

Он снова вспомнил Машу и теперь догадался, что это не случайно застрявшие в пиджаке мужа деньги, а она из деликатности, боясь, что он не возьмет их, сунула туда. И, мысленно сравнивая ее с этим стариком, он почувствовал необъяснимое таинство человеческой доброты и человеческой подлости. Он скинул пиджак, свернул его и спрятал в кустах, чтобы он не бросался в глаза.

...И только через много лет, вспоминая этого старика, он как будто сумел правильно его вычислить. Еще в детстве он знал, что в этом горном, малодоступном местечке Псху почему-то поселились русские люди. Это были, видимо, крестьяне, бежавшие от раскулачивания. И вероятно, некоторые, как этот старик, когда схлынула волна репрессий, вернулись к себе. Да, у старика были свои счета с Советской властью, однако натравливать на него собаку-убийцу он не должен был. Он не изменил своего отношения к этому старику, но понял, как ему казалось, более сложную природу этого внезапного предательства.



...До самой поздней ночи он шел и шел по лесной тропе, стараясь как можно дальше уйти от места убийства старика. Случайно услышав журчание ручья, он подошел к нему, напился и, сев возле него, выжевал несколько кусков сот. За большим дубом он на ощупь пригреб палые листья и, свернувшись калачиком, лег спать.

Утром позавтракал медом и напился воды. Он старался пить как можно больше, про запас, не зная, когда и где напьется снова. День обещал быть солнечным. И вчерашняя встреча со стариком и его собакой казалась невероятной.

Так он шел и шел сквозь зеленый лес, сквозь успокаивающее душу чириканье птиц, как вдруг услышал конский топот. И, не успев сообразить, как к этому отнестись, увидел из-за поворота тропы всадника, едущего навстречу, и всадник увидел его. Бежать было вроде поздновато и незачем. Ведь столько людей он встречал в пути, и никто у него ничего не спрашивал, кроме старика. Так ведь сам же он вошел в шалаш и подсел к нему.

Стараясь держаться непринужденно, он продолжал идти навстречу всаднику. Лицо у всадника было красное, и он покачивался в седле. Пьян, вдруг понял он и почувствовал тревогу. Было видно, что опьянение это было злым, сумрачным. Всадник не сводил с него опухших глаз.

— Стой, — крикнул всадник, когда он был от него в трех шагах.

Он остановился.

— Откуда? — спросил всадник.

— Был у родственников в гостях, — сказал он приготовленную фразу и назвал поселок, который он проходил, достаточно далекий отсюда.

Он знал, что колхозную книжку этому человеку нельзя показывать. Он сразу поймет, что она чужая. Он знал, что по-русски говорит с акцентом. И он почувствовал, что этот человек представляет какую-

то власть: защитного цвета рубашка, галифе, сапоги. Тяжелый живот нависал над поясом, стягивавшим рубашку.

— Знаю, — миролюбиво протянул всадник, — а куда идешь?

— В Майкоп, я там живу, — сказал он и вдруг по лицу всадника понял, что сказал не то.

— Лесом до Майкопа?! — презрительно хмыкнул всадник. — Документы!

— Да нет у меня документов, — придурясь голосом, ответил он, — я же был у родственников.

И вдруг всадник молча вытащил „вальтер“ и направил ему в голову. Холодея и чувствуя, что тот может выстрелить, хотя бы потому что пьяный, он взглянул в круглое отверстие ствола пистолета, и оно на его глазах расширилось, как отверстие ствола пушки.

— Вперед, партизанская сволочь! — крикнул всадник.

— Какой я партизан, — сказал он, не сводя глаз с огромного, невероятного отверстия ствола пистолета, направленного на него, — у меня нет никакого оружия.

— Вперед! — рывкнул всадник и стал наезжать на него конем. — Там разберемся.

И он повернулся и пошел впереди коня. „Что делать, что делать?“ — растерянно думал он, боясь, что теперь откроется и убийство старика. И вдруг он с ужасом догадался, что по колхозной книжке, там было название колхоза, легко установят, что он ее получил от Маши, и, если поймут, что он бежал из плена, ее расстреляют, как и его! Страх и растерянность мгновенно улетучились. Совершенно забыв о себе, он теперь думал только об одном: как избавиться от колхозной книжки:

Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить... —

вдруг запел вполголоса всадник и замолк. Беглец оглянулся. Пистолет в его руке был опущен, голова тяжело свесилась на грудь. Но в этот миг он поднял голову, взглянул на него мутными глазами, приободрил руку с пистолетом и пробормотал:

— Вперед! Вперед!

Он безропотно пошел дальше. Через некоторое время он на миг оглянулся и заметил, что у всадника снова свесилась голова. Так он несколько раз оглядывался, иногда встречаясь с ним глазами. Но он установил и некоторую закономерность. Там, где тропа была поглаже, меньше переплеталась корнями и была прямее, там всадник, клянуv носом, дольше ронял голову на грудь.

И он ждал. И вот появилась гладкая прямая поверхность тропы. Она проглядывалась метров на тридцать. Он решил попробовать. Лошадь ровней застучала копытами. Он оглянулся. Голова всадника тяжело упала на грудь. Он быстро вынул колхозную книжку и одним коротким, чтоб не испугнуть лошадь, но сильным махом забросил ее в кусты.

Прекрасно! Всадник ничего не заметил. И сразу полегчало. Он почувствовал, что к нему возвращается сила сопротивления. Бежать! Бежать! Бежать! Но как? Ему представилось два способа. Или бежать, когда всадник задремлет. Или опять же, когда всадник задремлет, подскочить и выбить у него из рук пистолет. Хотя бы успеть схватить руку с пистолетом. Дальше он с ним справится, он это знал. Второй способ — смертельная опасность, но короткая. „Если всадник успеет поднять голову — хана. Вгонит в меня всю обойму“, — думал он.

Первый способ как бы менее опасный, но опасность длительнее. Он, конечно, погонится за ним и будет стрелять в него. Но если несколько секунд выиграть, можно уйти. Попасть с лошади в бегущего человека не так-то просто, тем более между деревьями. Пустить за ним лошадь галопом он не смо-

жет, во всяком случае, не веаде. Лес достаточно заколючен.

Он выбрал побег. Он весь напрягся, стараясь спешкой не испортить дело. Ждал. Он выбирал место, где деревья растут погуще. Вот оно! Тихо оглянулся. Голова всадника болталась на груди, тяжелые веки прикрыты.

Впереди, вправо от тропы, толстое дерево. Надо как можно тише запрыгнуть за него, а там бежать и бежать, прикрываясь деревьями и зарослями колючих кустарников.

Он снова оглянулся. Бесшумно сошел с тропы и возле толстого дерева, до которого оставалось метра три, собрав силы, прыгнул в его сторону. Он допрыгнул до дерева, но под ногой сильно хрустнула ветка, которую он не заметил.

— Стой! — раздалось, как только хрустнула ветка, и сразу же выстрел, но он уже был за деревом.

Рванул напрямик от него, зная что еще несколько секунд оно его будет прикрывать, и дальше, дальше, прыгая за деревья и кусты и слыша за собой беспорядочные выстрелы, топот лошади и хруст раздираемых кустов.

Потом выстрелы смолкли, но топот был еще слышен, потом замолк топот, и опять раздались выстрелы. Видно, всадник перезарядил пистолет и теперь скорее всего стрелял от ярости, наугад. Он продолжал бежать, пока хватало дыхания. Поняв, что сейчас упадет, он остановился. Прислушиваясь и стараясь отдышаться. Ничего не было слышно.

Он пошел дальше, опасаясь, что это только передышка, потому что всадник, если он его принял за партизана, может организовать погоню. Он шел несколько часов и остановился у лесного ручья. Припал к воде и долго пил воду. Он почувствовал, что смертельно устал и ничего не хочет. Однако он заставил себя открыть рюкзак и, чтобы укрепить силы, съел, выжевал большой ломоть сот. Мед ему

был сейчас противен, но он заставил себя есть. Вдруг он подумал, что если его поймают, то по остаткам сот могут связать его с убийством старика. В глубине души ему и так было неприятно (но он отгонял от себя эту мысль), что вынужден есть мед убитого им старика. И теперь он решил забросить куда-нибудь подальше рюкзак с остатками сот.

Теперь он пошел прямо по руслу ручья, чтобы сбить погоню, если за ним придут с собаками. Через несколько километров, заметив заросли ежевики, он забросил туда рюкзак.

Он прошел по ручью еще несколько километров, а потом вышел из него и углубился в лес. Он шел всю ночь, время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Часов в десять утра внезапно перед ним открылась шоссейная дорога. Вдалеке, по ту сторону шоссе, были видны домики какой-то деревни.

У края шоссе он увидел одинокую фигуру женщины с мальчиком лет двенадцати. Теперь ему свои были страшнее, чем немцы, но он подошел к ним и молча стал рядом. Женщина с мальчиком явно ждали попутной машины. У ног женщины стояла корзина. Женщина была одета в старый плащ, на ногах солдатские ботинки. На вид ей было лет пятьдесят. У нее было суровое скуластое лицо. Она его окинула внимательным взглядом узких синих глаз. Он пытался угадать, кто она. На вид городская. Может быть, приезжала в деревню менять вещи на продукты? В корзине белели яйца. Лицо женщины не располагало к общению, но и молчать дальше было бы еще подозрительнее.

— Вы ждете машину на Майкоп? — спросил он.

— Да, — кивнула она и снова внимательно его оглядела.

— Мне тоже надо на Майкоп, — сказал он.

Она снова его внимательно оглядела и, помолчав, вдруг добавила:

— А у вас пропуск есть?  
— Нет. У меня есть тридцать рублей.  
— Нужен пропуск, — сказала она, — без пропуска не возьмут.

— А далеко до Майкопа? — спросил он.

— Километров сто, — сказала она.

Он так приуныл, что она это поняла по его лицу.

— Не тревожьтесь, — вдруг сказала она и с неожиданной, ободряющей улыбкой кивнула ему: — Что-нибудь придумаем!

— А что можно придумать? — дрогнувшим голосом спросил он, чувствуя пьянящий прилив благодарности.

— Отряхнитесь как следует, — вдруг скомандовала она, — я говорю по-немецки. У меня пропуск на два лица. На меня и на сына. Слушайте внимательно. Меня зовут Александра Сергеевна, а как вас?

— Алексей, — сказал он.

— Так вот, Алексей. Мы к бабушке ездили за продуктами. И это правда. Вы мой старший сын. У меня в самом деле есть старший сын, но он в армии. А младший жил у бабушки. И вдруг закапризничал и захотел с нами ехать домой. Вот я его и взяла. Когда немецкая машина остановится, вы смело вместе со мной подходите к кабине. А ты, Петя, стой здесь. Пусть они думают, что лишний человек — это ребенок.

Он был потрясен ее храбростью и хитроумием.

— А если не возьмут?

— Ничего, — бодро кивнула она, — подождем следующую машину. Кто-нибудь да возьмет. „Яйки“ они любят. Я достаточно хорошо говорю по-немецки.

Он отряхнулся и, насколько это было возможно, привел себя в порядок. Они несколько раз проголосовали, но машины промчались не останавливаясь. И вдруг грузовик затормозил.

— Яйки? — крикнул немец, высовываясь из кабины и оглядывая их.

— Я, я! — закивала Александра Сергеевна.

— Папир? — крикнул немец.

— Я! Я! — снова закивала она и, повернувшись к Алексею, приказала: — Берите корзину — и за мной!

Он подхватил увесистую корзину и с гулко бьющимся сердцем подошел вместе с ней к кабине. Немец, высунувшись из кабины, с любопытством заглянул в корзину. Белоснежные яйца лежали сверху. Она сунула ему какую-то бумагу, которую вынула из-под плаща, и стала что-то быстро и легко говорить по-немецки.

— Хия цвай! — ударил немец рукой по пропуску и, высунувшись из кабины, посмотрел на мальчика, одиноко стоявшего в стороне. Казалось, он хотел убедиться, что мальчик ему не примерещился.

Она ему стала что-то быстро и легко говорить по-немецки.

— Найн, найн, — замотал немец головой.

Она сделала шаг от машины, как бы отступаясь, и, взглянув на своего сына, стоявшего в стороне, грустно и укоризненно покачала головой. Немец внимательно следил за ней. Потом немец снова посмотрел в корзину и стал что-то объяснять шоферу. Мелькало знакомое слово: киндер, киндер. Он опять высунулся из кабины и снова посмотрел на мальчика, как бы оценивая его размер. Второй немец что-то сказал ему.

— Драйсиг! — крикнул первый и, высунув руку, ткнул ее в сторону корзины.

— Я! Я! — закивала женщина и снова подошла к кабине, быстро приказав беглецу: — Приподымите корзину!

Он приподнял корзину и приблизил ее к открытому окну кабины. Немец стал выбирать яйца и куда-то перекладывать себе под ноги. Женщина

продолжала ему что-то говорить по-немецки и, видно, сказала что-то смешное, он расхохотался. Отхохотавшись, подел палец, вспоминая, сколько насчитал лиц, и снова стал выбирать, громко считая. Набрал.

Алексей поставил корзину на землю, нетерпеливо ожидая приглашения в кузов и боясь, что немцы, забрав яйца, просто уедут.

— Прима дойч, мадам! — улыбнулся немец и кивком пригласил их в кузов.

Он взлетел первым и, низко наклонившись, осторожно, чтобы не разбить оставшиеся яйца, принял корзину и поставил ее на дно кузова. Помог подняться матери и сыну.

Они уселись на деревянную скамейку. Машина рванулась, она летела, взлетая и падая на выбоинах шоссе.

— А теперь, если хотите, расскажите, — крикнула женщина сквозь гул мотора, — кто вы!

Он чувствовал такой порыв благодарности, что не мог от нее ничего скрыть. Он рассказал ей, что бежал из концлагеря и даже, вдаваясь в подробности, пояснил, как именно бежал. От бессонной ночи, от радости освобождения он был как пьяный. Мальчик слушал его, восторженно сопереживая, она — внимательно и спокойно, не забывая придерживать корзину, когда кузов взлетал и падал.

— Я что-то вроде этого предполагала! — крикнула она ему.

Он объяснил ей, что ему нужно сельцо под Майкопом, а не самый Майкоп.

— Знаю, — кивнула она, — это близко от Майкопа. Но мы должны слезть вместе, а когда машина уйдет, я вам покажу дорогу.

Они въехали в город. Женщина постучала в стенку кабины. Грузовик остановился. Он спрыгнул с кузова. Женщина подала ему корзину. Он помог ей сойти, а мальчик спрыгнул сам.



— Прима дойч, видерзеен! — крикнул немец, взглянув из кабины, и машина рванулась дальше.

Женщина стала четко и подробно объяснять ему, куда и как выйти из города, и ему стало особенно ясно, что она учительница. И каким обманчивым оказалось ее суровое скуластое лицо. И какая она оказалась умная и храбрая!

Он, наклонившись, поцеловал своего невольного брата и хотел пожать ей руку, но она сама поцеловала его и сказала:

— Храни вас Господь!

Чувствуя необычайную бодрость, он быстро прошел по улицам города и через час уже был в селе, где жил друг его отца. Но как его найти, и живет ли он все еще здесь? За время его побега мужчины стали вызывать его недоверие, и потому он у встречных ничего не спрашивал. Заметив женщину, белившую малярной кистью свой домик, похожий на украинскую хату, он подошел к ней. Вокруг никого не было.

— Вы не скажите, где здесь живет Ашот Саркисян?

Женщина была так увлечена побелкой своего домика, что не заметила, как он подошел. Теперь она вздрогнула и оглянулась на него. Это была юная женщина кавказского типа.

— А зачем он вам? — спросила она подозрительно.

— Дело есть, — ответил он неопределенно.

Она опять окинула его подозрительным взглядом и сказала:

— Не знаю такого.

Сунув кисть в ведро с раствором извести, снова стала красить стену, показывая, что разговор окончен.

По акценту он понял, что женщина армянка. В детстве, играл с армянскими детьми, он немного

научился говорить по-армянски. И сейчас напряг память и собрал знакомые слова.

— Он друг моего отца. Чегем, — сказал он на ломаном армянском языке.

Женщина бросила кисть в ведро и вдруг обернулась к нему, исполненная доброжелательного любопытства. Его несколько слов на ломаном армянском языке пробили в ней словоохотливость на русском.

— Твой отец дружил с моим папой? Я же родилась в Чегеме, но ничего не помню! Пойдешь по этой улице, потом завернешь направо, и третий дом будет домом моего папы! Иди, иди, я тоже приду туда! Но как ты сюда попал?

— Потом-потом, — бросил он ей и пошел по указанной дороге.

— Может, провести тебя? — крикнула она ему.

— Сам найду! — махнул он ей рукой и быстро пошел, поражаясь такому невероятному везению. Надо же, на дочь напоролся!

Дверь в дом была распахнута, и оттуда доносились громкие голоса на армянском языке, время от времени перебиваемые щелкающими звуками почти пистолетной силы.

Он поднялся в дом и вошел в комнату, где за маленьким столиком хозяин дома и какой-то человек играли в нарды. Еще четверо мужчин сидели вокруг и громко обсуждали игру. Куча денег лежала рядом с игровой доской. На него никто не обратил внимания.

Он не хотел при чужих людях обращаться к хозяину и не знал, как быть. Через несколько минут хозяин поднял глаза и бросил на него стремительный взгляд: все те же яркие черные глаза под густыми черными бровями, но голова поседела.

К его удивлению, хозяин ему ничего не сказал и, снова опустив глаза, бросил щелбнувшие кости. Громко защелкали передвигаемые фишки. От волне-

ния он забыл, что хозяин его видел совсем пацаном и теперь, конечно, никак не мог его узнать. Но хозяин и не удивился, что в комнате оказался чужой человек.

Вошла в комнату его жена, которую он тоже сразу узнал, хотя и она поседела, как ее муж. Она посмотрела на него и хотела что-то сказать, но тут муж ее поднял голову над игральной доской и раздраженно бросил ей по-армянски:

— Дай этому хлеба!

И снова метнул кости. Тут игроки, сидевшие вокруг столика, разом обернулись в сторону гостя, усато удивляясь. Но удивление оказалось не столь сильным, чтоб пересилить интерес к игре, и они покорно опустили глаза на игральную доску. Женщина плавно, чтобы не расплескать, принесла ему кружку айрана и кусок душистого свежего хлеба. Он с огромным удовольствием съел хлеб, запивая его вкусным, полузабытым айраном. То, что он ел и пил, делало его пребывание в доме более естественным, и это придавало ему дополнительный аппетит.

Но вот он съел хлеб, выпил весь айран, поставил кружку на буфет, а на него никто не обращал внимания. И теперь, наоборот, оттого что он все съел и не уходит, стало еще более неловко.

Прошло еще минут пятнадцать — двадцать яростной игры. У хозяина сменился партнер, а на него никто не обращал внимания. Но когда снова вошла хозяйка, хозяин, снова подняв глаза, бросил на него беглый взгляд и крикнул жене по-армянски:

— Спроси у этого, что ему еще надо!

И снова метнул кости. Остальные мужчины с величайшим удивлением к тому, что он еще не ушел, разом взглянули на него, но и тут не смогли пересилить интерес к игре и снова покорно опустили глаза.

— Что-нибудь еще надо? — тихо спросила женщина, глядя на него своими лучистыми не по возрасту глазами.

— Я из Чегема. Я сын Ефрема, — сказал он ей.

— Ты сын Ефрема? — переспросила она и теперь залучилась не только глазами, но и всем лицом.

— Да, — сказал он.

И вдруг эта тихая, покорная женщина гневно преобразилась. Она заговорила с мужем на армянском языке, язвительно укоряя его тем, что тут стоит несчастный сын Ефрема, а он черт его знает чем занимается весь день. И опять все остальные игроки с величайшим удивлением посмотрели на него, но и как бы с уверенностью, что все это уже было, а игре никто не может помешать.

— Ты сын Ефрема?! — по-русски закричал хозяин и уставился на него своими сверкающими глазами.

— Да, — сказал он, даже как бы пытаюсь пригасить взрывной возглас хозяина.

Хозяин, с размаху хлопнув крышкой игровой доски, закрыл ее. Он яростно обратился ко всем остальным игрокам на армянском языке. Он обратился к ним так, как будто давно просил их закончить с игрой и убраться отсюда, а они никак не убирались. И вот терпение его лопнуло. Никаких возражений он не слушал, небрежно расшвыривая деньги играющим, и, покрывая недовольный гвалт, кричал и показывал на двери. Наконец они все ушли, как бы пораженные фантастическим обстоятельством, которое могло оказаться интереснее игры в нарды.

Хозяин подошел к нему и, сверкая на него глазами из-под черных мохнатых бровей, спросил:

— Так ты сын Ефрема?

— Да, — повторил он.

— А как зовут его жену? — вдруг спросил хозяин.

— Маму? — растерялся он. — Шазина.

— Правильно! А ты помнишь, где мой дом стоял?

— Конечно, — сказал он.

— Если от моего дома, — сердито закричал хозяин и резанул ладонью воздух, — прямо вниз смотреть, кто там живет?

— Охотник Тендел.

— Правильно! — заревел хозяин. — Дай я тебя расцелую, мой мальчик! Сколько времени прошло! — Он облапил его и смачно поцеловал в губы. Вдруг оттолкнул, продолжая придерживать за плечи: — А как ты попал сюда?

— Бежал из плена.

— Молодец! — закричал хозяин. — Будешь жить у меня до прихода наших! Ничего не бойся — здесь все свои! В нарды играешь? — неожиданно спросил он, видимо, почувствовав свой неутоленный азарт.

— Да, — сказал Алексей.

— А деньги есть?

— Есть тридцатка!

— Садись, сыграем! — сказал Ашот, усаживаясь сам и усаживая его, — положи деньги сюда!

Алексей достал Машину тридцатку и выложил ее на столик.

Хозяин тоже выложил тридцатку на столик. С грохотом распахнул игральную доску и стал раскладывать фишки.

Он тоже разложил фишки по местам.

— Деньги мне не нужны, — пояснил хозяин, — но без денег неинтересно играть.

С этим он бросил кости. Хозяин, конечно, играл намного лучше, и, выиграв у гостя тридцатку, он его окончательно усыновил.

Так он стал жить в доме дяди Ашота. Вскоре он познакомился с местными людьми. Некоторые из них были связаны с партизанами. И он принимал участие в нескольких партизанских вылазках, которые проводили далеко от этого села. И он нередко удивлял своих товарищей хладнокровием, храбростью и находчивостью.

— Что я, — говаривал он, когда товарищи хвалили его за находчивость, и рассказывал, как учительница, спасая его, запутала немцев.

Дяде Ашоту, чтобы не волновать его, он ничего не говорил о своих связях с партизанами. Но тот, конечно, сам догадался. После первой операции, когда он отсутствовал несколько дней, дядя Ашот встретил его с мрачной укоризной.

— Я обещал сохранить тебя для отца, — прогудел он ему сердито, — а ты чем занимаешься?

— Да нет, дядя Ашот, — улыбнулся он ему, — мы просто загуляли с ребятами.

Хозяин махнул рукой и больше ни о чем его не спрашивал.

Через два месяца наши взяли Майкоп, он влился в армию, до самого конца войны был на фронте и быстро продвигался по службе. Но еще в Майкопе его сразу вызвали в особый отдел.

В кабинете сидел майор. Он поздоровался с ним и показал на стул.

— Мы знаем, что вы хорошо партизанили в этом районе, — сказал он ему, — здесь оставались наши люди. Но как вы сюда попали? Расскажите, только всю правду.

И он ему все рассказал, как было. Майор выслушал его с сумрачным вниманием.

— Вот вы говорили, что, когда вас везли на лошади, — после окончания рассказа спросил майор, — вы слышали кавказскую речь проводников. А на каком именно языке они говорили?

— Не знаю, — сказал он.

— Но вы же сам кавказец, — настаивал майор и вдруг язвительно добавил: — Что, своих прикрываете?

Волна бешенства подхватила его. Он вскочил. Но и сквозь багровое пламя ярости он все-таки помнил нешуточность учреждения, в котором находился.

Майор на миг растерялся и, в свою очередь, почувствовал нешуточные возможности такой ярости даже в этом нешуточном учреждении.

— Не горячись, сядь, сядь, — сказал он и уже примирительно: — Вот сумасшедший фронтовик...

И он сел.

— Я могу различить те языки, которые я слышал с детства, — сказал он, — а северокавказские языки я никогда не слышал и не могу различить. Да и какая разница? Предательство от нации не зависит.

Майор успокоился.

— Нам лучше знать, от чего это зависит, — уточнил он, — ничего, доберемся и до них. Но чем вы докажете, что вы бежали из концлагеря?

— Если эти места уже освобождены, — сказал он, сдерживая раздражение, — пусть ваш человек сунет руку в дерьмо, там, где канализация выходит из лагеря, и он увидит, что средняя проволока оборвана. Может и поднырнуть для проверки...

— Ладно-ладно, — остановил его майор.

— Да и пленные красноармейцы, если лагерь освобожден, — продолжал он, — могут вспомнить меня...

— С пленными красноармейцами еще разбираться и разбираться, — сказал майор многозначительно. — Вы свободны. Идите.

Он все рассказал майору, но, даже не задумываясь, каким-то инстинктом самосохранения пропустил историю с немецким офицером-абхазцем. Позже, уже после войны, вспоминая встречу с майором, он удивлялся своей не обдуманной заранее прозорливости. Эта история могла сломать ему всю карьеру. Тут были возможны два варианта обвинения.

Или они стали бы добиваться от него, какую подлую услугу он оказал немецкому офицеру, что тот его отправил отъедаться на кухню. Или еще хуже: офицер оказался его родственником. И тогда при-

шлось бы плохо не только ему, но, конечно, перетряхнули бы и родственников. Представить, что офицер-абхазец, услышав от пленного доходяги родной язык, на миг поддался голосу крови и пожалел его, они не могли и не хотели.

Генерал никогда не был особым сталинистом, но обаяние неимоверной власти вождя он чувствовал долго. И после войны, когда он ясно осознавал, что то или иное серьезное дело в стране делается неправильно, он в мечтах вдруг оказывался в кабинете Сталина и рассказывал ему об ошибках, допущенных его соратниками.

Сталин его внимательно выслушивал и, пользуясь своей фантастической властью, поднимал трубку и приказывал исправить ошибку. В эти мгновения генерал испытывал великое человеческое счастье. Что может быть прекраснее беспредельной власти, которая неустанно направлена на исправление ошибок. Никакой волокиты. О сладость грозного авторитета!

Приказ. Закон. Приказ, основанный на законе, и закон, исполняющийся с точностью приказа.

С кровью, с кровью годами приходилось выхаркивать преклонение перед великим авторитетом вождя. И позже, уже в отставке, он читал и доставал книги, иногда полузапретные или совсем запретные, чтобы знать правду о времени и об этом человеке. Да, вождь действительно оказался не тот. И он теперь с запоздалым стыдом вспоминал о своих мысленных встречах со Сталиным. И единственное смягчающее обстоятельство этих мечтаний он находил в том, что никогда его мысленные разговоры со Сталиным об исправлении ошибок не увенчивались наградой лично для него. Это он точно помнил. Впрочем, наградой было видеть в действии грандиозную власть, поворачивающую штурвал в нужном направлении.



Да, он с кровью вырвал все это, но и не мог не чувствовать зияющую пустоту там, где была вера.

Генерал вдруг вспомнил об одной застольной встрече с любимым полководцем. Это было еще на фронте. Он весь вечер любовался этим подвижным высоким остроумным человеком, чьи операции он считал образцом большого полководческого таланта. У него один глаз был стеклянный. И кто-то за столом шепнул Алексею Ефремовичу:

— Выбили во время допроса.

Он знал, что прославленный полководец в начале войны был в лагере. Тогда по рекомендации Жукова Сталин приказал освободить нескольких оклеветанных военачальников и сразу же доверил им достаточно ответственные должности. Его любимый полководец быстро продвинулся вверх, благодаря своему большому военному таланту.

И сейчас, через сорок с лишним лет, вспоминая об этой встрече, вспоминал свой тихий восторг, когда ему повезло оказаться за одним столом с этим блестящим человеком, он с удивлением подумал, что ему тогда не пришло в голову возмутиться зверством следователя.

Наоборот, он с умилением подумал, как хорошо получилось, что Жуков вспомнил о них, как хорошо получилось, что Сталин поверил Жукову!

...Да потому и поверил, что сам был дирижером всех этих репрессий! Как давно это было и как он тогда был наивен! Да разве он один! В чем тайна их наивной веры? Ключ от истории в руках Сталина и его сподвижников. И какие бы ошибки (ошибки!) они ни допускали, этот ключ в их руках и ни в какие другие руки перейти не может, и, значит, надо верить и честно служить. Да, ключ от истории... Когда связка ключей от всех тюрем в твоих руках, легко один из них выдать за ключ от исто-

рии. И сколько терзаний надо было вынести, чтобы убедиться — никогда никакого ключа от истории не было в их руках. Да и вообще нет никакого ключа от истории! Но что же есть?!

Генерал стоял в шумной, галдящей толпе торговцев на тротуаре Пушкинской площади. Чего только здесь ни продавали!

Какой-то мужчина в тубетейке продавал бананы с таким гордым видом, словно сам их вырастил в оазисах Каракумов. Другой мужчина, хоть и без тубетейки, но с еще более гордым видом продавал ананасы. Московский юнец с ныркими глазами предлагал импортные напитки, и было совершенно непонятно, как они попали к нему в руки: его истерзанный наряд, словно он долго пролезал в форточку, слишком не соответствовал нарядным бутылкам. Какой-то мужчина, отнюдь не рыбацкой внешности, продавал кроваво-грязных карпов, неизвестно где, а главное, кем выловленных. Разбитная бабенка, с руками, сунутыми в валенки, неожиданно дотянулась до генерала и, похлопав ими у самого его уха, как бы уверенная в его глуховатости, весело крикнула:

— Бери, дед! Зимой благодарить будешь!

Генерал отстранился от валенок и огляделся. Самовары, матрешки, парфюмерия, порнография, ордена, консервы, живые раки, от гвалта не знающие, куда пятиться, горка изюма, похожая на усохший козий помет, орехи, арахис, цветы, сверкающая аппаратура неведомого назначения и водка, водка, водка! Еще недавно ее невозможно было достать, а теперь всюду появилась. И тут же крикливый фотограф, готовый снять вас рядом с наляпантыми на фанере фигурами новых вождей.

Алексей Ефремович не осуждал и не одобрял все это, он хотел понять, но не мог. Чужая земля, чужие люди, чужая эпоха! Тоска и одиночество!

И вдруг из этой толпы выскользнула девушка с сияющим лицом в сопровождении какого-то мальчика. Она подбежала к нему, протянула какую-то белую брошюрку и, глядя ему прямо в глаза, сказала:

— Мы вас любим!

Генерал вздрогнул, смутился, растерялся. Он и сейчас не знал, что именно это ему и надо было, но это ударило в сердце! Он глядел на ослепительно сияющее, улыбающееся лицо девушки и рядом сумрачное лицо мальчика и неожиданно подумал: безнадёжно влюблен! Она уже во всем цветенье девичьей силы и красоты, а он еще такой мальчик, хотя на вид им обоим было лет по семнадцать.

Алексей Ефремович нерешительно потянулся за брошюрой и вдруг заметил на ее обложке большой крест. Первой его мыслью было, что это медицинская брошюра (белизна и крест), а девушка, каким-то чудесным образом угадав, что у него больное сердце, пытается помочь ему.

— Мы вас любим! — все еще звенело, серебрилось в воздухе, и он, глядя на ее радостное лицо, взял брошюру.

Написанное на обложке он мог прочесть и без очков. „БЛАГАЯ ВЕСТЬ, — прочел он над крестом, а под крестом: — ИИСУС НАШ ГОСПОДЬ. ЕГО ПРИШЕСТВИЕ БЛИЗКО“.

Поняв, что это религиозная брошюра, он вдруг почувствовал, что никак не может огорчить эту девушку и сказать ей, что эти вопросы его не интересуют.

— Спасибо, — проговорил он, растерянно глядя на девушку еще и потому, что вокруг шла бойкая торговля, наталкивающая на мысль, что за брошюру надо заплатить, и в то же время ему показалось, что он обидит ее, предлагая деньги. И потому он ждал, не скажет ли она сама об этом. Но миг! И де-

вущка с сопровождавшим ее мальчиком исчезли в толпе.

Генерал осторожно сунул брошюру в карман и стал спускаться по Малой Бронной. Он шел к дому генерала Нефедова, расположенному неподалеку в одном из тихих переулков.

Он вдруг почувствовал необыкновенную бодрость от смущающего, переливающегося в душе голоса девушки: „Мы вас любим!“

Кто „мы?“ Он возвратился к своей первоначальной догадке о том, что она протянула ему медицинскую брошюру, зная о его больном сердце. Он почувствовал, что в этой догадке есть какая-то правда, хотя и не в телесном смысле.

Может, она догадалась о тех мыслях, которые его мучили в последние месяцы. Но как? Он сейчас точно знал, что она прямо так, налево и направо, не раздает брошюры, а явно выбирает людей, которые, как ей кажется, больше всего в них нуждаются. Пусть все это сказки, думал генерал о содержании брошюры, но ведь не сказка ее сияющее, струящееся добротой лицо, ее неожиданные слова, так взволновавшие его.

Навстречу ему по пустынному тротуару шли двое мужчин средних лет. Они шли быстрыми мелкими шагами, как бы целенаправленно приближались к какой-то быстрой мелкой радости. Скорее всего — к выпивке. Что-то в их оживленном облике внушило ему смутную тревогу.

— А я ему говорю, — громко и победно сказал один из мужчин, рубя ладонью воздух, — вот тебе, пидар! Вот тебе, гондон! Действуй!

И проскочили мимо. Генерал остановился, задохнувшись бешенством, даже не столько от пошлости сказанного, сколько от бессмыслицы. Да разве бывают такие снабженцы?!

И вдруг перед его глазами возник тот, который когда-то ему сказал: „Может, тебе еще и губы

дать“, — но он возник, почему-то слившись с обликом этого хама. И генерал с пронзительной болью и обидой на себя подумал: „Почему, почему я ему не дал в морду?!“ Но в следующий миг он взял себя в руки, расценил двух склеившихся хамов и приказал себе: „Не маразмизировать! Тогда были такие обстоятельства, я не мог тому ответить“.

Отдышавшись, он пошел дальше и, успокаиваясь, решил, что это какой-то деловой сленг и, вероятно, означает совсем другое. Но все равно пошло и глупо. Что за безумный мир, подумал он, где одновременно живут такая девушка и такой дурак!

Он увидел парикмахерскую и вспомнил, что давно собирался постричься. Выкурив сигарету у входа, он вошел внутрь. Он хотел снять плащ, но гардеробная оказалась закрытой. Он вошел в вестибюль парикмахерской, занял очередь и сел на стул.

Среди ожидающих сидели два мальчика, скорее всего, первоклашки. Рядом с ними сидели две женщины, по-видимому матери этих пацанов. Один из них был плотненький, а другой — худенький и глазастый. Худенький, наклоняясь к уху плотненького, что-то нашептывал ему, и они вдруг оба начинали задыхаться от сдержанного хохота. Так как это длилось довольно долго, генерал сначала удивился неутомимости их веселья, потом стал раздражаться, а потом вдруг все это увидел в каком-то новом свете.

„Это дети новой жизни, — вдруг подумал он, — совсем другой эпохи. Лет через десять они вступят в жизнь, и, вероятно, к тому времени все уладится. И хорошо, что сегодняшние дети так беззаботно смеются. Было бы хуже, если бы они разделяли наши горести и обиды, это означало бы, что они их понесут дальше в новую жизнь“. И теперь смех детей ему показался предвестником их будущей веселой разумной жизни.

„Пшада, Пшада“, — вдруг подумал генерал, чувствуя, что это слово близко к тому, что должно слу-

читься, когда эти дети вырастут, но так и не уловил точный смысл слова.

Тут он вспомнил о брошюре, лежавшей у него в кармане плаща, осторожно, чтобы не измять, вынул ее, достал очки, надел и, раскрыв наугад, начал читать. Так он уже давно привык проверять всякую новую книгу: пойдет или не пойдет. Он попал на главу пятнадцатую Евангелия от Иоанна.

„Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают...“

Генерал медленно и внимательно прочел главу, поражаясь знакомым, деревенским понятиям: виноградарь, сухие ветви, костер. Все это видел он в детстве у себя в Чегеме, и отец его был виноградарь. Но больше всего его поразила музыка слов, важная и грозная доброта слов, льющих через край. И хотя в конце главы, где говорилось о грехе, он не все понял, он понял, что прочитанное прекрасно. Он сложил брошюру и теперь положил ее во внутренний карман пиджака. „Это надо читать дома, в тиши, в спокойствии“, — подумал он, пряча очки.

Впечатление от прочитанного было похоже на впечатление от классической музыки, когда он впервые услышал ее уже взрослым человеком. И тогда она ему показалась прекрасной, но доза этого прекрасного для него была слишком большой, и он

понял тогда, что к этому надо привыкать постепенно.

Вдруг в парикмахерскую ворвались двое юношей и две совсем юные девушки довольно вульгарного вида: обе в коротеньких платицах, обе коротконогие и мордастые. Хохоча, они бросились на стулья. Одна из толстоморденьких жадно рвала зубами булку.

„Ну, ест булку, значит, голодная“, — подумал генерал, пытаюсь остановить поднимающееся раздражение. Все четверо, перекидываясь какими-то полупристойностями, вскакивали, валялись на стулья, хохотали. Та, что ела булку, доев, вскочила, подбежала к загородке гардероба, прицелилась оттопыренным задом и, подпрыгнув, уселась на нее, болтая совсем уж оголившимися толстыми ногами и что-то запела. Спрыгнула, подбежала к своим, радостно загоготавшим, словно она проделала невероятно смешной номер.

Генерал сидел ни жив ни мертв, сдерживая бешенство и удивляясь, что никто им не делает замечания, хотя в очереди сидели трое молодых мужчин и эти дуры уже весьма грубо заигрывали с ними.

— А со стариком могла бы?.. — вдруг кивнула одна из них на генерала.

— А почему бы нет?.. — ответила вторая, и все четверо загоготали.

Тут генерал все забыл. Багровые круги поплыли перед глазами. Он вскочил и подлетел к здоровому лохматому парню. Он-то и пришел стричься, как еще раньше понял генерал, а эти его сопровождали. Схватив его за лацканы пиджака, он рванул и бросил его с такой силой, что парень, отлетев к гардеробу, грохнулся, но вскочил.

— Вон, мерзавцы! — закричал Алексей Ефремович, но голос от волнения сорвался и дал петуха.

Второй парень и обе девушки с диким хохотом выскочили из помещения. А тот, что упал, вскочив,

угрожающе посмотрел на генерала и сунул одну руку во внутренний карман пиджака, словно пытается достать оттуда нож. Генерал ринулся было к нему, но тот почти в прыжке вылетел из дверей парикмахерской.

Генерал сел на место. Сердце колотилось — беспорядочно, гулко, страшно. „Пронеси, пронеси, пронеси“, — шептал про себя генерал и дрожащими руками достал таблетку валидола и закинул ее в рот.

Мужчины были явно смущены случившимся, а женщины, сопровождавшие детей, стали громко причитать по поводу падения нравов. Худенький глазастый мальчик не сводил с него восторженных глаз.

Он и сам не ждал от себя такой прыти, но и такого чудовищного хамства, кажется, еще не встречал. Он дососал валидол и, к своему тихому радостному удивлению, почувствовал, что сердце успокоилось. „Мы еще проживем“, — подумал он про себя и подмигнул глазастику. Тот смутился и опустил голову.

Подошла очередь генерала. Он вошел в зал, огляделся и, увидев вешалку, снял и повесил плащ. Сел в кресло. Высокая, как баскетболистка, миловидная парикмахерша спросила у него:

— Как вас подстричь?

— Как есть, — сказал генерал и неопределенно провел рукой по волосам, имея в виду, что надо восстановить предыдущую стрижку. Он немного стыдился, что всегда забывает названия стрижек. То, что голова его считала ненужными знаниями, он всегда забывал, хотя практически это иногда бывало нужно.

— Что значит — как есть? — вступила в бой парикмахерша. — Полька? Скобка? Что?!

— Как хотите, — сказал генерал примирительно.

— Голову мыть будете? — спросила парикмахерша.



— С удовольствием, — сказал генерал, вступая в полосу ясности взаимопонимания.

— Учтите, это будет немного дороже, — предупредила парикмахерша.

— Уже учел, — сказал генерал, оглядывая себя в зеркало и с удовольствием замечая, что на его лице нет следов перенесенного недавно волнения.

Это известие сильно смягчило парикмахершу, и она, уже ласково нависая над ним, заткнула ему за воротник белоснежную простыню.

— Виски прямые или косые? — спросила она тоном экзаменатора, явно спасающего экзаменуемого.

— Прямые, — твердо сказал генерал, хотя ему было совершенно все равно.

Радио непрерывно что-то передавало, но его никто не слушал. Вдруг неожиданно для генерала, словно вероломно нарушая восстановленный мир, парикмахерша вздернула его, вознесла в кресле так, что сердце его на миг упало. На самом деле она просто нажала на педаль кресла и приспособила его голову к своему росту.

Пока она стригла его и мыла голову, он окончательно успокоился и расслабился. Она опрыскала ему голову приятно-колючей струей одеколona и стала ласково зачесывать его все еще густые седые волосы. И он снова вдруг подумал: „Пшада, Пшада“...

Радио, не останавливаясь, работало, и он краем уха услышал:

— Ветер слабый, до умеренного...

„Пшада — безветрие!“ — вспыхнуло у него в голове, и что-то мощное ударило в грудь, и родной язык, как с размаху разбитый арбуз, хрястнул и распался перед ним, выбрызгивая и рассыпая смуглые косточки слов!

Он увидел себя мальчишкой-подростком в жаркий

летний день под сенью грецкого ореха. Рядом был его двоюродный брат, могучий юноша, которого он обожал за эту могучесть и которого позже в начале войны убили на западной границе. Но сейчас ничего этого не было.

Они шутливо боролись на траве.

— Что вы возитесь, как щенята? Уж не маленькие, — раздался голос его мамы, и он, не глядя, продолжая бороться, понял по ее голосу, что она с медным кувшином ключевой воды на плече возвращается с родника. Голос соразмерялся с утяжеленными шагами.

И хотя они шутливо боролись, сам он, не на шутку разгоряченный, старался положить на спину своего брата, и тот наконец поддался ему, якобы поборотый, и он победно уселся ему на грудь.

И тут брат его стал хохотать, и грудь его мощно вздымалась от хохота, сотрясая сидящего на нем мальчика. И сам он стал хохотать, поняв причину хохота брата. Брат хохотал, оттого что, по его разумению, мальчишке казалось, что он всерьез его поборол. А он смеялся, оттого что уже догадался, что брат его нарочно лег на лопатки, а брат думает, что он об этом не догадался.

— Кажется, старик умирает! Зинка, звони в „скорую“, — услышал он далекий голос своей парикмахерши.

„Никогда я не был таким живым, как сейчас“, — хотел он крикнуть ей в ответ, но понял, что отсюда туда не докричишься, хотя и не был удивлен, что сам услышал ее голос.

— Давай я тебя подыму, — сказал двоюродный брат, отхохотавшись.

Он поспешно сел рядом на траву, снизу под ногами сцепил пальцы рук и приготовился. Так брат его часто поднимал с земли на вытянутой руке.

Брат, лежа, продел правую руку под его левую руку, ухватился сильными пальцами за предплечье

его правой руки, завалил его к себе на грудь, распрямил свою правую руку и отвел левую. Так бывало всегда. Теперь надо было сесть, а потом встать и поддержать его на вытянутой руке.

Но что за черт! Брат лежал и никак не мог сесть с грузом на вытянутой руке. А как легко он его поднимал раньше! Рука его с вытянутым грузом уже начинала дрожать, а пятка правой босой ноги, никак не находя опоры на траве, оскальзываясь и содрогаясь, стала рыть яму, ища опоры. Ужас далекого сходства пронзил его.

— Отчего ты так потяжелел?! — вдруг спросил у него брат гневным голосом, снизу глядя на его скрюченное тело глазами уже в прожилках крови от напряжения. Нога его яростно продолжала искать опору, и пятка вырывала и отбрасывала комья земли, корни, камни, прорываясь и прорываясь в какую-то страшную глубину.

— Не знаю, — ответил он, теперь чувствуя себя мальчиком-генералом и голосом стараясь внушить брату, что он только мальчик, страшась, что он вдруг догадается о тех расстрелянных немецких офицерах. И теперь яма, вырытая ногой брата, превратилась в бездонную щель, куда брат его, кажется, хочет забросить.

— Зато я знаю! — гневно воскликнул брат, мучительно глядя на него снизу, и рука, державшая его, все сильнее дрожала от напряжения. И вдруг, сверху вниз глядя на брата, он увидел, как на лице его проступают синие пятна, и понял, что это уже убитый брат, и, оттого что он убитый, он все-все знает о нем: и о немецких офицерах, и о любимом адъютанте, и о забвении родного языка. И если он его еще не сбросил в щель, то только потому, что помнит и любит того, далекого, довоенного мальчика.

— Но ведь была такая война! — крикнул он сверху, пытаясь прорваться к нему.

— А меня что, по пьянке убили?! — грозно отве-

тил ему брат, продолжая держать его на вытянутой руке.

— Но ведь я его так любил! — крикнул он, спеша опередить его решение последним доводом, который у него был.

— Любил, — с трудом повторил брат, сиюсь сопоставить его слова с его грехом, и рука брата уже не дрожала, а содрогалась от напряжения. И вдруг все погасло.

Генерал Алексей Ефремович, уже мертвый, сидел в кресле. Пришла „скорая помощь“, позже позвонили генералу Нефедову, он связался с вдовой, и все получилось пристойно, как хотел покойник.

На пятый день в морге состоялась гражданская панихида. Генерал Нефедов заехал на своей машине за вдовой Алексея Ефремовича, чтобы повезти ее в морг. Сейчас она была на городской квартире. Оставив сына, сидевшего за рулем, генерал поднялся к ней. Он позвонил, и она ему открыла дверь. Из кухни раздавались возбужденные голоса незнакомых женщин, стук ножей, звон тарелок. Там готовились к поминкам. Пока он говорил с вдовой, стоя в передней, оттуда время от времени высовывались и исчезали любопытствующие женщины. Возможно, они были родственницами вдовы, но раньше их генерал Нефедов никогда не видел.

— Ах, Сергей Игнатьевич, — сказала вдова, одеваясь, плача и время от времени давая трезвые приказы высовывающимся из кухни, — вы знаете, как я любила Алексея Ефремовича. Я его вытащила с того света, когда он тяжело болел... Я продлила ему жизнь на десять лет... Даже на одиннадцать...

Она вспомнила и щедро прибавила тот неполноценный год, когда они уже были близки, но еще не оформили брак.

— Царство ему Небесное, — продолжала она, — но почему, почему он был такой скрытный?

— Не замечал, — холодно пробасил генерал Нефедов.

— Потому-то и не замечали, что скрытный, — пояснила вдова и, быстро пройдя в комнату, вынесла оттуда и подала генералу Нефедову книжку Нового завета: — Вот!

— Что это? — спросил генерал Нефедов, беря в руки Новый Завет и не понимая, какое это имеет отношение к предмету разговора.

— В кармане пиджака, в котором он умер, лежало, — с грустной торжественностью произнесла вдова и снова заплакала.

— Ну и что? — сказал генерал Нефедов и, не зная, куда деть брошюру, положил ее на подзеркальник. — Купил где-нибудь на улице.

— Купил? — с горестной иронией повторила она и кивнула на брошюру: — Посмотрите, там даже цена не отмечена. Он связался с церковниками и в последние месяцы был какой-то странный, а я не могла понять, в чем дело. Такие книжки, насколько я знаю, держат дома, а не прячут в кармане от жены... Царство ему Небесное!

Пока она говорила это, из кухни высунулась какая-то женщина и хотя никак не могла знать, о чем они говорят, однако, что-то угадав и как бы втайне от вдовы, несколько раз скорбно кивнула генералу Нефедову в том смысле, что он слышит правду и только правду. Генерал Нефедов, внезапно испытав вспышку бешенства покойника, так посмотрел на эту женщину, что она мгновенно юркнула в кухню.

Он перевел взгляд на вдову, которал, надев пальто и завязав на подбородке черную косынку, отвернулась от зеркала и посмотрела на него, выражая готовность ехать.

Генерал поразился, что слезы на ее глазах успели высохнуть и глаза ее теперь источали странный сухой блеск. Смысл его генерал Нефедов не понял, хотя это был бойцовский блеск. Она давно подозре-

вала, что, вероятно, есть тайное завещание в пользу детей. Теперь она заподозрила, что он мог и церкви что-то оставить. Борьбу на два фронта она не предвидела и теперь старалась быть очень собранной.

— Поехали, — сказал генерал Нефедов, и они вышли.

Панихида прошла достойно. У гроба стояли дети, извещенные телеграммами. Сын стоял вместе с женой и двумя внуками Алексея Ефремовича. Он был абсолютно трезв, и, как у людей много пьющих, именно в трезвости лицо его более всего носило следы алкогольного распада.

Дочь прилетела без мужа, словно проявляя такт по отношению к умершему отцу, не одобрявшему ее второй и третий брак. Возможно, так оно и было. Вся в слезах, в траурной одежде, она была особенно хороша. Кстати, был и ее первый муж, ему позвонил генерал Нефедов, и он опять рыдал, теперь на мертвой груди Алексея Ефремовича. Кроме генерала Нефедова, были еще двое военных, больше фронтовиков из людей их круга в Москве уже не осталось. Генерал Алексей Ефремович со всеми почестями был похоронен на хорошем московском кладбище.

# Светозор

РАССКАЗЫ

---

## ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК

Небольшая делегация молодых московских писателей по командировке ЦК комсомола прибыла в большой сибирский город. Нас встречал местный комсомольский вожак, крепкий молодец с добродушными плутоватыми глазами. Он был похож на замаскированного мастера карате.

Он отвез нас в местную гостиницу, но, увы, нам велели подождать, пока освободятся номера. Свободных мест не было. Помощники вожака что-то напутали, и нам не заказали номера.

Был вечер. Мы уныло ждали, когда выедут другие постояльцы. Но они не выезжали, и уже некоторые командировочные, почему-то неизменно в лиловых кальсонах, выходили из своих номеров и шлепали в единственную на этаже уборную. Время тянулось и тянулось.

— Я сейчас позвоню в одно место, — вдруг сказал комсомольский вожак и сверкнул своими плутоватыми глазами. — Или пан, или пропал.

Он решительно подошел к телефону, висевшему на стене, набрал номер и стал с кем-то разговаривать. Когда его соединили, глаза его стали излучать мягкий блеск, а голос заурчал.

— Делегация ЦК комсомола, — урчал он, — неудобно, люди устали, а номеров нет.

Потом он некоторое время говорил про какой-то таинственный терем-теремок. Было странно слы-



шать это слово из детских сказок, которое произносилось без всякого подобия улыбки.

— Спасибо, спасибо, Марья Дмитриевна, — прощаясь, сказал он, низко склонив голову к трубке, словно пытаясь поцеловать далекую женскую руку.

Он возвращался к нам от телефонной трубки, как мастер карате, только что выигравший трудный бой.

— Сейчас, — сказал он загадочно, — поедem в одно местечко. Там перекусим, и там вы переночуете.

Он вынул платок и вытер вспотевшее лицо. Видно, нелегко ему дался этот разговор, но он был доволен результатом.

— Пошли отсюда, — не без брезгливости сказал он, и мы вышли из гостиницы.

А на улице холодина, метель.

— Сейчас придут машины, — успокоил нас неунывающий крепыш.

„Знаем это ваше сейчас, — думал я, дрожа от холода и отворачиваясь от ветра. — Про гостиничные номера он тоже говорил: „Сейчас! Сейчас!“ — а мы прождали три часа, так ничего и не дождавшись“.

Все это время он неутомимо расспрашивал одного нашего поэта, работавшего в комсомольском журнале. Он расспрашивал о смещениях и перемещениях кадров в аппарате ЦК комсомола, сладострастно выслушивал новости далекой аппаратной жизни.

На этот раз мы прождали минут пять, хотя и успели за это время основательно продрогнуть. Лихо подкатили две „Волги“, и нас повезли куда-то. Шоферы были радостно возбуждены. Наш, во всяком случае. Машины ехали быстро, резко и неожиданно сворачивая в какие-то переулки, выезжая из них, снова сворачивая, словно стараясь сделать неведомый нам город еще более неведомым, словно заметая следы, и без того заметенные метелью.

Наш шофер время от времени озирался на нас, как бы дивясь чуду несоответствия наших лиц нашему маршруту. Это чудо явно вдохновляло его для собственных будущих надобностей. И я заметил, что он имеет отдаленное сходство с нашим вожаком. Так сказать, недошлифованный алмаз.

Наконец машины резко затормозили. Мы с чемоданами стали вылезать.

— Саша, заедешь за мной через два часа, — сказал наш провожатый шоферу.

Мы подошли к подъезду ничем не примечательного дома. Он как-то не был похож на гостиницу. Однако как только мы поднялись к дверям, они распахнулись и оттуда высунулся крепкий молодец. Он с гостеприимной улыбкой провел нас в переднюю и указал на вешалку. Он был удивительно похож на нашего провожатого. Он тоже напоминал мастера карате, даже не слишком замаскированного. Оба прочно сбитые, румяные, а главное — у обоих тот особый лоск на лице, который свойствен, как говаривал дядя Сандро, людям, допущенным к столу.

Он ввел нас в теплое помещение с тяжелыми золотистыми занавесками и коврами на полу. Комната была уставлена несколькими столами со слепящими белизной накрахмаленными скатертями.

На одном из столов громоздились закуски, скромно светились коньячные бутылки и, позабыв о всякой скромности, сияли в вазах огромные апельсины, словно здесь, в Сибири, они и созрели, выращенные мичуринским способом.

Мы уселись за стол. Мы приступили к закускам с некоторой поспешностью, как бы опережая возможность ошибки случившегося, однако стараясь не клацать вилками и зубами. Процедуру никто не прерывал. Окончательно обнаглев, мы стали посылать вдогон закускам золотистые струи армянского коньяка. Ни один из нас никогда не сидел за таким сто-

лом, а некоторые поэты вообще жили впроголодь. Но пить умели все.

Но что за стол? Таймени, пельмени, мозги оленьи, какие-то почки, какие-то грибочки и Черное море икры в странной географической близости с Красным морем икры!

А главное, чувствовалось, носилось в воздухе, что за все это не придется платить. Да и кому платить и какие деньги? Экспроприаторов экспроприировали! Деньги отменены! Мы ворвались в царство коммунизма. Это он, родимый, сближающий моря и народы!

Хотя стол был переполнен, нас обслуживали официанты, принося горячие блюда. Хрустящие молодые официантки, хорошенькие, как на подбор. Они приоткрывали тайну тщательно продуманного и „промытого“ отдыха государственных людей от государственных дел.

После нескольких рюмок коньяка наш провожатый признался нам, что звонил жене самого секретаря обкома, умнейшей женщине, и она дала добро на наше воцарение в тереме-теремке.

А я-то по простоте душевной, когда он звонил, думал, что он разговаривает с директрисой другой гостиницы. Лихой человек, решил я, быть ему в ЦК комсомола, о деятелях которого он так подробно расспрашивал.

Кстати, в течение нашего застолья он, впадая в служебный лунатизм, то и дело невпопад обращался к нашему поэту из комсомольского журнала.

— Агапов теперь в отделе пропаганды? — заискивающе спрашивал он, как бы заранее умиляясь, что тот в отделе пропаганды, но как бы и готовый умиляться, если того из отдела уже вышвырнули.

Наш поэт, на мой взгляд, давно исчерпал свои скромные знания аппаратной жизни, но, чтобы угодить ему за царский прием, явно блефовал. Но тот не замечал. Он зачарованно прислушивался к чему-

то, словно по скудным обрывкам мелодии восстанавливал и восстанавливал в голове всю грандиозную симфонию этой жизни.

С самого начала опьянев от сказочной пещеры, куда мы попали, мы уже почти не пьянели от многих рюмок коньяка. Конечно, в этом и закуски сыграли свою выдающуюся, тормозящую роль: таймени, пельмени...

Нет, мы, конечно, все-таки пьянели, но я заметил, что по мере нашего опьянения, как бы для равновесия ситуации, строжили и строжили лица наших молодых официанток. И чем больше они строжили, тем яснее проступала в их чертах суровая мощь монастырского блуда.

И по мере опьянения, может быть, из-за явной недоступности официанток хотелось броситься на шею руководства страны и крикнуть ему, содрогаясь от преданности:

— Так вот что вы готовите народу, наши избранники! Сегодня вы нас допустили к столу как бы для пробы! А завтра или послезавтра весь народ хлынет в распахнутые двери теремов!

После ужина второй каратист, обегая нас, как добрая овчарка, и не давая разбредаться по дому, всех уложил спать в просторных комнатах, в душистых от свежести постелях.

Утром он провел нас в это же помещение завтракать. Первый каратист был уже здесь и, попивая боржом, дожидался нас. Стол теперь, прямо скажем, не ломился, но всего хватало. А главное — не забыли дать опохмелиться. Хотелось зарыдать от этой прославленной партийной чуткости. Хотя некоторые из нас считали, что в прославлении партийной чуткости есть немалые преувеличения.

И вот сегодня из совсем другой эпохи я кричу:

— Была! Была! Эта чуткость! Сам на себе ее испытал! И не раз!

Под строгим надзором нашего вожака мы опохмелились на джентльменском уровне. Официантки уже были другие, но такие же хрустящие и хорошенькие. И мы дивились: в каких парниках их выращивают?!

Днем и вечером мы выступали перед рабочей и студенческой аудиторией. Нас отлично принимали. Комсомольский вожак, сопровождавший нас весь день, был очень доволен. Такой уж прыти он от нас не ожидал. Да мы и сами от себя не ожидали такой прыти. Если еще, в сущности, не знал нас, нас так угощали, что же будет после наших искрометных выступлений! Может быть, нас посадят рядом с Марьей Дмитриевной? Мы даже гадали: нет ли ее в зале, инкогнито?

После вечернего выступления мы вышли на улицу. Пиршество близилось неотвратимо. С болью отдираясь от разгоряченных студентов, приглашавших нас на вечеринку, мы ввалились в машины и поехали. Машины были те же и шоферы те же.

Но через некоторое время я почувствовал какую-то тревогу. Наш шофер больше на нас не озирался. В его езде не было вчерашнего азарта, а главное — вчерашней извилистости пути. С какой-то тупой прямолинейностью нас привезли не в терем-теремок, а в ту же протухшую гостиницу. За что?!

— А как же вещи? — ушибленный обидой, спросил один из членов нашей делегации, возможно, надеясь, что наш вожак привез нас в гостиницу по какой-то дурной инерции. И вероятно, сейчас опомнится...

— Уже здесь, уже все на месте, — доброжелательно отвечал вожак. Однако голосом он дал знать, что такая сказка может присниться только раз в жизни и то благодаря Марье Дмитриевне, за золотое сердце которой мы вчера пили.

Открывая дверь номера, куда нас водворили с моим приятелем, я успел заметить, как некий ко-

мандировочный — все в тех же лиловых кальсонах — прошаркал в сторону уборной. В соседнем номере громко переговаривались и злобно щелкали фишками домино.

Я открыл дверь. Наши чемоданы были на месте. Прислонясь лбом к оконному стеклу, я долго дивился административной гениальности нашего вожака. Ничего ни у кого не спрашивая, он точно разместил нас всех так, как мы хотели. Даже чемоданы не спутали. Или бумаги о нас шли впереди нас? Трудно поверить.

Нет, думал я, эту систему никто никогда не победит. И в самом деле — ее никто не победил. Она рухнула сама. Не потому ли, что на тебя ушли все силы, терем-теремок?

А где же наши каратисты?

Они теперь главные фирмачи или главные охранники фирмачей. Иногда встречаю их или их подобия на презентациях и чувствую всей шкурой: ох, главное, главное они остались!

---

---

## МОЛОДОЙ АРХИТЕКТОР И КРАСОТКА

Молодой архитектор Павел Богатырев после окончания московского института приехал в один среднерусский город. Он попал сюда по распределению. Проработав здесь с полгода, он уже обзавелся друзьями из местных интеллигентов и новым заграничным костюмом, который на нем хорошо сидел. Такого у него еще никогда не было. Но пальто у него было старое, студенческое, мешковатое.

Однажды один из его новых друзей привел его в местный педагогический институт на какое-то праздничное мероприятие. Начались танцы. Во время танцев он заметил, что на него очень смело поглядывает хорошенькая девушка. Она поглядывала на него из-за плеча своего кавалера, с которым танцевала, как из-за ограды, через которую можно легко перемахнуть.

Своими взглядами она как бы радостно удивлялась тому, что до сих пор его никогда не видела. Возможно, она его принимала за студента и тем более удивлялась, что до сих пор его никогда не видела. „Где ты пропал? Скорее ко мне!“ — как бы восклицала она своими большими зелеными распахнутыми глазами.

Минут через десять он ее пригласил танцевать, и они довольно долго топтались в танцах, охотно переговариваясь. А потом гуляли по коридорам института и даже заглянули в одну пустую аудиторию и сели рядом.

Сидя в пустой аудитории с очаровательной девушкой, он вдруг совершенно ясно почувствовал, что вот сейчас он может обнять и поцеловать ее и она его не оттолкнет. Это было абсолютно ясно.

Но он решил не торопить события. Конечно, она его предпочла всем остальным молодым людям. Как проницательная девушка, думал он. Как здорово, что ее красота сочетается с такой проницательностью.

Из их разговора получалось, что она ждала его приезда в этот город, а он как бы только для этого сюда и приехал. Ясно, что он ей нравится. Проницательная девушка, думал он. Собственно говоря, она его и привела в эту пустую аудиторию, чтобы получить от него первый урок любви. Так он думал. Но он не решился на этот урок отчасти потому, что аудитория была не заперта и сюда могли забрести другие студенты со своими уроками.

После танцев он провожал ее домой. Он подал ей в гардеробной ее легкую шубку и надел свое пальто. И тут он краем глаза заметил, что его красotka сильно и неприятно удивлена. Старое пальто, мешковатое и неуклюжее, скрыло его красивый костюм. Он не без юмора подумал, как это все в ее головке укладывается: пальто с чужого плеча или костюм? Или он вообще архитектор-самозванец?

Все это промелькнуло в его сознании, но не сильно расстроило его. Он еще верил в возможность идеальной любви, которая ни с каким пальто не считается. Тем не менее он подумал, что, сдержавшись там, в аудитории, он допустил шахматную ошибку. Тут нужен был более атакующий стиль. Она, видимо, этого ждала, еще ничего не зная о его плохо прикрытом фланге — о его пальто.

Он проводил ее домой. Они еще во время танцев, когда она ничего не знала о его пальто, договорились встретиться на вечеринке у его друга. Она охотно



приняла приглашение, тем более что слышала об этом доме. Это была известная в городе семья.

В парадной ее подъезда, расставаясь с ней, он понял, что поцеловать ее сейчас нельзя. Мешало пальто. Он скромно попрощался с ней и почувствовал, что она ему благодарна за сдержанность. По тем авансам, которые она выдавала в институте, еще не зная о его пальто, он мог бы теперь быть посмелее. Но сейчас она видела, что он не требует платить по счетам. Она была так благодарна ему за это, что на прощанье с необычайной смелостью поправила ему кашне на горле, правда, ему показалось, что она при этом старалась не прикасаться к его пальто. После этого она облегченно взлетела на свой этаж.

На вечеринку к друзьям он пришел с ней в том же пальто. Просто другого у него не было. На его спутницу все обратили внимание. А девушка хозяйина дома с тайным поощрительным восторгом закивала ему головой. Он знал, что он ей нравится. Но она была подружкой его товарища, и он никогда не пытался сделать шаг в ее сторону, хотя и она ему нравилась. Иногда ему казалось, что она ждет этого шага. Но это было не в его правилах. И сейчас она поощрительными кивками благословляла его уход к другой. Если уходить, то только к такой, как бы говорила она.

Потом было веселое застолье с выпивкой и танцами. С его девушкой зачастил танцевать один молодой, но уже известный в городе журналист. Они танцевали очень хорошо, почти с недопустимой по тем временам чувственной смелостью. Тем более что этот журналист был здесь со своей женой.

Молодой архитектор почувствовал, что его захлестывает багровая ревность. Он старался как можно больше пить. Но это не помогало. Чем больше он пил, тем больше трезвела ревность. „Мы всего второй раз видимся, — уговаривал он себя, — она мне

ничем не обязана, и я ее не люблю. Откуда же эта ревность?”

Он все-таки попытался что-то восстановить и пригласил ее танцевать, заранее предчувствуя какой-то провал.

— Вы танцуете примитивно, — вдруг заметила она ему во время танца своим задыхающимся, грудным голосом, который так волновал его до этого. Она это сказала, как бы кивнув на его пальто. Он и в самом деле плохо танцевал. Но ведь в институте они довольно долго танцевали, и она как будто не замечала этого. Тогда она его неуклюжие движения приняла за новомодную московскую небрежность. Но потом, увидев его пальто, сообразила, что никакой новомодной небрежностью тут и не пахнет. И теперь она как бы дважды его уличила.

И он больше с ней не пытался танцевать и вообще не танцевал. Она продолжала танцевать с этим журналистом. Жена журналиста, чтобы скрыть свою ревность, стала бешено кокетничать с хозяином дома, и тот, может быть, под влиянием выпивки, поддался этому напору и не сводил с нее глаз. А девушка хозяйина дома, в свою очередь, чтобы скрыть свою ревность, так резвилась в танцах, что в конце концов подвернула ногу и ее уложили на диван.

Выпивка и танцы продолжались. А бедная девушка, подружка хозяйина дома, бросала на молодого архитектора взгляды, исполненные грусти и упрека.

Ее взгляды означали: „Если бы ты вовремя обратил на меня внимание, ничего такого не произошло бы со мной“. Еще ее взгляды означали: „Если бы ты со своей красоткой не явился сюда, ничего такого не произошло бы ни с тобой, ни со мной. А так теперь мы оба страдаем“.

Какая умница, подумал он о ней, она уловила всю цепочку и поняла взаимосвязь того, что произошло. И только эти двое ничего не понимали. Его красотка и этот ничтожный модный журналист со своими

тошнотворными либеральными намеками. Они продолжали танцевать как ни в чем не бывало. Кошмар, тупицы, думал молодой архитектор и тянулся к рюмке.

После вечеринки он проводил ее домой. Голова его была ясна, но не настолько, чтобы уследить за тем, как разъезжаются его ноги. Идти по заледенелому тротуару было скользко, и ему казалось, что, держа ее под руку, он как бы цепляется за нее и продолжает, как в жутком сне, еще более неловкий и унижительный танец.

О попытке поцеловать ее в подъезде теперь не могло быть и речи. Теперь она была далека, как на Северном полюсе. Добраться до нее, да еще в таком пальто, было абсолютно невозможно. Он попрощался с ней и пошел домой, ничего не сказав о возможности встречи.

Однако испытания того вечера на этом не кончились. Была глубокая ночь. Недалеко от его дома он заметил, что навстречу ему идут два человека, и он вдруг подумал: что-то будет. В самом деле, они попросили у него закурить. Он протянул им пачку и взял сигарету сам. Дул сильный ветер, поэтому он сначала сам прикурил от спички, а потом протянул горящую сигарету одному из них, чтобы тот прикурил. И тот долго у него прикуривал, и молодой архитектор с бьющимся сердцем тоскливо понял: да, что-то будет! Тот наконец прикурил и, подняв голову, вдруг рявкнул:

— А теперь сымай пальто, падло!

Страх сдунуло. И ему стало яростно и весело. Все-таки нашелся человек, который польстился на его пальто!

Сильным неожиданным ударом он сбил его с ног и повернулся ко второму, готовый и с этим подраться. Но тот явно уклонился от драки.

— Ладно, ладно, пошутить нельзя, — проворчал он угрюмо и стал поднимать своего товарища.

Молодой архитектор благополучно добрался домой. Он с удивлением подумал, что, если бы этот негодяй потребовал от него денег, он, пожалуй, отдал бы ему свой тощий бумажник. Тем более что рука негодяя, когда он рывкнул про пальто, опустилась в карман его телогрейки, где, вероятно, лежал нож. Но с этим пальто они его достали!

Несколько раз после этого вечера он встречал ее на улице. Она явно шла из института, и ее всегда сопровождали франтоватые студенты. Иногда ее сопровождал один и тот же студент, без компании. Молодой архитектор вежливо кивал ей, она тоже кивала ему, и они проходили мимо друг друга.

Так прошло месяца два. Он сменил свое пальто на вполне приличный плащ, потому что наступила весна. Но это уже не могло ничего изменить, а он продолжал о ней думать. Он не мог забыть о том ощущении странного волшебства, которое его охватило, когда они познакомились и особенно когда они, тихо переговариваясь, сидели в аудитории. Казалось, тайна счастья приоткрылась ему и захлопнулась в гардеробной. И он не мог об этом забыть. Но в конце концов ему надоело думать о ней. Он решил совсем выкинуть ее из головы и перестал при встречах здороваться с ней. Когда он первый раз прошел, не здоровавшись, она окинула его долгим удивленным взглядом. И это ему понравилось. Ему показалось, что он поставил ее на место.

Шумная гурьба франтоватых студентов продолжала провожать ее домой. Она царила среди них. Иногда ее провожал один и тот же студент, и как победно, как радостно он вышагивал рядом с ней!

Молодой архитектор продолжал одиноко и мрачно проходить мимо нее, не здороваясь. И он заметил, что она каждый раз внимательно вглядывается в него и как бы чего-то ждет.

По-видимому, она решила, что упорство молодого архитектора слишком далеко зашло. Вероятно, она

никак не могла поверить в то, что чары ее на кого-то перестали действовать. Было похоже, что она готова простить ему старое мешковатое пальто. Тем более что он теперь был во вполне приличном плаще. А впереди предстояло долгое лето, и в конце концов к осени он мог купить новое пальто. Но он еще был так молод и ему так надоемо его одиночество-одноночество!

И вскоре молодой архитектор познакомился с милой девушкой, и у них начался довольно бурный роман. Она не только не презирала его старое пальто, но даже, можно сказать, пользовалась им. В каморке, которую снимал молодой архитектор, было всегда прохладно, и они, ложась, накидывали его пальто поверх одеяла. Однако и о той красотке он почему-то никак не мог забыть, хотя и стыдился этого.

Однажды он шел со своей девушкой по улице и вдруг увидел, что навстречу идет она с победно вышагивающим студентом. И она его увидела издалека. И она была потрясена. Она резко отстранилась от своего провожатого, словно отбросила его, и быстрыми шагами, почти переходящими в побегу, стала приближаться. Она жадно вглядывалась в его спутницу и одновременно очень дружески и виновато улыбалась ему. Брошенный студент остановился, ничего не понимая и опарашенный случившимся. А она быстро-быстро двигалась архитектору навстречу, дружески и виновато улыбаясь и одновременно жадно оглядывая его спутницу.

В ее облике была какая-то безуминка. И ему вдруг захотелось все забыть и все начать сначала! Но он взял себя в руки. Ему потребовалось собрать все свое самообладание, чтобы не улыбнуться и не рвануться ей навстречу.

Поняв, что он и на этот раз не собирается с ней здороваться, она уже в двух шагах от него вдруг сникла, даже подурнела и прошла мимо. Девушка молодого архитектора, слава Богу, ничего не замети-

ла. Он почувствовал, что это полная победа, но никакой радости она ему не принесла.

Какая красота погибает, наивно думал он, имел в виду, что теперь уже совершенно невозможно восстановить знакомство. Других он считал недостойными ее красоты. Иногда он в себе ощущал такой мощный прилив сил, что был готов скрыть этот кургузый город и построить новый. В такие минуты он изо всех сил хватался пальцами за стол или за стул, на котором сидел, чтобы не взлететь на высоту своего воображаемого шедевра. Но этот неожиданный прилив сил, который он порой испытывал, к его удивлению, никто не замечал. Впрочем, опомнившись, он и сам осознавал, что не скоро дождется заказчика, если дождется вообще.

Красотка и в самом деле была потрясена. Возможно, она даже влюбилась в него, потому что впервые в жизни получила от ворот поворот. Этого она еще не могла ни понять, ни принять.

В тот вечер, один придя в свою каморку, он сильно захотел выпить. Вспомнил, что есть в запасе бутылка вина. Он достал бутылку, но никак не мог найти штопора и стал вилкой выковыривать пробку. Пробка долго сопротивлялась, но он ее наконец выковырял. В борьбе бутылки с человеком всегда побеждает человек, подумал он, усмехнувшись чему-то. Он спокойно выпил три стакана вина, а когда выпил четвертый, вдруг взгляд его остановился на пальто, уныло висевшем на гвозде, и он вдруг так сжал стакан в руке, что он хрустнул и рассыпался. Осколки сильно поранили его ладонь, и обильно потекла кровь.

Он открыл кран и подставил ладонь под холодную струю воды. Теплая боль, теплая кровь и ледяная струя воды успокаивали его. Минут через двадцать кровь перестала сочиться, он перевязал ладонь платком и лег спать. Теперь он окончательно успокоился.

Однажды, побывав в гостях у своих друзей, он вместе со своей подружкой, оба навеселе, вернулись в его каморку.

После близости она вдруг вскочила с постели, полуголая, накинув его пальто, симпровизировала очаровательный дикарский танец, пародирующий все современные танцы. И танец этот, приперченный насмешкой, пародируя пародийную свободу современных танцев, приобретал истинную свободу и смысл. Пальто, как бы ликуя и одобряя ее, взлетало и болталось на ней. И она кружилась по комнатке, хорошея и хорошея и каждым движением доказывая неисчерпаемость комических оттенков не только танца, но и всей жизни. При этом она каким-то образом, словно угадывая, прихватывала в своей пародии и его страсть к красотке. И это было так смешно, что он хохотал до слез. Юмор, подумал он, это музыка правды, не требующая доказательств.

Этим танцем, сама того не ведая, она навсегда уложила на лопатки и его, и его красотку, но уложила не рядом, разумеется, но вдали друг от друга.

Вскоре они поженились и покинули этот город. Через несколько лет он стал известным архитектором. И те порывы творческой энергии, которых никто не замечал, остались в его памяти как единственная реальность, связанная с этим городом.

Но ему было суждено еще раз встретиться с красоткой. Через двадцать лет по его проекту и под его личным присмотром, что было гораздо труднее, чем создать проект, учитывая пьянство и вороватость рабочих, был воздвигнут прекрасный курортный комплекс на берегу Черного моря.

Строили вместе иностранные и наши рабочие. Он давно заметил, что иностранные рабочие трудились превосходно, если не соприкасались с нашими рабочими. Но если на стройке они работали вместе с нашими, их хватало почему-то ровно на три месяца.

Дальше их можно было отсылать домой. Начав пить с нашими рабочими, они через три месяца теряли всякую работоспособность и уже работали хуже наших рабочих, которые и в пьяном виде кое-что кумекали. Почему не добросовестные влияют на разгильдяев, а наоборот? Он часто над этим задумывался и пришел к выводу, что человек от природы больше склонен опускаться, чем подниматься. Это был горький вывод из наблюдений над человеком, но не горше других.

Так вот. Местное начальство пригласило на открытие здравницы почетных гостей из Москвы и других мест. И она приехала сюда с мужем, тайно прославленным генералом. Он где-то, кажется в Африке, кого-то свергал. Нашему архитектору об этом шепнул директор здравницы. Для генерала генерал очень молодо выглядел. А ее он просто не узнал. Глядя на генерала, он подумал: в нашей дряхлеющей стране молодеют и молодеют генералы. К чему бы это? Не придется ли генералу в следующий раз ехать куда-нибудь поближе, мелькнуло у него в голове.

В разгар банкетного пиршества, когда все подвыпили, жена генерала, поймав его взгляд, вдруг нежно улыбнулась ему и кивнула. Они сидели за соседними столами. И он улыбнулся ей и благодарно кивнул ей в ответ, думая, что она приветствует его как творца этого сооружения. Тем более что в этой праздничной суматохе, с многочисленными общими тостами, об архитекторе, который все это создал, никто не вспомнил.

Она была довольна его приветливой улыбкой, ей показалось, что она наконец победила его упорство и последнее слово осталось за ней. „Боже мой, — вспоминала она, — в каком задрипанном пальто ходил он в нашем городе, и нравился мне, и влюблен был в меня, но за что-то обиделся на меня, гордец, и перестал здороваться“. Она никак не могла припомнить,



за что он обиделся на нее. „Я же не виновата, что я всем нравилась“, — подумала она, припомнив, что всегда была окружена поклонниками. Глядя на него, ей и в голову не могло прийти, что он ее мог не узнать. „Кажется, волнуется, — подумала она. — Я тоже, кажется, волнуюсь“.

Но у него была другая причина для беспокойства. Вокруг нового курортного комплекса, сильно нарушая его гармонию, были наляпаны хибарки местных жителей. Их было не очень много, но они были. Чтобы снести эти хибарки, он для их обитателей выстроил новые коттеджи с такими удобствами, о которых они и мечтать не смели.

Но пока шла стройка, эти жулики успели прописать в своих хибарках несметное количество родственников, чтобы потом, перейдя в коттеджи, оставить за собой и хибарки. В курортный сезон лишняя площадь сулила здесь немалые доходы. Предстояла скандальная разборка. Но он был уверен, что победит. Его душу уже обжигал замысел нового проекта. Надо было поскорее освободить голову от велького мусора, а в таких случаях он бывал неуязвим.

---

## ЖИЛ СТАРИК СО СВОЕЮ СТАРУШКОЙ

В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял ноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и, если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел.

Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.

На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:

— Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.

Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: „К чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?“

На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. „Но как же ему послать костыли?“ — думала старушка, проснувшись.

И никак не могла придумать. „Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого“, — решила она.

Теперь он ей снился каждую ночь и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь, только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила:

— Да как же тебе переслать костыли?

— Через человека, который первым умрет в нашей деревне, — ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культияпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.

Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.

— Тебе хорошо пить, — говаривал он ее старику, — сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.

Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.

И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.

Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользо-

лась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:

— Это даже неудобно — живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.

Но старушка уже все обдумала.

— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.

Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.

Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидели его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог, он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:

— Видно, и я скоро там буду и встречу с твоим стариком.

И тут старушка оживилась.

— К слову сказать, — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. — Я тебя не тороплю, — добавила она, — но, если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.

Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб

чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.

— Разве рай большевики не закрыли? — пытался он отделаться от нее с этой стороны.

Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.

— Нет, — сказала она уверенно, — большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в мавзоле. А остальным это не под силу.

Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.

— Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи, — предложил он, — мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.

— Ты шутишь, — вздохнула старушка, — а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.

Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.

— Да я ж его теперь не догоню, — сказал старик, подумав, — он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...

— Знаю твой грех, — не согласилась старушка. — Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать — не смейте людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...

Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.

— Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...

Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут попереk.

— Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: — Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.

— А не будет поздно? — спросила старушка, видимо преодолевая свою деликатность. — Хотя я тебя не тороплю.

— Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.

С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник-внук с перевязанной ногой и на костылях стоял посреди кухни.

— Что с тобой? — встрепенулась старушка.

Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево посбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.

— Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать.

Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужнее. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.

Но что всего удивительнее — больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за при-

дорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.

А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта.

Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь проклятуций старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв! Придется подождать, пока его козы не наедятся.

Вот мы и живы, пока старик — тюк топором! пых трубкой! А козы никогда не насытятся.

---

## АВТОРИТЕТ

Георгий Андреевич был, как говорится, широко известен в узких кругах физиков. Правда, всей Москвы.

На праздничные майские каникулы он приехал к себе на дачу вместе с женой и младшим сыном, чтобы отдохнуть от городской суеты и всласть поработать несколько дней в тишине.

Весь дачный поселок был послевоенным подарком Сталина советским физикам, создавшим атомную бомбу. Однако с тех давних пор дачи сильно одряхлели, ремонтировать их не хватало средств. За последние годы, даже еще до перестройки, государство потеряло интерес к физикам: мавр сделал свое дело... Тем более старшее поколение физиков, создававшее эту бомбу, в основном уже перемерло.

На третий день праздников труба в ванной дала течь. Георгий Андреевич пошел в контору. Он знал, что оттуда можно было вызвать одного из двух сантехников. Но работник конторы скорбно заявил ему, что сантехники сами вышли из строя.

— Что с Женей? — спросил Георгий Андреевич.

— Руку сломал, — ответил конторский работник.

— А Сережа?

— Голову разбил. Только что его увезли на машине, — был мрачный ответ.

Георгий Андреевич вернулся на дачу несолоно хлебавши. „Трудно жить в России, думал он. —



Прежде чем починить трубу, надо починить слесаря. Нам многодневные праздники ни к чему. Работа невольно заставляет нашего человека делать некоторые паузы в выпивке. Праздничные дни — пьянство в чистом виде“.

Однако он не дал себе испортить настроение этой неудачей, а сел работать. Работа — единственное, в чем он еще не чувствовал приближения старости. И тем более было обидно, когда любимый ученик сказал ему об отзыве о нем одного известного физика. „Каким ярким ученым был Георгий Андреевич! — вздохнул якобы тот. — Как жалко, что он замолк“.

„Откуда он взял, что я замолк?“ — с горьким негодованием думал Георгий Андреевич. За последние два года четыре его серьезные работы были опубликованы в научных журналах. Да тот просто журналы эти не видел! Физики, — во всяком случае, те, что остались в России, — перестали интересоваться работами друг друга. Это тоже было знаком времени. На свои последние публикации он получал восхищенные отклики от некоторых иностранных коллег.

Однако ему было шестьдесят пять лет, и он действительно чувствовал первые признаки старости. Только не в работе. Так он думал. Но, например, процесс еды перестал приносить удовольствие, и он ел не то чтобы насильно, но с некоторым тихим раздражением, примирился с необходимостью перемалывать пищу. Сколько можно!

Утреннее бритье тоже стало раздражать его. „Боже мой, — думал он, включая электробритву, — сколько можно бриться! всю жизнь каждое утро бриться!“ Некоторые его коллеги давно завели бороды, якобы подчиняясь моде возвращения к национальным корням. Он сильно подозревал, что им просто надоело бриться. Сам он никак не хотел за-

водить бороду. Они при помощи бороды маскируют собственную старость; думал он.

Третьим признаком старости он считал то, что на ночь стал проверять, хорошо ли закрыты дверные запоры. Раньше он никогда об этом не думал. Правда, этот признак старости он мог не засчитывать себе или по крайней мере смягчить тем, что, вполне проверенным слухам, многие дачи их академического поселка ограбили.

Слава Богу, обошлось без убийства. Правда, одного опустившегося физика, пьяницу, воры избили. Он случайно во время грабежа оказался на даче, но был так беден, что из дачи буквально нечего было вынести. Все, что можно было вынести и продать, он уже сам вынес и продал. Воры обиделись и, разбудив его, избили за свои напрасные труды. Тем более у кровати его стояла пустая бутылка. Как будто он один любит выпить!

Но Георгий Андреевич почему-то чувствовал, что его повышенный интерес к замкам и запорам перед тем как лечь спать связан не с участвовавшими грабежами вообще, а с философским старческим отношением к собственности. Тем более он хорошо помнил слова Гёте о том, что в молодости мы все либералы, потому что нам нечего терять, а в старости делаемся консерваторами, потому что хотим, чтобы нажитое нами осталось именно нашим детям.

Ничего особенного нажито не было, хотя он был лауреатом нескольких международных премий. Но деньги, на которые он никогда не обращал внимания, как-то незаметно испарились, хотя это было не совсем так.

Оба его старших сына были биологами, и, когда они женились, он обоим купил квартиры. Они рано женились. Это было еще в советское время, и один из них, которому он дал деньги на квартиру, просил его, чтобы он, пользуясь своим авторитетом, помог вступить в какой-то кооператив. Но он наотрез от-

казался. Он презирал этот путь и никогда в жизни не умел и не хотел им пользоваться.

— Я же дал тебе деньги, — твердо ответил он сыну, — дальше действуй сам.

— Деньги — это далеко не главное, — ответил ему сын довольно нахально.

Впрочем, в те далекие, как теперь казалось, советские времена, вероятно, так оно и было.

Зато теперь деньги решали все. Оба его старших сына по контракту работали в Европе. Судя по всему, они были хорошо устроены и в Россию почти не приезжали. Беспокоиться об их судьбе не приходилось. Но он волновался о младшем сыне. Отчасти и это было признаком старости или следствием постарения.

Через пятнадцать лет после второго сына у него родился третий сын. Ему было сейчас двенадцать лет, и отец несколько тревожился, что может не успеть поставить его на ноги. А время настолько изменилось, что однажды сын ему сказал с горестным недоумением:

— Папа, почему мы такие нищие?

Вопросу сына он поразился как грому среди ясного неба.

— Какие мы нищие! — воскликнул он, не в силах сдержать раздражения. — Мы живем на уровне хорошей интеллигентной семьи!

Так оно и было на самом деле. Денег, по мнению отца, вполне хватало на жизнь, хотя, конечно, жизнь достаточно скромную. Но в школе у сына внезапно появилось много богатых друзей, которые хвастались своей модной одеждой, новейшей западной аппаратурой да и не по возрасту разбрасывались деньгами. И это шестиклассники!

Напрасно Георгий Андреевич объяснял сыну, что отцы этих детей, скорее всего, жулики, которые воспользовались темной экономической ситуацией в

стране и нажились бесчестным путем. Он чувствовал, что слова его падают в пустоту.

И тогда он подумал, что грешен перед своими детьми: всю жизнь углубленный в науку, не уделял им внимания. Двое старших, слава Богу, без его участия стали вполне интеллигентными людьми и достаточно талантливыми биологами. Да иначе с ними не продлевали бы контракты с такой охотой! Западные фирмы с необыкновенной точностью выклеивали наших самых талантливых ученых! И ему, несмотря на его возраст, приходили выгодные предложения, но он их отклонял. „Мы, — думал он о своем поколении, — так страстно мечтали о новых демократических временах, и, если демократия пришла с такими чудовищными уродствами, мы ответственны за это“. Уезжать казалось ему дезертирством...

Но дети ни при чем. Да, двое его старших сыновей стали на ноги. Но что будет с младшим? Он увлекается спортом и почти ничего не читает. Неужели это свойство поколения, неужели книга перестала быть тем, чем она уже была в России в течение двух столетий для образованных людей? Может быть, это всемирный процесс? Хотя такие признаки есть, но он отказывался в них верить. Не может быть, чтобы книга — самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и художником — ушла из жизни!

Он сам стал читать сыну. С каким увлечением он читал ему пушкинский рассказ „Выстрел“. Он сам чувствовал, что никогда в жизни вслух не читал с таким волнением и с такой выразительностью. Он читал ему минут пятнадцать, и сын как-то притих. „Достал! Достал!“ — ликовал отец про себя: сын подхвачен прозрачной волной пушкинского вдохновения! Однако, воспользовавшись первой же паузой, сын встал со стула и очень вежливо сказал:

— Папа, извини, но это для меня слишком рано.

И вышел из кабинета. Отец был сильно смущен. В словах сына ему послышалось сожаление по поводу его напрасных стараний. Но не может быть, чтобы ясный Пушкин до сына не доходил!

Все-таки он прочел ему несколько книжек, в том числе „Капитанскую дочку“. Нельзя сказать, чтобы сын не понимал прочитанного. Формальный смысл он легко улавливал. Он не улавливал того очаровательного перемигивания многих смыслов, которое дает настоящий художественный текст и в который автор вовлекает благодарного читателя. Неужели телевизор и компьютерные игры победили? И тогда он решил пойти самым большим козырем, который у него был в запасе, — он решил прочесть ему „Хаджи-Мурата“.

И действительно, „Хаджи-Мурат“ несколько растормошил сына. Отец радовался, читая ему эту великую книгу, написанную не только гениально, но и с рекордной простотой. Он думал, что смерть Хаджи-Мурата потрясет сына, но ничего такого не случилось.

— Я так и знал, — сказал сын, покидая его кабинет, как всегда после чтения, со сдержанным облегчением. Все-таки облегчение он сдерживал. И на том спасибо!

Но ведь не был же сын бесчувственным! Отец несколько раз, случайно войдя в столовую с телевизором, видел на глазах у сына слезы. Ясно было, что сын только что смотрел какой-то сентиментальный фильм. Как втолковать ему условия игры книги, ему, так самозабвенно усвоившему жалкие условия игры телевизора?

И нельзя же все время читать ему вслух. Ему уже двенадцать лет. „Боже мой, — думал Георгий Андреевич, — в этом возрасте меня невозможно было оторвать от книги!“ Более того, он был уверен, что его успехи в физике каким-то таинственным образом связаны с прочитанными и любимыми книга-

ми. Занимаясь физикой, он заряжал себя азартом вдохновения, которое охватывал его при чтении. А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. Книга была первична.

Нет, надо приучить его читать самого. Но как сын этого не хотел, как морщился, как пытался любым способом увильнуть от этой постылой обязанности!

Здесь, на даче, он с сыном играл в бадминтон. И сын у него насмешливо выигрывал каждый раз. Сын его был очень спортивен, впрочем, как и отец в юности. Отец в очках только работал или читал. Играл с сыном без очков, иногда он просто лупил ракеткой мимо волана. В таких случаях сын безжалостно смеялся. Но отца это почти не трогало. Он с нежностью вспоминал, как всего несколько лет назад он аккуратно и плавно отбивал сыну волан, чтобы тому было легче его принять.

Как летит время! А сын требовал от отца, чтобы тот с ним играл каждый день. Просто у него сейчас не было другого партнера. Из-за насмешек сына во время игры отец вдруг понял, что, в сущности, он, хотя и физик высокого класса, никаким авторитетом у сына не пользуется. Нужно завоевать авторитет. Но как это сделать? Очень просто. Спорт — единственное, что увлекает сына кроме телевизора и компьютерных игр. Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. Он должен переиграть его в бадминтон.

На следующий день, когда сын предложил поиграть, он сказал ему:

— Если я у тебя выиграю, будешь два часа читать книгу!

— Ты у меня выиграешь... — презрительно ответил сын. — Папа, у тебя крыша поехала!

— Но ты согласен на условия?

— Конечно! Пошли!

— Только дай я очки надену!

— Хоть бинокль!

Отец зашел в кабинет и взял старые запасные очки. Все-таки рисковать очками, в которых он обычно работал, не решился. Он надел их и стал мотать головой, чтобы посмотреть, как они держатся. К его приятному удивлению, очки ни разу не соскочили. Инструмент, помогавший в работе его стареющим глазам, как бы по-товарищески обещал помогать ему и в игре.

Он взял ракетку и вышел вслед за сыном на дачный двор. Было на редкость тепло. Поздняя весна быстро набирала силу. Из соседних дворов доносился запах цветущих яблонь. У самого дома, обработанная женой, цвела большая грядка цветов. Синели гроздочки гиацинтов, цвели нарциссы и примулы. Уже выпустились березы, словно излучая тепло, рыжели стволы сосен, и только сумрачные ели оставались верны своей траурной зелени.

На лужайке высыпало множество лиловых незабудок. „Какая глазастая свежесть любопытства к жизни! Если бы их свежесть любопытства к жизни соединить с моим опытом, — неожиданно подумал он, — был бы толк в науке. Но это невозможно“. И вдруг ему захотелось улечься на эти незабудки и, раскинув руки, лежать, ни о чем не думая. Но тогда уж под ними, насмешливо поправил он себя. Нет, сверху, встряхнувшись он духом, лежать и думать только о физике.

Между соснами, елями и березами была небольшая площадка, на которой они обычно играли. Они играли без сетки, игровое пространство не было очерчено, так что потерянную подачу иногда приходилось определять на глазок. Кроме того, на площадке были рытвины и несколько трухлявых пеньков, которые иногда мешали отбить волан. Отец, проявляя благородство, прощал сыну промахи, вызванные неровностью площадки, и сын туговато, но

следовал его примеру. Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, напряжился, хотя внешне держался равнодушно. Это, конечно, была боевая хитрость. Но не аморально ли хитрить, думал он, с трудом отбивая подачи сына. Тот почти все время умудрялся гасить.

Нет, успокоил он себя, если хитрость служит добру, она оправданна. Сам Христос хитрил, когда на коварный вопрос фарисеев ответил: кесарю кесарево, Богу Богово. Христос, по соображениям Георгия Андреевича, исходил из того, что если кесарю не платить кесарево, то для народа Иудеи это обернется еще бóльшим, безвыходным злом. Конформизм народа оправдан, если другое решение грозит неприменной кровью. Свою-то кровь Христос не пожалел. Но свою!

Когда несколько лет назад сын только научился плавать, он панически боялся глубины. И тогда, чтобы приучить сына к глубине, Георгий Андреевич пустился на хитрость. Он немного отплыл от берега и позвал сына к себе, вытащив руки из воды и подняв их над собой в знак того, что он стоит на дне. На самом деле он до дна не доставал, но, сильно работая одними ногами, держался на плаву. Сын клюнул на эту удочку, подплыл к нему и так постепенно приучился плавать на глубине.

...То и дело слышалось шлепанье ракеткой по волану. Хотя Георгий Андреевич весь был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, часто никакого отношения к игре не имеющие.

...Физик, который не следит за работами своих коллег, не может считаться профессионалом...  
Удар!

...Если бы Пушкин прожил еще хотя бы десять лет, вероятно, история России могла быть совершенно другой... Удар!

...Опять забыл ответить на чудное письмо физика из Вены! Какой стыд!.. Удар!



...Вся русская культура расположена между двумя фразами. Пушкинской: „Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!“ И толстовской: „Не могу молчать!“ Пожалуй, в пушкинской фразе более далеко идущая мудрость... Удар!

...Задыхаюсь! Задыхаюсь! Нельзя было почти всю жизнь работать по четырнадцать часов! А в застолье по четырнадцать рюмок можно было пить?! Удар!

...Сейчас много пишут о реформах Столыпина. И это хорошо. Но почему молчат о реформах Витте? Фамилия не та? Некрасиво!.. Удар!

...Выражение „тихий Дон“, кажется, впервые упоминается у Пушкина в „Кавказском пленнике“... Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил... Удар!

...Религиозный взгляд на мир научно корректнее атеистического. Нужен смелый ум, чтобы иногда сказать: это не нашего ума дело!.. Удар!

...Обширные пространства России всегда вызывали в правителях тайную агорафобию. Отсюда чувство психической неустойчивости, вечное желание нащупать твердый край, принимать крайнее и потому невзвешенное решение... Удар!

...Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятирит агрессивность человечества. Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального Шекспира... Удар!

...Знание о жизни другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. В темноте все опасны друг другу... Удар!

...Политика! Как говорил Ходжа Насреддин: „Не вижу лиц, отмеченных печатью мудрости“... Удар!

...Первый признак глупца: количество слов не соответствует количеству информации... Удар!

...Какой маразм! Пригласил домой иностранного физика и, называя ему адрес, забыл указать корпус

дома! Проклятый телефон! Но он, молодец, догадался сам найти! Маразм... Хотя в момент звонка я был весь в работе... Удар!

...Не смерть страшна, а страшно недостойно встретить ее... Удар!

...Человек краснеет и делает шаг к жизни. Человек бледнеет и делает шаг к смерти!.. Удар!

...Подставленная щека воспитывает бьющую руку... Сомнительно. Односторонность подставленной щеки... Удар!

Они обычно играли до двадцати пяти: кто первым набрал двадцать пять очков, тот и выиграл. Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете десять — пять в пользу отца он как бы очнулся.

— Ну, теперь ты у меня ни одного мяча не выиграешь! — крикнул он.

После чего яростно скинул рубаху и отбросил ее. Стройный, ладный, худой, поигрывая юными мускулами, он сейчас стоял перед ним в черных спортивных брюках и белых кедах, незавязанные шнурки которых опасно болтались. Отец предупредил его относительно шнурков, но он только резко махнул рукой и с горящими глазами приготовился к подаче.

Шквал сильных ударов посыпался на отца. Но почти все удары, сам удивляясь себе, отец изворачивался брать и посылать обратно. Иногда отец забывался, срабатывала давняя привычка играть с сыном, начинающим игроком, и тогда он мягко и высоко отбивал волан. Сын гасил с необычайной резкостью, и отец пропускал удар или, что выглядело особенно глупо, неожиданно ловил волан рукой, не успев рвануться в сторону и подставить ракетку.

Однако чаще всего, продолжая сам себе удивляться, он дотягивался до очень трудных подач и отбивал их. После того как он отбивал особенно

трудные подачи, он замечал в глазах у сына как бы комически-заторможенное уважение. Однако сын порядочно загнал его своими подачами. Сердце колотилось во всю грудную клетку, он был весь мокрый от пота. Но чем труднее ему было, тем с большей самоотдачей он шел к победе. В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним и самым решительным.

А сын, несмотря на свои яростные усилия, в отличие от отца оставался совершенно свежим и ровно дышал. Задыхающемуся отцу это казалось чудом. Но игра приближалась к победному концу, и сын стал нервничать. После неудачного удара он в бешенстве швырнул свою ракетку.

— Будешь нервничать, будешь хуже играть, — задыхаясь, предупредил его отец.

— Эта ракетка соскальзывает с руки, — крикнул сын, — я пойду возьму запасную.

И побежал домой. Отцу показалось, что эта передышка в две-три минуты спасла его. Сейчас, когда игра остановилась и он осознал свою усталость, ему подумалось, что еще несколько мгновений такого напряжения — и он рухнул бы наземь.

Отец слегка отдышался. Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын, видимо, успокоился и стал бить еще точнее и свирепее. Сын бил ракеткой по волану с такой размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. Это пародийно напоминало отцу то, что он часто читал в глазах у некоторых молодых физиков: когда же вы наконец сдохнете! Авторитет таких ученых, как Георгий Андреевич, стоял поперек их завиральным идеям.

Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда, и чуть не упал, однако, ловко сбалансировав, устоял на ногах.

— Завяжи шнурки, иначе не играю! — грозно крикнул ему отец. Он боялся, что сын опасно шлепнется на землю.

Сын занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться. Иначе от переутомления он сам мог грохнуться. Чтобы уберечь сына от падения, он остановил его, но именно потому и сам не рухнул, загнаный одышкой.

Через минуту игра продолжилась, и сын окончательно загнал отца, однако отец выиграл, на два очка опередив сына.

— Ну что, сынок, старый конь борозды не портит? — спросил он, обнимая его и целуя.

— Случайный выигрыш, — сказал сын и, не удержавшись, всхлипнул. Он уворачивался от отцовских поцелуев и одновременно прижимался к нему как к отцу, ища у него утешений. И отец вдруг почувствовал всем своим существом, что сын проникся к нему уважением.

— Ты играешь лучше меня, но у меня внимания больше, потому что меньше времени осталось, — сказал отец.

Он сразу же пожалел о своем сентиментальном объяснении. Как-то само сорвалось. Впрочем, сын навряд ли его понял.

— Завтра я выиграю всухую, — сказал сын с вызовом, приходи в себя.

— Посмотрим, — ответил отец, — но сегодня ты два часа считаешь.

— А что читать? — спросил сын.

— „Двенадцать стульев“ и „Золотой теленок“, — ответил отец, — начнем с этого. Ты ведь любишь юмор.

— Я эти фильмы двадцать раз смотрел по телевизору, — ответил сын.

— Это не фильмы, а книги прежде всего, — пояснил отец.

— Хорошо, — согласился сын, — но завтра я тебя разгромлю.

Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению.

Тут жена Георгия Андреевича позвала их обедать. Они сидели на кухне перед тарелками с пахучим, дымящимся борщом. Запах борща вдруг вызвал у Георгия Андреевича забытый аппетит. А может быть, воспоминание об аппетите.

— А наш отец еще ничего, — сказал сын матери с некоторым поощряющим удивлением, — но завтра я его расколошмачу.

После обеда сын послушно пошел читать в свою комнату. Георгий Андреевич чувствовал невероятную усталость. „Неужто вот так я его каждый день буду вынужден заставлять читать? — подумал он о предстоящем долгом лете. — Впрочем, — успокоил он себя, — будем считать, что это одновременно и борьба со старостью. Надо и завтра у него выиграть“.

---

---

## МАЛЬЧИК И ВОЙНА

Мальчик был уже в постели, когда друг отца вместе со своим взрослым сыном пришли к ним в гости. Звали его дядя Аслан, а сына звали Валико.

Это были гости из Абхазии. Мальчик три года подряд вместе с отцом и матерью отдыхал в Гаграх. Они жили у дяди Аслана. И это были самые счастливые месяцы его жизни. Такое теплое солнце, такое теплое море и такие теплые люди. Они там жили в таком же большом доме, как здесь в Москве. Но в отличие от Москвы там люди жили совсем по-другому. Все соседи — абхазцы, грузины, русские, армяне — ходили друг к другу в гости, вместе пили вино и вместе отмечали всякие праздники.

Если кто-нибудь варил варенье, или пек торт, или готовил еще что-нибудь вкусное, он обязательно угощал соседей. Так у них было принято. В доме все друг друга знали, а на крыше была устроена особая площадка, каких не бывает в московских домах, где соседи собирались на праздничные вечера.

И вот сейчас в Абхазии идет страшная война и люди друг друга убивают. Чего они не поделили, мальчик никак не мог понять. Сейчас возбужденные голоса родителей и гостей раздавались из кухни.

— Ты, кажется, воевал? — спросил отец мальчика у Валико. Валико было лет двадцать пять, он был лихим таксистом.

— Да, — охотно согласился Валико. — Вот что со

мной случилось. Когда мы ворвались в Гагры, я взял в плен двух грузинских гвардейцев. Отобрал оружие, веду на базу. А со мной рядом казак. Я вижу — эти гвардейцы сильно приуныли. Я им говорю:

— Ребята, с вами ничего не будет, вы пленные.

И вдруг один из них нагибается и вырывает из голенища сапога гранату. Я не успел опомниться, а автоматы у нас за плечами. Видно, отчаянный парень был, вроде меня. Одним словом, кидает гранату в меня, и они бегут. Граната ударила мне в грудь и отскочила. Слава Богу, на таком близком расстоянии она не взрывается сразу. Ей надо шесть секунд. Я прыгнул на казака, и мы вместе повалились на землю. Взрыв, но нам повезло. Осколки в нас не попали. Мне чуть-чуть царапнуло ногу. Вскакиваю и бегу за этими гвардейцами. Они, конечно, далеко убежать не успели. Забежал за угол, куда они повернули, и достал обоих автоматной очередью. Иду в их сторону и думаю, как это нам повезло, что гранатой нас не шарахнуло.

И вдруг вижу: двое — старик и молодой парень — выходят из дому, как раз в том месте, где лежат убитые гвардейцы. А на спине у них вот такие тюки. Перешагивают через мертвых гвардейцев и идут дальше. Я сразу понял, что это мародеры. Мы берем город, значит, наши мародеры.

— Бросьте тюки! — кричу им по-абхазски.

Молчат. Идут дальше.

— Бросьте тюки, а то стрелять буду! — кричу им еще раз.

Молодой оборачивается в мою сторону. А тюк за его спиной больше, чем он сам.

— Занимайся своим делом, — говорит он, и они идут дальше.

Я психанул. Мы здесь умираем, а они барахло собирают. Скинул свой автомат и дал им по ногам очередь. В старика не попал, а молодой упал. Я даже не

стал к ним подходить. Надо было в бой идти. Одним словом, Гагры мы отбили.

Проходит дней пятнадцать. Я вообще забыл про этот случай. Живу в гостинице. Все наши бойцы жили в гостинице. В тот день мы отдыхали. Вдруг вбегают ко мне сосед с нижнего этажа и говорит:

— Приехали за тобой вооруженные ребята. Все с автоматами. Духовитый вид у них. Может, помощь нужна?

— Не надо, — говорю, — никакой помощи.

Я вспомнил того, молодого, которого я в ногу ранил. Что делать? А на мне вот эта же тужурка была, что сейчас. Взял в оба кармана по гранате и выхожу. Руки в карманах. Гранат не видно. Готов ко всему.

Вижу — метрах в двадцати от гостиницы стоит машина. А здесь, у гостиницы, четыре человека. Все с автоматами.

Я подхожу к ним не вынимая рук из карманов.

— Что надо?

— Ты стрелял в нашего брата? Вот он здесь в машине сидит.

— Да, стрелял, — говорю и рассказываю все, как было.

Рассказываю, как нас чуть не взорвали гвардейцы и как их брат вместе со стариком тюки тащил из дома. Рассказываю, а сам внимательно слежу за ними. Чуть кто за автомат, взорву всех и сам взорвусь.

И они немного растерялись. Никак не могут понять, почему я, невооруженный, не боюсь их. Стою, руки в карманах, а они с автоматами за плечами. И тогда старший из них говорит, кивая на машину:

— Подойдем туда. Можешь при нем повторить все, что ты здесь сказал?

— Конечно, — говорю, — пошли.

Я иду рядом с ним, но руки держу в карманах. Подошли к машине. Тот, кого я ранил в ногу, сидит в ней. Я его узнал. И я повторяю все, как было, а этот



в машине морщится от злости и стыда. Окна в машине открыты.

— Правду он сказал? — спрашивает тот, что привел.

— Да, — соглашается тот, что в машине, и ругает в Бога, в душу мать своих родственников за то, что они его привезли сюда.

А у меня руки все еще в карманах.

— Что это у тебя в карманах? — наконец спрашивает тот, что привел меня к машине. Уже догадывается о чем-то, слишком близко стоит.

— Гранаты, — говорю, — не деньги же. Я воюю, а не граблю.

— Ты настоящий мужик, — говорит он, — мы к тебе больше ничего не имеем.

— Я к вам тоже ничего не имею, — отвечаю ему и иду вместе с ним назад, но руки все-таки держу в карманах.

Так мы и разошлись. Война. Бывают ужасные жестокости с обеих сторон. Но я, клянусь мамой, ни разу не выстрелил в безоружного человека. Эти двое не в счет. Я же психанул. Гранатой шарахнули в двух шагах.

— А почему ты не с автоматом вышел, а с гранатами? — спросил отец мальчика.

— Если бы я вышел с автоматом, — ответил Валико, — получилась бы бойня. А так они растерялись, не поняли, почему я их не боюсь. Я правильно рассчитал. Я был готов взорваться вместе с ними. И потому твердо и спокойно себя держал. Если бы они почувствовали мой мандраж, кто-нибудь скинул бы автомат. А так они растерялись, а потом было уже поздно.

— Ладно тебе хвастаться, — перебил его отец, — счастливая случайность тебя спасла и от гранаты гвардейца, и от родственников этого раненого. По теории вероятности, если два раза подряд повезло, очень мало шансов, что повезет в третий раз... Учти!.. А ты знаешь, что доктора Георгия убили?

Он явно обратился к отцу мальчика. У мальчика екнуло сердце. Он так хорошо помнил доктора Георгия. Тот жил в доме друга отца. После работы он выходил во двор и играл с соседями в нарды. Вокруг всегда толпились мужчины. Доктор Георгий громко шутил, и все покатывались от хохота.

Однажды доктор Георгий рассказал:

— Сегодня еду из больницы в автобусе. Вдруг одна пассажирка кричит: „Доктор Георгий, вас грабят!“ Тут я почувствовал, что парень, стоявший рядом со мной, шарит у меня в кармане. Я поймал его руку и говорю: „Это не грабеж, это медицинское обследование“. Автобус хохочет. Многие меня знают. Парень покраснел, как перец. Тут как раз остановка, и я разжал его руку. Он выпрыгнул из автобуса. Если вор способен краснеть, он еще может стать человеком.

— За что его убили? — спросил отец мальчика.

— Кто его знает, — ответил дядя Аслан. — Но он громко ругал и грузинских, и абхазских националистов. Я о случившемся узнал от нашей соседки. Тогда еще шли бои за Гагры, я места себе не находил, потому что не знал, мой сын жив или нет.

Двое вооруженных автоматами людей ночью вошли в наш дом и постучали в двери соседки. Она открыла.

— Нам нужен доктор Георгий, — сказали они, — он в вашем доме живет. Покажите его квартиру.

— Зачем вам доктор Георгий? — спросила она.

— У нас товарищ тяжело заболел, — сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий.

— Зачем вам доктор Георгий? — ответила соседка. — У меня только что умер муж. Он был болен и не выдержал всего этого ужаса. От него осталось много всяких лекарств. Я вам их дам.

Ей сразу не понравились эти двое с автоматами.

— Нам не нужны ваши лекарства, — начиная раздражаться, угрожающим голосом сказал один из

них, — нам нужен доктор Георгий. Он должен помочь нашему товарищу.

С каким-то плохим предчувствием, так она потом рассказывала, она поднялась на два этажа и показала на квартиру доктора. Сказать, что она не знает, где он живет, было бы слишком неправдоподобно для нашей кавказской жизни.

Показав им на квартиру доктора Георгия, она остановилась на лестнице, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но тут один из них жестко приказал ей:

— Идите к себе. Больше вы нам не нужны.

И она пошла к себе. Ночь. В городе еще идут бои. Одинокая женщина. Испугалась. Через полчаса она услышала, что внизу завели машину, раздался шум мотора и стих. Она решила, что это, скорее всего, они увезли доктора. Доктор с самого начала войны успел отправить семью в Краснодар. Он оставался жить с тещей.

Соседка снова поднялась на этаж, где жил доктор, чтобы у тещи узнать, куда они отвезли его и как с ним обращались. Стучит, стучит в дверь, но никто ей не отвечает. Думает, может, испугалась, затаилась. Громко кричит: „Тамара! Тамара!“ — чтобы та узнала ее голос. Но не было никакого ответа. И тут она поняла, что дело плохо. Эти двое с автоматами увезли доктора вместе с тещей. Если доктор им нужен был для больного, зачем им была нужна его теща, которая к медицине не имела никакого отношения? Она вернулась в свою квартиру.

На следующий день обо всем мне рассказала. А что я мог сделать? Спросить не у кого. Да и сам места себе не нахожу: не знаю, жив ли сын.

Но вот проходит дней пятнадцать. Бои вокруг Гагр затихли. Однажды стою возле дома и вижу — по улице едет знакомый капитан милиции. Увидев меня, остановил машину.

— Ты можешь признать доктора Георгия? — спрашивает, приоткрыв дверцу.

— Конечно, — говорю, — он же в нашем доме жил. А что с ним?

— Кажется, его убили, — отвечает капитан, — если это он. Поехали со мной. Скажешь, он это или не он.

Мы поехали на окраину города в парк. Там возле пригорка стоял экскаватор, а за пригорком валялись два трупа. Это был доктор Георгий и его теща. По их лицам уже ползали черви. Я узнал доктора по его старым туфлям со сбитыми каблуками.

— Это доктор Георгий и его теща, — сказал я.

Экскаваторщик уже вырыл яму.

— А почему не на кладбище похоронить? — спросил я.

— Столько трупов, мы с этим не справимся, — ответил капитан.

Он приказал экскаваторщику перенести ковшом трупы в яму.

— Не буду я переносить трупы, — заупрямился экскаваторщик, — у меня ковш провоняет.

Капитан стал ругаться с экскаваторщиком, угрожая ему арестом, но тот явно не хотел подчиняться. В городе бардак. Видно, капитан поймал какого-то случайного экскаваторщика.

Тут я подошел к экскаваторщику, вынул все деньги, которые у меня были, и молча сунул ему в карман. Там было около пятнадцати тысяч. Экскаваторщик молча включил мотор, перенес ковшом оба трупа в яму и завалил их землей.

Мальчик, затаив дыхание, слушал рассказ, доносящийся из кухни. Он никак не мог понять смысла этой подлой жестокости. Он пытался представить, что думал доктор Георгий, когда его вместе с тещей посадили в машину и повезли на окраину города. Ведь он, когда его вывезли из дому вместе с тещей, не мог не догадаться, что его везут не к больному. Почему он не кричал? Может, боялся, что выскочат соседи и тогда и их ждет смерть?

В сознании мальчика внезапно рухнуло представление о разумности мира взрослых. Он так ясно слышал громкий смех доктора Георгия. И вот теперь его убили взрослые люди. Если бы они при этом ограбили дом доктора, это хотя бы что-то объясняло. Мародеры. Но они, судя по рассказу друга отца, ничего не взяли и больше в этот дом не заходили.

Мальчик был начитан для своих двенадцати лет. Из книг, которые он читал, получалось, что человек с древнейших времен становится все разумнее и разумнее. Он читал книжку о первобытных людях и понимал, что там взрослые наивны и просты, как дети. И это было смешно. И ему казалось, что люди с веками становятся все разумнее и добрее. И теперь он вдруг в этом разуверился.

Уже гости ушли, родители легли спать, а он все думал и думал. Зачем становиться взрослым, зачем жить, думал он, если человек не делается добрее? Бессмысленно. Он мучительно искал доказательств того, что человек делается добрее. Но не находил. Впрочем, поздно ночью он додумался до одной зацепки и уснул.

Утром отец должен был повести его к зубному врачу. Мальчик был очень грустным и задумчивым. Отец решил, что он боится предстоящей встречи с врачом.

— Не бойся, сынок, — сказал он ему, — если будут вырывать зуб, тебе сделают болеутоляющий укол.

— Я не об этом думаю, — ответил мальчик.

— А о чем? — спросил отец, глядя на любимое лицо сына, кажется, осунувшееся за ночь.

— Я думаю о том, — сказал мальчик, — добреет человек или не добреет? Вообще?

— В каком смысле? — спросил отец, тревожно почувствовав, что мальчик уходит в какие-то глубины существования и от этого ему плохо. Теперь он заметил, что лицо сына не только осунулось, но в его больших темных глазах затаилась какая-то космиче-

ская грусть. Отцу захотелось поцелуем прикоснуться к его глазам, оживить их. Но он сдержался, зная, что мальчик не любит сантименты.

— Сейчас людоедов много? — неожиданно спросил мальчик, напряженно о чем-то думая.

— Есть кое-какие африканские племена да еще кое-какие островитяне, — ответил отец, — а зачем тебе это?

— А раньше людоедов было больше? — спросил мальчик строго.

— Да, конечно, — ответил отец, хотя никогда не задумывался над этим.

— А были такие далекие-предалекие времена, когда все люди были людоедами? — спросил мальчик очень серьезно.

— По-моему, — ответил отец, — науке об этом ничего не известно.

Мальчик опять сильно задумался.

— Я бы хотел, чтобы все люди когда-то в далекие-предалекие времена были людоедами, — сказал мальчик.

— Почему? — удивленно спросил отец.

— Тогда бы означало, что люди постепенно добреют, — ответил мальчик. — Ведь сейчас неизвестно, люди постепенно добреют или нет. Как-то противно жить, если не знать, что люди постепенно добреют.

„Боже, Боже, — подумал отец, — как ему трудно будет жить“. Он почувствовал всю глубину мальчишеского пессимизма.

— Все-таки люди постепенно добреют, — ответил отец, — но единственное доказательство этому — культура. Древняя культура имеет своих великих писателей, а новая — своих. Вот когда ты прочитаешь древних писателей и сравнишь их, скажем, со Львом Толстым, то поймешь, что он умел любить и жалеть людей больше древних писателей. И он далеко не один такой. И это означает, что люди все-таки,

хотя и очень медленно, делаются добрей. Ты читал Льва Толстого?

— Да, — сказал мальчик, — я читал „Хаджи-Мурата“.

— Тебе понравилось? — спросил отец.

— Очень, — ответил мальчик, — мне его так жалко, так жалко. Он и Шамилю не мог служить, и русским. Потому его и убили... Как дядю Георгия.

— Откуда ты знаешь, что доктора Георгия убили? — настороженно спросил отец.

— Вчера я лежал, но слышал из кухни ваши голоса, — сказал мальчик.

Отцу стало нехорошо. Он был простой инженер, а среди школьников, с которыми учился его сын, появилось немало богатых мальчиков, и сын им завидовал.

Взять хотя бы эту дурацкую историю с „мерседесом“. На даче сын его растрепался своим друзьям, что у них есть „мерседес“. Но у них вообще не было никакой машины. А потом мальчишки, которым он хвастался „мерседесом“, оказывается, увидели его родителей, которые ехали в гости со своими друзьями на их „Жигулях“. И они стали смеяться над ним. И он выдумал дурацкую историю, что папин шофер заболел и родители вынуждены были воспользоваться „Жигулями“ друзей.

Объяснить сыну, что богатство не самое главное в жизни, что в жизни есть гораздо более высокие ценности, было куда легче, чем сейчас. Сейчас сын неожиданно коснулся, может быть, самого трагического вопроса судьбы человечества: существует нравственное развитие или нет?

Он знал, что мальчик его умен, но не думал, что его могут волновать столь сложные проблемы. Хорошо было людям девятнадцатого века, неожиданно позавидовал он им. Как тогда наивно верили в прогресс! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны, значит, светлое будущее человечества обеспечено! Но

почему? Даже если человек и произошел от обезьяны, что сомнительно, так это доказывает способность к прогрессу обезьян, а не человека. Конечно, думал он, нравственный прогресс, хоть и с провалами в звериную жестокость, существует. Но это дело тысячелетий. И надо примириться с этим и понять свою жизнь как разумное звено в тысячелетней цепи. Но как это объяснить сыну?

Когда они вышли из подъезда, он увидел, что прямо напротив их дома в переулке стоит нищая старушка и кормит бродячих собак. Он ее часто тут видел, хотя она явно жила не здесь. Нищая хромая старушка на костылях кормила бродячих собак. Она вынимала из кошелки куриные косточки, куски хлеба, огрызки колбасы и кидала их собакам.

У него не было никаких сомнений, что старушка все это находит в мусорных ящиках. Она с раздумчивой соразмерностью, чтобы не обделить какую-нибудь собаку, кидала им объедки. И собаки, помахивая хвостами, с терпеливой покорностью дожидались своего куска. И ни одна из них не кидалась к чужой подачке. Казалось, что старушка, справедливо распределяя между собаками свои приношения, самих собак приучила к справедливости.

— Вот посмотри на эту старушку, — кивнул он сыну, — она великий человек.

— Почему, почему, па? — быстро спросил сын. — Потому что она кормит бродячих собак?

— Да, — сказал отец, — ты видишь, она инвалид. Скорее всего, одинокая и бедная, но считает своим долгом кормить этих несчастных собак. Где-то мерзавцы убивают невинных людей, а тут нищая старушка кормит нищих собак. Добро неистребимо, и оно сильнее зла.

Теперь представь себе злого человека, который всю свою жизнь травил бродячих собак. Но вот он сам встал в нищету, стал инвалидом и роется в мусорных ящиках, чтобы добывать объедки и, сунув в них яд,



продолжать травить бродячих собак. Если бы это было возможно, мы могли бы сказать, что добро и зло равны по силе. Но можешь ли ты представить, что злой человек в нищете, в инвалидности роется в мусорных ящиках, чтобы травить собак? Можешь ты это представить?

— Нет, — сказал мальчик, подумав, — он уже не сможет думать о собаках, он будет думать о самом себе.

— Значит, что? — спросил отец с жаром, которого он сам не ожидал от себя.

— Значит, добро сильнее, — ответил мальчик, оглянувшись на увечную старушку и собак, которые со сдержанной радостью, виляя хвостами, ждали подачки.

— Да! — воскликнул отец с благодарностью в голосе.

И сын это мгновенно уловил.

— Тогда купи мне жвачку, — вдруг попросил сын как бы в награду за примирение с этим миром.

— Идет, — сказал отец.

---

## ВЕСЕЛЫЙ УБИЙЦА

Я работал в комиссии по помилованию. Среди прочих безумных дел, там было и такое.

Одной женщине вконец надоели пьянки мужа, скандалы, погромы, побои, которые он учинял в пьяном виде. После этих пьянок он на несколько дней становился тихим и послушным, как ягненок, и быстро приводил в порядок свой разгромленный дом. У него были золотые руки. Но через неделю все повторялось. И это ей надоело, и она решила, что мужа надо убить.

Сама она по каким-то причинам не могла пойти на такое и наняла сравнительно молодого соседа, чтобы он убил ее мужа. Тот охотно согласился, и они быстро обо всем договорились. Она обещала заплатить за убийство четыреста рублей. Нешуточные деньги. По тем временам это была трехмесячная зарплата среднего служащего.

И вот сосед приходит к ним в гости. Видимо, они были хорошо знакомы, потому что муж этой женщины не удивился его приходу. Хозяйка выставила достаточно обильную закуску и выпивку. Она как бы устроила поминки по мужу с его участием. И муж был очень доволен ее щедростью. И вот сидят они с этим сравнительно молодым человеком и весело выпивают.

Муж весел, а сосед еще веселее. Через некоторое время, воспользовавшись моментом, когда эта жен-

щина вышла в другую комнату, сосед подкатил к ней и сообщил, что он уже вполне готов убить ее мужа. Но она ему осторожно отвечала, что еще рано, что муж ее еще недостаточно пьян.

Видимо, этот сосед еще никогда никого не убивал, и ему было очень интересно посмотреть, как это происходит. А может быть, он спешил получить деньги. Теперь это уже нельзя установить. Так или иначе, этот сосед проявлял редкую услужливость. Он несколько раз поспешал в другую комнату, когда жена пьяницы туда выходила, и торопил хозяйку дать разрешение на убийство.

Однако хозяйка дома оказалась довольно степенной разумницей и говорила, что надо еще подождать, что муж ее еще недостаточно пьян. Возможно, она даже жалела мужа и считала, что операция должна пройти под хорошим наркозом. Кто его знает?

И кто его знает, почему так спешил молодой сосед. Может, он намеревался в этот вечер пойти в кино с любимой девушкой. Мы ничего не знаем об этом. Мы только знаем, что он был весел и спешил.

Наконец муж этой женщины опьянел настолько, что она его уложила в постель. После этого она еще несколько раз останавливала молодого человека, рвущегося в комнату, где лежал ее муж. Она его отталкивала от дверей. Она его уговаривала, что надо подождать, что муж ее еще не уснул.

Муж ее в самом деле, вопреки свойству нормального пьяницы мгновенно засыпать, добравшись до кровати, а иногда и не добравшись, достаточно долго не засыпал.

Возможно, он что-то заподозрил. Возможно, он даже приревновал жену к этому молодому человеку с его беготней в другую комнату. Вероятно, он ждал, что они будут делать, когда он уснет. Вероятно, он притворился спящим, но забыл, что при этом надо храпеть. Жена точно знала, что он, как только засыпает, начинает храпеть. Но и его можно понять. Че-

ловек так устроен, что слышит все, кроме собственного храпа. Тем более что он был пьян. Поэтому жена, входя в комнату, легко угадывала, что он еще не уснул.

— Еще не храпит, — в очередной раз сообщила она молодому человеку.

И тот не выдержал.

— Не храпит, так захрипит! — воскликнул молодой человек, по-видимому, не лишенный филологических склонностей, и, ворвавшись в комнату, зарезал ее мужа. После этого они уволокли его труп в подвал и там закопали его. Однако через несколько дней степенная разумница поссорилась с молодым человеком. И она какую-то часть денег недоплатила ему. Она обвинила его в том, что, пользуясь суматохой с убийством, он спер ее кухонный нож, с тем чтобы, выкинув свой, обогранный убийством, в дальнейшей жизни пользоваться ее невинным ножом.

И между ними возник конфликт. Молодой человек был обижен на эту женщину. И видимо, вследствие своей горичности где-то проговорился, что она, вероломно нарушив договор, недодала ему положенные деньги. Не исключено, что при этом он был достаточно осторожен и не уточнял, за что именно бедная вдова платила ему.

Но слухи об этой жалобе дошли до милиции. И она обратила внимание на то, что муж этой женщины сначала как-то притих, а потом совсем исчез, а молодой сосед требует от вдовы какие-то деньги.

Их обоих арестовали. Сделали обыск и под кроватью покойного мужа нашли кухонный нож. Но тщательный анализ как лезвия, так и ручки ножа показал, что муж убит не этим ножом. Однако наличие его под кроватью подтверждает нашу догадку о том, почему так долго не засыпал муж. Возможно, он был убит в тот миг засыпания, когда рука с ножом разжалась, но до храпа еще не дошло.

Обоих допрашивали, и они в конце концов во всем признались. Вернее, молодой человек, откуда-то уз-

нав, что под кроватью мужа нашли кухонный нож, пытался утверждать, что он убил мужа этой женщины в порядке самообороны. Но следователь милиции метко заметил ему, что договор с женой убитого приходит в явное противоречие с самообороной.

И тогда после некоторых раздумий он стыдливо признался, что у него был вариант обмануть эту женщину и, не убивая мужа, ограничиться выпивкой на дармовщину. Но муж ее, долго не засыпая, привел его в ярость, и он позабыл о своем запасном варианте. Тем более что сам был пьян.

Степенная разумница на суде утверждала, что она в последний момент покаялась в своем замысле и пожалела своего мужа. И что она несколько раз пыталась остановить молодого человека, но тот оказался чересчур нахальным, и она уже не могла, учитывая ее преклонный возраст, его остановить. Единственное, что она могла сделать, — это продлить жизнь мужа на несколько часов. И она это сделала. По этому поводу она просила суд смягчить ее участь.

Письмо молодого человека с просьбой снизить суровый срок наказания пришло к нам в комиссию вместе с материалами судебного дела. Письмо было сентиментальным и глупым. Комиссия оставила в силе решение суда.

Находясь в комиссии по помилованию, я удивился одному обстоятельству, о котором не подозревал: оказывается, самое страшное оружие в России — это кухонный нож. Большинство убийств у нас происходит на кухне при помощи кухонного ножа.

Не знаешь, чему больше удивляться — низкому уровню человеческих отношений или высокому качеству кухонных ножей. Можно подумать, что российские власти уделяют особое внимание качеству кухонных ножей. Или это грозный, прощальный отблеск былых рекордов по выплавке чугуна и стали?

Муж убивает жену кухонным ножом. Нередко и жена убивает мужа кухонным ножом. Дружки во вре-

мя пьянки затевают дискуссию о смысле жизни, и тот, кто раньше успел исчерпать свои аргументы, хватается кухонный нож и убивает своего более основательного собутыльника. Таков наш естественный отбор. И видно по материалам дела, что за пять минут до трагического исхода никто никого не собирался убивать.

Так что наш молодой человек в известной мере, можно даже сказать, теоретик. Правда, замысел убийства ему был подсказан, но он целых две недели держал его в голове, обкатывал и даже придумал парадоксальный вариант. Я почему-то уверен, что у него и в самом деле был вариант выпить на дармовщину и уйти под каким-нибудь предлогом. Но соблазн и любопытство оказались сильнее.

Кстати, страсть к зачатию и страсть к убийству философски связаны. У некоторых насекомых, далеко не столь степенных, как наша разумница, говорят, они сочетаются. К тому же обе эти страсти возгораются от выпивки. Так что окажись наша разумница помоложе и помиловиднее, мог бы осуществиться третий вариант. Но в таком случае мог сработать и тот самый кухонный нож. Так что, куда ни кинь — везде клин.

В мировой литературе немало великих и страшных книг о том, что происходило в голове убийцы. Но самая страшная книга еще не написана. Это книга о том, что в голове убийцы ничего не происходило. Такую книгу трудно написать, но стоило бы.

---

---

## ЗОЛОТО ВИЛЬГЕЛЬМА

Это случилось в брежневскую эпоху. Сравнительно молодой историк Заур Чегемба (сравнительно с кем?) в сравнительно веселом настроении (сравнительно с чем?) влез в пригородный поезд, мчавшийся в Москву. Субботу и воскресенье он провел на даче своего друга. Там он хорошо поработал и отдохнул и теперь к вечеру возвращался в Москву. День выдался необычайно жарким, и, хотя вечерело, жара не спадала.

Вагон электрички, в который он влез, был переполнен, и духота в нем стояла невероятная. Не только все места были заняты, но и все проходы были забиты. Но как раз когда он входил в вагон, один из пассажиров, стоявший у приоткрытого окна слева от входа, стал протискиваться к выходу, и Заур, несколько стыдясь вороватости своего намерения, протиснулся навстречу и встал на его место рядом с женщиной с тихими, усталыми глазами.

Поезд с грохотом рванулся дальше, стоявшие в проходах пошатнулись, но все цепко удержались на ногах. Заур тоже употребил немалые усилия, чтобы не притолкнуться к женщине, стоявшей рядом с ним.

Это был обычный летний воскресный вагон электрички. Все москвичи, которым было куда выехать из душного города, теперь возвращались домой. В вагоне было много пьяных, достаточно крикливо

настроенных, были и такие, которые запаслись бутылками для опохмелья и сейчас мирно и даже благостно попивали из горла: после водочной пахоты — винный отдых. Еще больше было похмельных мужиков, которым было нечем опохмелиться и потому исполненных раздражения и ненависти ко всем остальным пассажирам.

При всем при этом среди пассажиров было немало женщин, прижимавших к груди детей или букеты с полевыми цветами. Многие читали книги. Среди них были и такие, которые, покачиваясь по ходу поезда, стоя в проходах, упорно продолжали читать.

Среди читавших явное большинство составляли женщины. Глядя на все это и как бы мысленно охватывая всю эпоху, Заур подумал: мужчины дичают быстрее. Гнет исторического бездействия в основном ложится на мужчин, думал Заур, потому они так много пьют, чтобы забытья, чем еще больше усугубляют свою общественную анемичность.

В дальнем конце вагона какая-то молодежная компания, явно под градусом, пела песни о скитаниях по тайге, о долгих зимах, о людях, оторванных судьбой от семьи и Большой земли.

Можно было подумать, что это фольклор, созданный заключенными, но на самом деле эти песни, за редким исключением, сочиняли вполне интеллигентные геологи, мореплаватели и вообще люди скитальческих профессий.

От злой тоски не матерись,  
Сегодня ты без спирта пьян.  
На материк, на материк  
Ушел последний караван.

Пели ребята, скорее всего не подозревая, что эту песню создал известный океанограф и поэт. Заур случайно был с ним знаком. Этот океанограф, изобродивший все океаны Севера и Юга, однажды на севере в ресторане услышал свою песню, которую пели



рядом с ним за столиком. Он не удержался и признался поющим, что это его песня. В ответ он не только не услышал благодарности, но его чуть не зарезали.

— А ты сидел? — спросил у него один из певших.

— Нет, — искренно признался он, но лучше бы не признавался.

Последовал буйный взрыв негодования, а один из них все рвался расправиться с ним. Его едва удержали.

— Это наша песня! — кричал он. — Тех, что получали срока! Может, автор ее гниет под Магаданом, а ты, надла, присвоил его песню.

В сущности говоря, это был комплимент, который чуть не стоил ему жизни. Песня действительно прекрасна. Вообще, давно замечено, что в России интеллигенция и народ охотно поют фольклор заключенных и песни, написанные в духе этого фольклора.

Тюремная тоска в условиях тоталитарного режима понятна и близка всем. Она близка даже тем, кто сам поддерживает этот режим. По-видимому, во время звучания этих песен они тоже чувствуют себя жертвами исторических обстоятельств.

Поезд грохотал в сторону Москвы, и машинист, словно сам был пьян, резко тормозил на станциях и резко набирал скорость. Хотя некоторые окна были открыты (остальные невозможно было открыть), духота в вагоне принимала взрывоопасный характер. И эта взрывоопасность исходила в основном не от пьяных, а от похмельных, которым нечем было опохмелиться. Видимо, они пили в субботу, пили в воскресенье с утра и теперь, трезвея, были исполнены тихой ярости. Сжатые сосуды жаждали расширяться, хотя бы за счет мускульного напряжения.

Через какое-то время Заур вдруг обратил внимание на то, что некий человек, стоявший в нескольких шагах от него в проходе, уставился на него ненавидящими глазами. На вид ему было лет тридцать

пять, он был высок, в аккуратном сером пиджаке и почему-то, несмотря на жару, в мягкой шляпе.

Судя по лицу, он был простым рабочим. Но шляпа его несколько возвышала над представлением о простом рабочем. Может быть, он был бригадиром или начальником цеха. Высокий, он смотрел поверх людских голов, как поверх станков. Но теперь он уставился на Заура, как бы обнаружив в этом станке злокачественную неисправность.

Он тоже был в состоянии похмельного раздражения, но почему он избрал своей мишенью Заура, было непонятно. То ли по чертам лица Заура было видно, что он кавказец, то ли потому, что он в руке держал кейс, и это выдавало в нем интеллигента. В те времена люди неинтеллигентных профессий такие чемоданчики не носили. Скорее всего, и то и другое удваивало его злобу.

После одной особенно резкой остановки, когда стоявшие в проходах сильно покачнулись, а кое-кто, вскрикивая, даже свалился, Заур так шатнулся в сторону женщины, что чуть не коснулся ее, однако же, изо всех сил спружинив ногами, все-таки не коснулся. И тут человек в шляпе дал выход своей ярости.

— Что ты навалился на женщину, паскуда, — крикнул он, побелев глазами, — не видишь, что женщина беременна?!

— Я ни на кого не навалился, — ответил Заур, — нечего кричать.

Заур посмотрел на женщину. Если она и была беременна, это было незаметно. Лицо женщины выражало стыд и страдание. Она умоляюще посмотрела на человека в шляпе.

— Уймись, Паша, — тихо сказала она, — на меня никто не наваливался.

— Я же видел своими глазами, что навалился, — крикнул человек в шляпе, —... их мать, понаехали сюда!

— Паша, — страдальчески вырвалось у женщины.

У Заура все внутри похолодело. Матерную ругань в свой адрес он никогда не мог выдержать. Но и ответить ему тем же, здесь, в присутствии женщин, он не мог.

— Попридержи язык, здесь женщины, — только и сказал Заур.

— Я тебе попридержу язык, чучмек, только сойдем с поезда, — прохрипел человек в шляпе и снова матерно выругался.

— Паша, перестань, — опять тихо взмолилась женщина.

Заур оглиделся. Некоторые пассажиры с открытым любопытством следили, что будет дальше. Те, что читали, в основном сделали вид, что так увлечены текстом, что ничего не замечают. „Читать, — с горечью подумал Заур, — это способ заглядывать в случившуюся жизнь, чтобы замаскироваться книгой от окружающей жизни. Читающий книгу во время преступления как бы юридически находился в другой жизни“.

А некоторые из пассажиров с комическим оценением уставились в одну точку, словно застигнутые необыкновенной мыслью, уносящей их в потусторонние сферы. Но они-то как раз внимательнее всех прислушивались к развитию скандала: оценение лица выдавало сосредоточенность ушей.

Заур стоял ни жив ни мертв. Этот тип в шляпе явно хотел подраться, но такое Заур никак не мог себе позволить. Дело в том, что в кейсе у него лежали необыкновенные документы, которые не позволяли ему рисковать. Это были подробные выписки из жандармских докладов. Ища совсем другие материалы, он случайно наткнулся на них в одном из московских архивов. Это были доклады о связи Ленина с вильгельмовским золотом. Слухи о деньгах Виль-

гельма в помощь большевистской революции ходили всегда. Но точно об этом ничего не было известно.

Заур верил, что это могло иметь место. И его удивляла ярость, с которой большевики всегда отрицали эти слухи. Казалось бы, по логике самой мировой революции, начатой в России, не должно было видеть в этом большую аморальность. То, что творилось во время революции и после революции в самой России, было в тысячу раз аморальнее. Но этого большевики не отрицали, считая все жестокости, царившие в стране, естественным следствием революционного правосознания. Но слухи о золоте Вильгельма в помощь революции всегда рассматривались как злобная клевета, и заикнуться об этом было нельзя.

И вдруг Заур наткнулся на документ, где перечислялись суммы выданных денег, конкретные немецкие чиновники, которые выдавали эти деньги, и конкретные революционеры, через которых деньги проникали в Россию. И даже прослеживалось несколько путей путешествия этих денег.

И как раз сейчас, находясь на даче друга, он писал об этом статью. Разумеется, он понимал, что ее никто сегодня не опубликует и было бы самоубийственно показывать ее в какой-нибудь журнал. Но он был уверен, что эра большевиков кончается и он еще застанет другую эпоху, где его статья пригодится, хотя и тогда не всем понравится.

Главная мысль статьи заключалась в том, что большевикам с самого начала было присуще имперское сознание, хотя сами они этого не понимали. И потому, отрицая патриотизм, согласно своей формальной доктрине, они с псевдопатриотическим неистовством всегда отрицали золото Вильгельма, хотя чудовищный свой террор легко оправдывали как историческую необходимость. И поэтому, по иронии истории, большевики, сокрушившие одряхлевшую империю, объективно были единственной силой, способной ее воссоздать. Империя для своего

сохранения нуждалась в новой вывеске, чтобы оправдать новую энергию соединяющего гнета. И то и другое она получила от большевиков. И поэтому, отрицая золото Вильгельма, большевики, сами того не осознавая, проявляли имперское самолюбие, а не революционное.

И вот выписки из этих жандармских документов и черновик статьи лежали у него в кейсе. И он понимал, что никак не может рискнуть вляпаться в какую-нибудь историю, иначе кейс его попадет в милицию, а оттуда, конечно, в КГБ. И сейчас чувство оскорбленной чести и чувство самосохранения разрывали душу Заура. Но чувство самосохранения побеждало и, чем явнее оно побеждало, тем сильнее он ощущал свою униженность и презрение к себе.

Но этот тип в шляпе, конечно, по-своему понимал его сдержанность и всю дорогу его оскорблял, и люди, сидевшие и стоявшие вокруг, с подлым любопытствующим нейтралитетом прислушивались к нему. И только время от времени раздавался горестный голос женщины, стоявшей рядом с Зауром:

— Паша, отстань! Паша, прекрати! Замолчи, Паша!

Но голос его жены, конечно, эта женщина была его женой, его как будто подхлестывал. Он как бы говорил жене: „Ты видишь, ты видишь, как этот интеллигентшишка отступает!“

О, если бы Заур был свободен! Он в юности занимался боксом и знал, что такое его удар справа! Но Заур изо всех сил сдерживался, хотя время от времени что-то ему отвечал. Но он все время помнил, что дело никак нельзя доводить до драки: кейс попадет в руки милиции! И тогда затаскают или посадят!

Если хотя бы не было черновики его статьи, исключавших всякое оправдание выписок из жандармских докладов!

А человек в шляпе все продолжал его оскорблять. И вдруг откуда-то из середины вагона вы-

сунулся какой-то парень в голубой футболке, обтягивающей его мощные мускулы, и крикнул человеку в шляпе:

— Замолчи, падло, или я из тебя котлету сделаю!

Голос его благоуханным маслом омыл душу Заура.

— Я сам из тебя котлету сделаю, — крикнул в ответ человек в шляпе, — еще русский называется! Из-за таких мандавошек, как ты, они нам на голову сели!

— Ты сегодня так от меня не уйдешь! — крикнул парень и пригрозил ему кулачищем. У него было широкое разгоряченное лицо, и чувствовалось по глазам, что он еле-еле себя сдерживает.

— Иди, иди, целуйся с ним, пидор! — крикнул человек в шляпе.

В отличие от парня в футболке, явно горячившегося, человек в шляпе сохранял какую-то злобную невозмутимость. Никакой жестикуляции. Все это время он был неподвижен. Он сейчас и на этого парня смотрел как бы поверх станков.

— Папа, прекрати, — опять взмолилась женщина, стоявшая рядом с Зауром.

— А вот за это еще отдельно получишь! — крикнул парень в футболке и опять, сотрясаясь всем телом, пригрозил ему кулачищем.

— Это еще посмотрим, кто получит, — ответил человек в шляпе и покрепче надвинул ее на голову. Единственный жест.

Однако теперь он перестал обращать внимание на Заура. Поезд грохотал и грохотал в сторону Москвы под неугомонные песни молодежи в том конце вагона, где, конечно, не знали о том, что случилось здесь.

До Москвы оставалась еще одна остановка, и Заур немного успокоился, покрепче сжимая свой кейс. „Я тоже хорош, — думал он о себе с отвраще-

нием, — протиснулся к окну, хотя на это имели право те, кто раньше вошел в вагон. Вероятно, ничего бы не случилось, если бы я не стоял рядом с его женой. И как можно жить, считая себя порядочным человеком, после таких оскорблений“, — уныло думал он. И все-таки одновременно с этим он был доволен, что кейс не попал в чужие руки. Кроме всего, и документ было жалко: такой редкий, такой неожиданный.

Наконец поезд подъехал к московскому вокзалу. Толпа со страшной силой еще до остановки поезда стала напирать в сторону выхода. Уже потеряв из виду обидчика, весь излупцованный пережитым, выжатый толпой, Заур оказался на перроне. И вдруг перед ним завихрилась новая толпа, из которой одни выбегали, а другие вбегали. И он, вспомнив все, ринулся в толпу.

Спортивный парень в голубой футболке дрался с человеком в шляпе. Это было жуткое по своей беспощадности зрелище. Парень в футболке несколько раз налетал на человека в шляпе, и смачный стук ударов звучал над толпой.

И более всего Заура поразила смертельная ненависть с обеих сторон. Казалось, оба всю жизнь жаждали увидеть друг друга, чтобы убить друг друга. Ни тот ни другой несколько не заботились о защите и только стремились ударить поразмашистее. И еще более поразило Заура, что человек в шляпе ничуть не уступал этому молодому парню с мощными мускулами под футболкой.

Какие-то люди, мгновениями выскакивая из толпы, пытались их растащить, но они оба вырывались из рук и налетали друг на друга. И уже в ход пошли даже ноги.

Какая-то женщина внезапно выскочила из толпы и, пытаясь удержать парня в футболке, обеими руками спереди обняла его. Видно, она была близка ему, так обхватить чужого человека посторонняя женщина не решилась бы.

Человек в шляпе, подлейшим образом воспользовавшись этим, успел крепко врезать парню в футболке. Тот ринулся вперед, женщина отлетела, и парень в футболке нанес противнику два сокрушительных удара. Заур был уверен, что тот сейчас грохнется на перрон, но тот даже не пошатнулся, и, главное, шляпа почему-то держалась на его голове, как будто была прибита к ней гвоздем. Хотя человек в шляпе мощно размахивал руками, тело его оставалось прямым и неподвижным, а лицо хладнокровным. А парень в футболке был горяч, гибок, спортивен, но, вероятно, он не тем видом спорта занимался.

Заур заметил, как этот парень несколько раз терял драгоценные секунды на размашистые удары там, где нужно было бить коротким прямым в подбородок.

И как Заур ни болел за этого парня в футболке, который из-за него затеял драку, он вынужден был признать, что это бой равных. И более всего в этой драке поражала сила ненависти противников друг к другу и совершенно необъяснимая устойчивость шляпы на голове этого оболтуса.

Внезапно раздались возгласы: „Милиция! Милиция!“ — и трель милицейского свистка прорезала воздух. Толпа вместе с дерущимися мгновенно разорвалась на клочья. Заур пошел в сторону метро. Через несколько шагов он увидел двух милиционеров, бодро шагающих к месту драки, где драки уже не было. И вдруг в толпе впереди себя Заур увидел этого тина в шляпе, преспокойно идущего рядом со своей женой. Заур остановился и, когда тот затерялся в толпе, пошел дальше.

Спускаясь в метро, он неожиданно на лестнице заметил того парня в голубой футболке. Лицо его было все еще разгоряченным, а глаза так и рыскали по проходящей толпе. Заур подошел к нему и поблагодарил его.



— Ладно, идите, идите! — вдруг сказал парень с оттенком раздражения. — Я жену потерял!

После этого, не говоря ни слова, он рванул вниз в метро, то ли ища жену, то ли пытаясь скрыться от милиции.

Слова парня совсем раздавили Заура. Он почувствовал новый приступ унижения и боли. И теперь унижение было горше, чем унижение от этого верзлы в шляпе. Оно было изощреннее и потому больней. В его словах Заур почувствовал оттенок брезгливости из-за того, что Заур сам не вступил в драку, в которую вынужден был вступить этот парень да еще в суматохе потерял жену. Вечно приходится защищать вас, интеллигентов, как бы хотел он сказать. Проклятый кейс! Но разве объяснишь!

Заур был так раздосадован, что не захотел идти в метро, боясь снова там с ним встретиться. Он поднялся на площадь. Издали по очереди определив место стоянки такси, он подошел туда и в полутьме стал за последним человеком, все еще мучаясь унижительной встречей с этим парнем. И уже за ним заняли очередь, когда он, как в страшном сне, разглядел, что впереди него, как ни в чем не бывало, стоит тот мерзавец в своей непотопляемой шляпе. Никаких следов драки на его одежде не было видно.

И вдруг Заур почувствовал всю тупиковость возникшего положения: оставаться унижительно, и уходить унижительно. Заур смотрел ему в спину и поражался — ни малейшего смущения случившимся его фигура не выражала: процветающий, солидный мастеровой в шляпе, вместе с женой после воскресного отдыха возвращается в город. Обратите внимание, не в метро или троллейбусе, а в такси!

Заур минут пятнадцать стоял в медленно движущейся очереди, никак не решаясь, что ему делать: достоять очередь или все-таки идти в метро? И главное — оба решения казались ему трусливо-унижительными.

Стоять здесь за ним, а рано или поздно тот заметит его присутствие, как бы означало — ничего особенного не случилось. Только забавное совпадение: ехали в одном вагоне и, не сговариваясь, оказались в одной очереди. Бывает! Бывает! Мерзость!

А уходить как бы означало — навсегда оставить поле боя за ним. Когда они совсем приблизились к стоянке, Заур заметил расторопного и грозного распорядителя, который спрашивал у очереди, кому куда ехать, и, если находился попутчик уже сидевшему в такси, он его туда почти заталкивал, и машина уносилась. Зауру представилось, что он окажется попутчиком верзилы и его распорядитель будет заталкивать в занятое ненавистной шляпой такси!

Такого он не мог вынести и поплелся в метро, чувствуя спиной, что покинул поле сражения, и все больше и больше ненавидя свой кейс. „И зачем я так испугался за него, — думал сейчас Заур. — При моем знании техники бокса, пять — десять секунд, поймал на удар, и он обязательно завалился бы, даже если бы шляпа и не слетела с него. Так и завалился бы? А где же был бы в это время мой кейс? Нет, — поправляя он себя, — если б я его свалил, толпа отдала бы меня в руки милиции, и там бы обязательно проверили мой кейс, если бы, конечно, он к этому времени сохранился. Куда ни кинь — везде клин“.

Он спустился в метро. Толпа, прибывшая с пригородными электричками, схлынула, и перрон с той стороны, куда он ехал, был почти пуст. Какая-то очень стройная девушка в джинсах и черной рубашке с закатанными рукавами стояла метрах в десяти от Заура, а к ней приставал и приставал какой-то высокий парень и что-то ей говорил. Девушка очень дерзко отворачивалась от него, делала несколько шагов в сторону, но он не отставал от нее. „Что-то будет, — вдруг подумал Заур. — И опять верзила!

Слава Богу, хотя бы без шляпы и без всякого головного убора“.

Наконец девушка, заметив Заура, точнее, обратив внимание на то, что он стоял с кейсом, демонстративно пошла в его сторону и встала рядом с ним: интеллигент защитит. Так это понял Заур и понял благодарно. Кроме стройной фигуры у нее были хорошие черты лица и волнующие, режущие холодной силой очень синие глаза. Парень опять подошел к ней и, наклоняясь к ее лицу, стал опять ей что-то нашептывать.

— Отстань, мерзавец! — громко сказала девушка и повернулась к Зауру, сладостно резанув его душу своими синими льдинками глаз.

И вдруг этот парень как-то странно, плечом, вроде поворачиваясь уходить, вроде случайно, но резко и неожиданно толкнул ее, и девушка беспомощно забалансировала в воздухе, уже почти вся за перроном, еще мгновение — и рухнет в грохот налетающего поезда. Ее спасла почти от верной смерти молниеносная спортивная реакция Заура. Он выбросил руку вместе с плечом вперед, как при прямом ударе в боксе, поймал ее за волосы и водворил на перрон.

— Что ты делаешь, сволочь! — не своим голосом заорал Заур.

— Заткнись, сука, а то сейчас пришью на месте! — почти на ухо прошипел ему парень, обдав его смрадным дыханием.

Что-то взорвалось в груди у Заура! На сегодня это был невысказанный перебор!

Вместе с налетающим поездом на него налетела волна хладнокровия, как в юности перед дракой. Открылась дверь вагона. Девушка смотрела на Заура глазами спасенного зверька. Заур всучил ей свой кейс и почти втолкнул в вагон.

— Телефон есть? — крикнул он.

— Есть! — вздрогнула она, оживая, и назвала ему свой телефон.

— Я позвоню и приду за ним! — крикнул Заур.

Дверь захлопнулась. Девушка прильнула к стеклу, и поезд стал медленно набирать скорость, а потом загрохотал, и все стихло.

Дождавшись, когда телефон отпечатался в голове, Заур повернулся к этому парню. Давно он не чувствовал в себе такую полноту юношеских сил!

Это был высокий монголовидный парень. Лицо его источало презрение деревянного идола. Глаза были мутными. Возможно, он был под балдой. Заур никогда не встречал таких высоких людей этой расы. О, если б тот тип в шляпе увидел, как он будет колошматить этого парня! Да и тому в футболке не помешало бы!

— Идем, подонок! — твердо сказал Заур и взял его рукой за предплечье. Он с удовольствием почувствовал, что оно вялое.

— Брось руку! Ты что, мент?! — истерично крикнул парень и задергался.

— Спокойно, спокойно, — сказал Заур, еще сильнее облапив его руку и окончательно успокаиваясь, — ты ведь, подлец, чуть девушку не убил!

Он его уже вел из метро, и тот довольно послушно шел рядом.

— А ты докажи, что я толкнул, — завизжал парень, — а ты думаешь, я не знаю, что ты в чемоданчике чувихе передал?! Знаю! Все знаю!

— А что в нем? — спросил Заур дрогнувшим голосом. Он не мог скрыть волнения: почему парень заговорил о содержании кейса? Парень заметил его волнение.

— Что, мандраж? — усмехнулся он, продолжая вышагивать рядом с Зауром, — наркота у тебя в чемоданчике. Вот что! Ты боялся, что, если мы подеремся, менты заберут твой чемоданчик и ты получишь срок. Но ты его и так получишь. Чувиха свое дело знает — настучит.

И вдруг Заур почувствовал, что у него крыша поехала. „Гениальная провокация, чтобы тихо присвоить мой кейс! Каскад провокаций! Сначала в поезде, чтобы я в драке потерял свой кейс. Я же по телефону сказал товарищу, каким поездом возвращаюсь в Москву. Но драка со мной не получилась, я отстранился, но выскочил непредусмотренный парень в футболке! Этот верзила в шляпе был, конечно, чекист. Вот он и смотрел поверх людей, как поверх станков. Вот почему он так спокойно уходил почти на глазах милиции. И сразу последовала следующая провокация в метро. Кто-то следил за мной. Такого типа парни к столь хорошо выглядящим девушкам так не пристают. И невинная девушка с хулиганом все-таки так дерзко не разговаривает. Но ведь не могли они ею пожертвовать, ведь она чуть не свалилась на рельсы? Все-таки — чуть. Тысячи раз отработанный прием! Тоже мне девушка на шаре! Девушка на земном шаре! Потрясающе, как все точно выстраивается! И как был взволнован после драки тот парень в футболке и как был спокоен тот тип в шляпе!

Наркота! Так вот в чем дело! Ни о каком золоте Вильгельма, ни о каких выписках со мной не будут разговаривать! „Ваш кейс?“ — „Да, мой! Посмотрите, что внутри?“ — и откроют кейс, наполненный ампулами или наркотиками в облатках или черт его знает в чем!“ Он точно знал, что так много раз бывало во время обысков в квартирах правозащитников. Чекисты подсовывали наркотики куда-нибудь между книг, а потом якобы их обнаруживали.

Заур никогда в жизни не видел наркотиков. Впрочем, однажды был такой случай. Он был в гостях у одного пианиста.

— Хочешь, попробуй сигареты с травкой, — сказал тот и ткнул рукой в сторону стола, где возле пепельницы лежало несколько сигарет. Руки гостей потянулись к сигаретам, и Заур решил попробовать. Он затягивался душистым дымом и прислушивался

к своему состоянию, гордясь собой и удивляясь, что сигарета никак на него не воздействует. Но, выкурив сигарету, он через пять минут почему-то прочел короткую и страстную лекцию об императоре Юстиниане. Слушали хорошо, хотя и несколько удивленно.

И только на следующее утро он с величайшим недоумением вспомнил про свою лекцию. Где Юстиниан, где музыканты? Кто его просил? И только потом он вспомнил про сигарету с травкой. Значит, все-таки подействовало.

И теперь, поднимаясь на эскалаторе с этим монголоидным чекистом, сыгравшим роль приклатненного хулигана, и продолжая держать его за предплечье, он почувствовал всю странность своего поведения: он ведет чекиста. Но куда? Может, их наверху уже ждут, чтобы забрать его и повезти на Лубянку, где дожидается его кейс, аккуратно заполненный наркотиками. А девушка будет невинным свидетелем того, что именно он передал ей этот кейс.

В голове стоял какой-то пятнистый туман. Он не знал, что делать. Бежать? Смешно. Они, конечно, знают, где он живет. „Во всяком случае, — решил он, — надо выиграть время и, значит, делать вид, что я ничего не заподозрил“.

— Точно я тебя накнокал? — вдруг сказал этот парень и улыбнулся ему сверху вниз зловещей азиатской улыбкой.

— Идем, идем, — тупо повторил Заур, чувствуя, что надо продолжать роль защитника девушки, хотя у него давно улетучилось желание драться. Но чтобы тот этого не понял, он с новой силой сжал его предплечье. Они уже поднялись на эскалаторе и шли к выходу из метро.

— А ты, парень, с душком, — почти весело сказал не то мнимый монгол, не то мнимый хулиган.

Они вышли из метро. Кругом горели ночные огни. Парень внимательно огляделся по сторонам. Ищет

своих, уныло догадался Заур, они, видно, запаздывают.

— Отпусти руку, хочу закурить, — сказал парень, и Заур, не зная, что делать, отпустил его руку. Парень порылся в карманах, вытащил пачку, медленно достал из нее сигарету, сунул ее в рот и, теперь опять очень внимательно озираясь, стал искать в карманах зажигалку. Нашел, щелкнул и стал прикуривать. Долго прикуривал. Пока он прикуривал, лицо его нахмурилось и в нем проступило выражение древней чингисхановской жестокости. Прикурил и стал снова озираться: где же они?

Ищет своих, снова подумал Заур, чувствуя абсурдность всего происходящего. Он как бы стерег человека, боясь, что тот сбежит, хотя бежать хотелось ему самому. Парень крепко затянулся, опять внимательно огляделся и вдруг рванул изо всех сил с тротуара прямо на площадь, на ходу выплюнув сигарету. Он переметнулся через площадь, чуть не угодив под машину, и скрылся за поворотом. Вид высокого, бегущего в панике человека всегда смешон.

Заур замер, и вдруг в голове его стало яснеть. Так, значит, никакой провокации не было? Значит, это обыкновенный хулиган, который в последний миг струсил? А озираясь он в поисках других хулиганов или обдумывал, в какую сторону дернуть?

Заур облегченно вздохнул всей грудью. „Боже, Боже, — подумал он, — до чего мы дошли, повсюду ищем тень КГБ! Даже если, допустим, они подслушали телефонный разговор и узнали, когда я уезжаю в Москву, как они могли определить вагон, в который я сяду? Я же сел в случайный вагон. Если бы затеявший скандал верзила в шляпе пришел из другого вагона, это было бы на что-то похоже. Как это не пришло мне в голову“.

Сколько нелепых слухов ходит о всевидящем глазе чекистов! Тысячи и тысячи интеллигентных

москвичей уверены, что их телефоны прослушиваются. Откуда у КГБ столько пленок и столько слушающих, чтобы расшифровывать суетные телефонные разговоры? В последнее время ходили зловещие слухи, что в одном доме, где весь вечер какая-то компания вела антисоветские разговоры, хозяин, пытаясь куда-то позвонить, снял трубку, и — о ужас! — телефон заговорил сам! Он повторил весь вечерний разговор компании! Там якобы пленка раскрутилась не в ту сторону. Какой вздор!

Правда, самого Заура за несколько лет пребывания в Москве дважды вызывали в КГБ, и там был достаточно неприятный разговор. Но ничего таинственного. Он подписал несколько писем в защиту диссидентов, и разговор, хотя и с оттенком угрозы, велся прямо по этому поводу.

Заур взял такси и приехал к себе домой в коммунальную квартиру. Он тихо открыл дверь и проскользнул в свою комнату. Тут тоже его подстерегала небольшая опасность. Дело в том, что рядом с ним в этой квартире жила весьма любвеобильная соседка. Заур был холост, и она всячески пыталась его соблазнить. Правда, при этом она в основном действовала мимикой и чарами своего полуобнаженного тела, доводя свою действительную неряшливость до степени полураспада одежды.

Заур, конечно, знал ее мужа и не мог иметь дело с женщиной, мужа которой он знал. Это было не в его правилах. Возможность любого коварства сотрясала его до омерзения, как если б он добровольно сунул паука за пазуху. Но мало того, что он знал ее мужа. Он еще достаточно хорошо знал ее любовника, который приходил в эту квартиру, пожалуй, почаще, чем ее муж.

Ее муж был инженером-наладчиком каких-то сложных машин и по своим делам ездил по всей стране. Это был милый, тихий человек и, по наблюдениям Заура, явно не брал взятки с тех, чьи маши-



ны он налаживал, потому что жили они довольно бедно. Иногда он бросал на Заура пугливо-застенчивые взгляды, но Заур ему ничем не мог помочь. Видно, он подозревал жену в неверности и мучился, но вполне ошибочно мысленно ткнул в самую близкую точку. И как ему дать знать, что Заур перед ним чист? Это было невозможно, если не донести, а донести Заур не мог.

Любовник ее был джазист и всегда приходил не только с выпивкой, но и со своей трубой. Он тоже ревновал к Зауру. Пожалуй, посильнее, чем ее муж. Жалея ее мужа, Заур держался с любовником подчеркнуто сухо, что только усугубляло подозрения любовника.

Тем более она, бывая с любовником, принаряженная и возбужденная выпитым, довольно бесцеремонно врывалась к Зауру, то прося одолжить чай или еще что-нибудь, то зазывая его к застолью. Заур, конечно, всегда отказывался от этих застолий как от сопредательства. Черт его знает, чего она этим всем добивалась! То ли подхлестнуть Заура, то ли любовника? Возможно, она добивалась и того и другого. Впрочем, любовника навряд ли приходилось подхлестывать. Во время своего пребывания в комнате соседки он вдруг начинал трубить какую-то победную мелодию, и, как догадывался Заур, каждый раз это происходило после близости. Заур почему-то уныло подсчитывал количество победных выступлений за вечер и даже предполагал, что они полемически обращены к нему. Однажды это даже дерзко подтвердилось. Ровно в двенадцать часов, когда Заур уже лежал, джазист вышел из комнаты своей любовницы и протрубил у самых его дверей. Заур психанул, но не отозвался на зов оленя. Вскоре джазист ушел. Он никогда не оставался на ночь. Возможно, труба играла еще и другую роль, возможно, что он у себя дома говорил, что идет на работу.

На следующее утро Заур сказал соседке:

— Если он еще раз протрубит возле моих дверей, он долго не сможет поднести трубу к своим губам. Так и передайте!

— Он был пьян, простите ему, — ответила она извиняющимся голосом, вероятно, забеспокоившись о судьбе губ джазиста и для собственных надобностей. Больше тот в самом деле не выходил трубить, но продолжал трубить в комнате соседки, и Заур вопреки своей воле подсчитывал количество победных мелодий.

Когда Заур пришел домой, соседки, слава Богу, не было в квартире. Ему не терпелось позвонить девушке, которой он отдал свой кейс. К тому же, что скрывать, сама девушка не выходила у него из головы. Она ему очень понравилась. И он видел какой-то высший знак в том, что спас ее от смерти, и, кто знает, может, в будущем она будет его вечной спутницей. Высоко возносился мыслями Заур! И сейчас ему было приятно, что соседки нет дома, потому что она всегда туповато прислушивалась к его телефонным разговорам, их единственный телефон стоял в коридоре. Он подошел к телефону. Перед тем как набрать номер, он вдруг вспомнил, что не знает имени девушки. Он был уверен, что голос ее узнает. Но как быть, если мать или отец подойдут к телефону и спросят, кто звонит. Сказать — знакомый из метро? Плоско и нахально. Чтобы не тревожить родителей, она могла и не рассказать им о случае в метро. Как же представиться?

Все-таки он набрал номер и с сильно бьющимся сердцем стал ждать: может, повезет и она сама возьмет трубку.

— Але? — услышал он жаркий, доброжелательный голос. Ему показалось, что это она.

— Вы — это вы? — спросил он довольно глупо.

— Да, я — это я, — ответила она и тихо рассмеялась, — я давно жду вашего звонка.

— Благополучно доехали? — спросил он, сам чувствуя сомнительную содержательность своего вопроса.

— Как видите, — ответила она и опять тихо рас- смеялась, — вернее, как слышите.

Заур так и не сумел освоить непринужденность телефонных разговоров москвичей. Ему надо было видеть лицо человека, с которым он говорит.

— Все сохранилось? — не удержавшись, спросил он о кейсе, но из какого-то суеверия стыдясь его на- звать.

— О да! — воскликнула она с большим пафосом, заставившим его слегка помрачнеть. Было похоже, что она знает о содержании кейса. — Как же я могла не сохранить ваш кейс, — продолжала она, — когда вы сохранили мне жизнь.

— Ну что вы! — постыдился он, но слышать это было приятно.

— А чем вы занимаетесь, — нежно спросила она, — кроме того, что спасаете девушек от хулига- нов?

— Я историк, — сказал он почему-то осторожно.

— А-а-а, историк, — вздохнула она, как ему по- казалось, облегченно. — Странно, — сказала она, подумав, — я чуть не попала под колесо поезда. Но ведь есть еще выражение: попасть под колесо исто- рии.

Что-то царпнуло его в этой фразе. Но он не по- нял, что именно. Странная девушка, подумал он, имея в виду далековатость сближенных ею колес.

— Будем надеяться, — сказал он, — что вас ми- нули эти два колеса.

— Кстати, вы проучили этого хама? — вдруг спросила она с жадным любопытством.

— Представьте себе — не удалось! — восклик- нул он.

— Как так — не удалось? — звонко разочарова- лась она.

— Держа его за руку, я его вывел из метро, — стал рассказывать Заур, чувствуя, что сильно упрощает все, что случилось с ним, — а когда мы вышли из метро, он попросил отпустить его руку, потому что ему захотелось закурить. Я отпустил, и он вдруг дал стрекача прямо через площадь. Чуть под машину не попал!

Он сделал ударение на последнем обстоятельстве как хотя бы на частичном возмездии. Но она этого явно не приняла.

— Зачем же вы его руку отпустили! — закричала она азартно. — Какой вы доверчивый! Вы и свой кейс доверили случайной девушке! Я ведь могла дать ложный телефон. Какой же вы доверчивый!

— Ну, с вами-то я, слава Богу, не ошибся, — сказал он, сам не замечая, что голос его приближен к интонации признания в любви, — но он... вы знаете... мне показалось, что все это провокация...

„Дурак! Идиот! Зачем такие подробности!“ — сразу же крикнул он себе, но было уже поздно.

— Провокация! — воскликнула она потрясенным голосом. — Какое гениальное совпадение!

— Да, провокация, — согласился он, угасая, — но это не телефонный разговор.

— Конечно, — очень охотно согласилась она, — конечно. Я жду вас завтра дома в два часа дня.

Она назвала адрес.

— Вы сможете завтра? — спросила она с явным желанием, чтобы он смог.

— Обязательно приду, — сказал он.

— Я вас очень жду, — донеслось до него, обдавая теплым ветерком, и вдруг добавила: — Только захватите с собой паспорт.

— Зачем? — спросил он, холодея от смутных подозрений.

— Ну, — сильно замешкалась она, — у нас такой дом... Спокойной ночи, мой спаситель!

— Спокойной ночи! — ответил он автоматически и положил трубку.

Какое там спокойной ночи! Он вошел в свою комнату и долго ходил из угла в угол, страшно взволнованный. „Как? Почему с паспортом? Разве бывают такие дома, куда являются с паспортом? Это связано с милицией, с прокуратурой или КГБ! Постой! Постой! Она знает о содержании кейса! Это точно!“

Но разве девушка, которую спасают от смерти и поручают ей кейс, чтобы отомстить мерзавцу, могла ему всучить телефон милиции или КГБ? Даже если она такая советская профурсетка, она же тогда не знала о содержании кейса?! А может, она и сейчас не знает о содержании кейса? „Нет, знает, знает! Я это чувствую! Постой, постой, — решил он, — надо трезво вспомнить весь разговор“.

Пользуясь своей прекрасной памятью и стараясь быть хладнокровным, он несколько раз прокрутил в голове всю эту телефонную беседу.

„— Провокация! — воскликнула она потрясенным голосом. — Какое гениальное совпадение!“

Эта фраза требовала исследования. Значит, в ее сознании то, что мне показалось провокацией, и ей показалось провокацией. Ей показалось, что мы угадали одну провокацию. Но что же ей могло показаться провокацией? Да то, что случилось в метро! Она порвала с каким-то подлецом, а тот нанял этого мерзавца, чтобы он ее как следует напугал. Скорее всего напугал, а тот переборщил. Но почему порвала с подлецом? Просто эта чудная девушка положила конец домоганиям подлеца! И с каким бесстрашным презрением она отворачивалась от этого ублюдка и как она не испугалась назвать его мерзавцем, чуть не поплатившись за это жизнью! Какую замечательную девушку я спас!

Постой! Постой! А может быть, не совсем так?

„— Провокация! — воскликнула она потрясенным голосом. — Какое гениальное совпадение!“

Скорее, в ее сознании одна провокация совпала с другой. И обе провокации оказались очень близкими по времени. Отсюда: совпадение! Не две мысли об одной провокации совпали, как я думал, а две провокации совпали по времени. Тут совершенно точно. Попробуем пойти дальше.

„— А чем вы занимаетесь? — спросила она.

— Я историк, — сказал я.

— А-а-а, историк, — вздохнула она“.

С облегчением? Кажется, с облегчением. Конечно, о содержании кейса она знает. Предположим, дома она его раскрыла и прочла запретные в стране документы. Кто их ей передал? Совершенно неизвестная личность. Ни имени, ни фамилии. И тогда она воскликнула: „Это провокация!“ Но ведь она умная девушка! Не могла же она не знать, что провокатор не спасает от смерти провоцируемого. Но ведь так мог воскликнуть кто-то из домашних, совсем не она! Конечно, только так. Если бы, когда я сказал о провокации, она бы вспомнила, что и она сама об этом подумала, она бы воскликнула по-другому:

— Какое гениальное совпадение! Я тоже подумала о провокации!

И теперь совершенно ясно, что повторились слова других людей — мои и еще кого-то. Скорее всего — отца. Возможно, он диссидент, ждущий обыска. И тогда такой неожиданный документ в доме — признак провокации и близкого по времени обыска. А может, ее отец большой человек? Он тоже мог это воскликнуть“.

Заур знал, какая грызня идет наверху, и там не гнушаются никакими методами, чтобы свалить соперника.

„И потому она облегченно вздохнула:

— А-а-а, историк.

То есть не провокатор подбросил кейс с такими документами. Значит, просто историк, это его профессиональные занятия. Только он слишком далеко

зашел в этих занятиях. Отсюда и намек на колесо истории, под которое я могу угодить. Она меня жалела и предупреждала“, — подумал он.

Но при чем тут паспорт? „У нас такой дом“, — сказала она. Может, это дом атомщиков и у них при входе паспортная система? Но в Мухусе он бывал в доме профессора-атомщика, в дочь которого был влюблен, там не было паспортной системы. Там не было, а здесь есть. Какой странный вариант судьбы, если он снова попадет в дом атомщика. А может, дом в смысле семья? Такая семья. Родители точно хотят знать, кто спас их дочь. Ну, ладно, паспорт так паспорт. Его охватило сладостное предчувствие долгого романа, переходящего в женитьбу. Пора, пора, пока сердце просит.

Он вспомнил, что еще не ужинал, и пошел на кухню. Нагрел чайник на газовой конфорке, нарезал хлеб, вынул из холодильника масло и сыр. Сел ужинать. „Я уже оправдал свою жизнь, — думал он, все больше и больше умиляясь собой, — я спас от смерти девушку. Конечно, родители ее будут моими союзниками“.

В это время на кухню вошла его соседка. Он даже не заметил, когда она пришла домой. Сейчас она была в черной нижней рубашке с голыми руками, с яростными бедрами и мощными, косящими грудями, просвечивающими сквозь ткань. Такой оголенности еще не бывало, и это звучало как лозунг: сегодня или никогда!

— А я думала, вы уже спите, — сказала она, якобы смущенно улыбаясь. Но даже сделать вид, что смутилась, ей было трудно.

Заур рассеянно кивнул ей, продолжая ужинать. Она явно думала, что произведет на него на этот раз сильное впечатление, и, может, ждала игривого разговора. Но Заур молча ужинал, и она прошла к мойке и стала мыть скопившиеся за несколько дней тарелки. Он с тайным юмором следил за выражени-

ем ее лица, на котором было написано горестное сиротство, одновременно выражающее и оскорбленное целомудрие: „Если уж на вас и это не действует, не могу же я на кухню выходить голой?!“

„Можешь, можешь, но мне это ни к чему“, — думал Заур, отхлебывая чай. Стриптиз голой руки, трясущейся над тарелками, наконец окончился, и она с выражением смиренной оскорбленности стала выходить из кухни как бы под бременем своих тяжеловатых чар. Но яростные бедра под ее рубашкой сами по себе работали в ритме соблазна, по-видимому, минорные сигналы хозяйки до них не доходили, если они вообще не работали в автономном режиме.

Через некоторое время он покинул кухню и прошел в свою комнату. Несмотря на минорное выражение лица хозяйки, дверь в ее комнату была, как всегда, гостеприимно приоткрыта. Разумеется, как всегда в тех случаях, когда ни мужа, ни любовника не было при ней.

На это ее гостеприимство он не только не отвечал встречным гостеприимством, а, наоборот, запирался в своей комнате с плюшкинской тщательностью. Но при этом (деталь!) он никак не хотел ее оскорбить и всегда старался действовать ключом как можно тише: если запираешься, запирайся деликатно.

Иногда, лежа в темноте, он вдруг проникался тревожным сомнением относительно того, запер он дверь или нет. И тогда, тихо встав, он на цыпочках в темноте подходил к двери и легонько толкал ее, чтобы убедиться, что она надежно заперта. Он ее боялся. Боялся, что однажды ночью проснется и обнаружит ее в своей постели и вдруг не в силах будет ее прогнать.

Ему было так жалко ее мужа, такого интеллигентного и даже физически такого хрупкого, что иногда боязно было, что эта молодка с яростными бедрами, однажды если не придушит его, то случайно придавит его в своей постели.



Ну зачем ей мужской гарем из трех наложников, думал он иногда. Мысль о том, что его, Заура, ей нужно совратить для того, чтобы он не мог донести ее мужу про ее любовника, приходила ему в голову. Но он ее отвергал. Для этого она ему казалась слишком простодушной. Может быть, и напрасно.

Но сейчас дверь была так надежно, так уютно заперта, и ему так сладостно было думать о завтрашней встрече с этой стремительно-стройной девушкой с такими недоступными синими глазами! И он ее спас от смерти, и не может это просто так кончиться, и должна начаться какая-то новая волшебная жизнь. Он с улыбкой заснул, и ему всю ночь снились томительные сны с этой девушкой, и он ее так явно ощущал, что, проснувшись, долго не мог поверить, что ее рядом нет, а он ощущал ее всем телом, и даже затекшая рука явно говорила, что на ней лежала, и долго лежала, ее головка. И тогда он вновь и вновь убеждался не только в мудрости, но и в зримой реальности того, о чем древние говорили: жизнь есть сон, а сон есть жизнь.

На следующий день ровно в два часа он стоял в одном из арбатских переулков возле большого нового дома, о существовании которого он не подозревал, хотя, казалось, неплохо знает окрестности Арбата.

Когда он вошел в дом и увидел обширный вестибюль первого этажа, он сразу понял, почему она просила его захватить паспорт. За столиком сидел милиционер и уже уставился на него. Он понял, что надо подойти к нему. Подошел и показал милиционеру паспорт, чувствуя некоторую тревогу. Милиционер раскрыл паспорт и довольно долго сверял его внешность с фотографией. Это был пожилой человек в очках. Взглянув на Заура из-под очков, спросил:

— Вам в какую квартиру?

Он назвал. Милиционер удивленно посмотрел на него, а потом набрал номер какого-то телефона. Трубку на том конце сейчас же подняли.

— Вы ждете гостя? — спросил он.

— Да! Да! — раздался знакомый нетерпеливый голос.

Милиционер, мужественно преодолевая затруднения, прочел имя и фамилию Заура и спросил в трубку:

— Этого человека вы ждете?

Заур страшно заволновался, она же не знает его имени.

— Да! Да! — громко раздалось в трубке.

Умница, подумал Заур, она, конечно, сразу все поняла.

— Надо же заранее заявлять, Лина, — с ворчливым домашним упреком сказал милиционер и положил трубку. — Проходите, пятый этаж, — кивнул милиционер на лифт и вернул Зауру паспорт.

Заур прошел в лифт и нажал на кнопку. „Мы познакомились через милиционера“, — думал Заур, прислушиваясь к мягкому, успокаивающему шуму лифта. Он вышел на пятом этаже, озираясь, удивлялся, что на этаже только одна квартира. Такого он не встречал. Он нажал на кнопку звонка. Раздались очень глухие и очень быстрые шаги. Дверь распахнулась. В дверях, улыбаясь, стояла вчерашняя девушка. Как ей шла улыбка! Сейчас она была еще привлекательнее, чем вчера. На ней были те же джинсы, но не черная рубашка, а синяя кофточка с коротенькими рукавами. Такие трогательные, тонкие, длинные руки. „Как глупо, — подумал Заур, — что поэты столько раз воспевали женские ноги и никто не догадался воспеть вот такие трогательно опущенные тонкие руки“.

— Здравствуйте, Лина, — сказал Заур, улыбкой намекая на их знакомство через милиционера.

Но она его не поняла. Улыбка погасла, и лицо стало тревожным. Она даже подбоченилась своими тонкими, но сейчас напрягшимися руками.

— Откуда вы знаете мое имя? — строго спросила она. — Мы ведь так и не представились друг другу?

— Но ведь и вы, оказывается, знаете мое имя, — улыбаясь, отпарировал Заур.

— Ах да, миллионер! — догадалась она, и две руки неожиданно заплеснулись за шею Заура. — Мой спаситель!

Губы ее мягко прикоснулись к его губам, легкие руки еще мгновение лежали на его шее. Заур почувствовал головокружение, которое не прошло и после того, как она убрала руки. Он вдруг понял, что в доме никого нет, что они одни, и ощутил, как аромат влюбленности разлился в воздухе. Это напоминало его ночной сон.

— Мой спаситель! — повторила она. — Мы должны это дело отпраздновать!

Она провела его на кухню, сверкающую никелем неведомых установок. Такую большую кухню он не видел никогда.

Стол был накрыт. На столе стояла бутылка дорогого коньяка, лоснились в тарелке маслины, розовели и краснели ломти рыб, плотные, слегка заплесневелые по бокам кругляки нарезанной колбасы напоминали древние монеты, и только слезливый сыр на тарелке казался сентиментально-неуместным. Сияла ваза с яблоками и редкими тогда в Москве, во всяком случае в кругозоре Заура, бананами.

Она усадила Заура на широкий диван, стоявший с той стороны стола, уселась напротив него, умело разлила коньяк, и они выпили за встречу. Дорогой коньяк, неведомый Зауру, деликатной теплотой разлился по его телу, как бы призывая его самого к деликатности.

Они стали закусывать. Никогда в жизни Заур один на один не сидел с такой очаровательной девушкой, и никогда в жизни ему не было так хорошо. Во всяком случае, так ему сейчас казалось. Ничем не объяснимое таинство влюбленности разливалось

в воздухе: тайна счастья. И ему было так хорошо, что у него ни на миг не возникло желания притронуться к источнику этого очарования. Это казалось так же глупо и бессмысленно, как если бы, греясь у уютного костра, вдруг захотелось бы схватить пламя руками.

Она попросила снова со всеми подробностями пересказать историю с этим хулиганом. Потом спросила об институте, где он работает. И приятно удивилась, узнав, что он доктор наук.

— Какой же вы молодец! — воскликнула она. — Такой молодой, а уже доктор наук!

— Не такой уж я молодой, — отвечал Заур, — мне уже тридцать два года.

— Молодой, — повторила она, — а я вот никак не могу защитить кандидатскую диссертацию!

Оказывается, она преподает французский язык в институте иностранных языков. Заур пил и закусывал. Чем больше он пил, тем сильнее атмосфера влюбленности сгущалась. Коньяк делался все приятнее и приятнее и как будто больше не призывал к деликатности. Или все более деликатно призывал к деликатности. Но Заур уже сам, гордясь собой, ощущал, что у него нет никаких чувственных поползновений. Хотелось, чтобы нашелся тайный свидетель его счастливой сдержанности. Он при помощи юной хозяйки, помощь ее была достаточно скромна, выдул почти всю бутылку коньяка.

Потом она подала невероятно пахучий кофе. И все движения ее, когда она вставала, садилась, разливала кофе, были стремительны и точны. Заур не сводил глаз с ее движущейся фигуры, как бы с рыдающим восторгом сопровождая каждое ее движение.

После кофе с такой же стремительной точностью она вдруг встала, подошла и села ему на колени. После стольких восхищений точностью ее движений он не мог и не хотел усомниться в точности того, что

она сейчас сделала. Своими длинными прохладными руками она обняла его за шею. Ледяной секс ее глаз оказался в невообразимой близости. У Заура снова закружилась голова, но теперь как бы в обратную сторону. Первый раз его голова закружилась в сторону влюбленности, а теперь закружилась в сторону чувственности.

— Сейчас я вам должна сказать очень важную вещь, — начала она ясным голосом, глядя ему в глаза, — у меня папа — большой человек. Не спрашивайте, кто он, это для вас не имеет значения. Вчера вечером, когда я ему рассказала о случившемся в метро, он воскликнул: „Это провокация против меня! Я должен сейчас же проверить кейс! Это был ловкий способ всучить тебе его! Черт его знает, что там внутри! Но я старый десантник!“

И он, заставив меня и маму выйти из комнаты, открыл его. Около часа он был в комнате, а потом вышел к нам.

„Это действительно провокация, — сказал он, — но не против меня, а против нашей партии. Но из этого следует, что молодой человек, который спас тебя, спас искренно. Я не хочу осложнять жизнь человека, спасшего мою дочь, хотя обязан это сделать по своему положению. Когда он придет за кейсом, вели ему сжечь это все в нашем камине на твоих глазах“.

Заур, послушайте моего папу! Он очень умный и порядочный человек. Папа сказал, что вы клюнули на провокацию царской жандармерии. Но это не только опасно, это бессмысленно. Это никто никогда не напечатает. Вы только опрокинете на свою голову неисчислимые бедствия. Сделайте, как сказал папа! Вы мой спаситель, я для вас готова на все!

И она прижалась к нему, как беззащитный птеник. Заур понял, что оторваться от нее он уже не сможет. Он это понял уже тогда, когда она села к нему на колени. После долгих расцветающих и рас-

цветающих поцелуев, он обхватил ее легкое тело и переложил его на диван. Недоснятая одежда только усиливала чувственное напряжение. Через полчаса, когда они притихли, он услышал ее ясный голос:

— Отвернитесь!

Он отвернулся. Она оделась и вышла в ванную. Он привел себя в порядок и сел на диван. Во всем теле он чувствовал приятную легкость. А в голове звенела легкость иронии, происхождение которой он не совсем понимал.

Он вспомнил томительные сны с участием этой девушки, которые он видел накануне. То, что сейчас было, было хорошо, но почему-то не дотягивало до тех сказочных ощущений, что он испытал во сне. „Во сне нет времени, — подумал он, — и потому прекрасный сон воспринимается как вечность. И ужасный сон потому так ужасен, что воспринимается как вечность“. Он уже самовольно допил коньяк и закурил бананом, который до этого не решался взять. Бананы он не пробовал уже несколько лет. Раздев банан, он вспомнил, что сам недоодет. Пиджак его валялся на диване. Он взял его, встряхнул и надел.

Она вошла с кейсом на кухню и молча передала ему. Чувствуя некоторый недостаток благородства и удивляясь, что это его не смущает, он открыл кейс и проверил бумаги. Все было на месте.

— Приступим к аутодафе, — объявил Заур. — Камин он имел в виду в прямом смысле или в переносном?

Заур слышал, что в некоторых богатых московских домах устраивают камин. Но сам их никогда не видел. Он видел только очаги у себя в Абхазии, в крестьянских домах.

— В прямом смысле, — сказала она.

— Прекрасно, — бодро сказал Заур, вставая и чувствуя, как в нем играет ирония. — Кстати, проверим тягу.

Она провела его в большую, уставленную старин-

ной мебелью комнату, где действительно находился камин. Старинная мебель потянула за собой камин, подумал Заур.

Заур вывалил в камин свои бумаги и даже показал ей свой распахнутый опустевший кейс. Он вынул сигареты и зажигалку. Сначала прикурил от зажигалки сигарету, с удовольствием затянулся, а потом, встав на корточки и собрав бумаги в кучу, поджег их. В первые, долгие секунды они очень плохо горели и очень хорошо дымили, словно надеясь, что их еще спасут. Но потом, пыхнув гневом, воспламенились, и языки пламени потянулись вверх.

— Тяга хорошая, — сказал Заур и вдруг, не удержавшись, расхохотался.

— Почему вы смеетесь? — с тревогой спросила она.

Он не мог ей сказать, почему он смеется.

— Я просто вспомнил слова булгаковского Воланда: „Рукописи не горят“.

— Горят, горят, — бодро подхватила она и, схватив кочергу, рассыпала еще дымящийся в камине пепел.

На самом деле Заур подумал о том, что при его очень хорошей памяти, он все это мог восстановить с фотографической точностью. Главное, что рукописи не оказались в чужих руках.

Бросив кочергу, она победно выпрямилась и теперь снова была так хороша, что Зауру мучительно захотелось ее обнять. Но, увы, ледяной секс ее глаз ему сейчас был недоступен. „Если бы у меня под рукой были материалы о судьбе царских алмазов, — подумал он, — можно было бы все повторить“.

Он понимал, что надо уходить, но уходить так сразу было как-то неудобно. Слишком явно все это напоминало товарообмен.

— Позвоните через два месяца, — вдруг сказала она, о чем-то подумав и давая ему повод попрощаться.

— Хорошо, — мрачновато ответил Заур, — к этому времени я, может, чего-нибудь наскребу.

Она поняла его юмор и громко расхохоталась, сверкая прекрасными зубами. Одновременно ее бледное лицо покрылось легким румянцем стыда. Она сейчас была очень хороша, и уходить не хотелось.

— Нет, я уезжаю, — сказала она, провожая его в переднюю, — а, кстати, что вы подумали, когда я вас попросила прийти с паспортом?

— Я подумал, что мы пойдем в ЗАГС, — сказал Заур.

Она опять расхохоталась.

— Какой вы остроумный, — вздохнув, вдруг вымолвила она, — вот этого всегда не хватало моим поклонникам. Но вы, конечно, поняли, что у нас особая среда. Здесь такие вопросы девушка не может решать сама. Все-таки позвоните через два месяца...

Они распрощались, и она захлопнула за ним дверь. Погруженный в какие-то не совсем ему ясные мысли, он вызвал лифт, вошел в него и нажал кнопку. Лифт с тихим шумом пошел вниз. „Почему два месяца?“ — подумал он. Вероятно, в этой среде проверяется досье всех, кто вхож в дом, если он со стороны. Клан. Патриархат. Досье ничего утешительного не обещало: сын репрессированного, дважды вызывался в КГБ. Лифт остановился, и Заур вышел из него, захлопнув дверь.

И вдруг он обнаружил, что оказался в каком-то замкнутом помещении, совсем не в том, где сидел милиционер в вестибюле. Прямо против лифта была дверь, он подошел к ней и подергал ее, но она оказалась наглухо заперта. Он почувствовал ужас человека, попавшего в мышеловку. Все его вчерашние подозрения ожили с необыкновенной ясностью. Он кинулся к лифту, но именно в этот миг лифт с тихим



злорадным шипением пошел вверх. Казалось, кто-то сверху, может быть, в специальный телевизор с дьявольской насмешкой следит за ним. Он несколько раз нажимал на кнопку лифта, но тот отрубился на чисто.

Рядом с лифтом он увидел лестницу, ведущую куда-то вниз. Он устремился по этой короткой лестнице, одолел ее несколькими прыжками и вышел в какой-то коридор. С обеих сторон коридора были двери. Он рванулся к одной двери и стал судорожно дергать ее, но она была заперта. Он перебежал к другой двери и не только стал ее дергать, но и начал стучать в нее изо всех сил, прислушиваясь к тишине и к своему гулко бьющемуся в тишине сердцу. Он подумал, что его панические движения взбаламутили выпитый коньяк и он сейчас пьян и не очень контролирует обстановку. „Дурак, — вспомнил он, окрыленный надеждой, — я, видимо, нажимал на кнопку лифта, когда он еще шел вверх, но дом высокий, и здесь его было неслышно“. Он снова взлетел к лифту и стал бешено нажимать на кнопку, но лифт был мертв. И теперь он окончательно уверился, что он в ловушке. Он опять сбежал вниз и стал метаться по узкому коридору, уверенный, что попал в полицейскую ловушку.

Прекрасна, как ангел небесный,  
Как демон, коварна и зла.

Монотонно звучали у него в голове строчки из лермонтовской „Тамары“. Он всегда считал, что описанная в стихотворении дикая жестокость женщины — романтическое преувеличение. И сейчас думал: „Все правда. Гений никогда не ошибается! Я пропал!“

Сплошная цепь провокаций со вчерашнего дня наконец увенчалась успехом. Какое же значение они придают золоту Вильгельма, если столько сил бро-

силы против него! Как наивно было думать, что они ограничатся сожжением рукописи, а носителя знаний о ней оставят в покое! И как наивно он думал, что их перехитрил, надеясь на свою память!

Вдруг он услышал в тишине за коридорными дверями, в которые он барабанил, шаги палача. Вскоре убедился, что палачей двое, и они переговариваются и не спешат. А куда спешить? Жертва в клетке.

Скрежетнул ключ в замке, и дверь с тяжелым скрипом отворилась. В дверях стояли двое и делали вид, что удивлены его присутствием. Оба были в голубых комбинезонах. Один был высокий и возрастом намного старше второго. В одной руке он держал какой-то железный палаческий инструмент и не скрывал этого. При первом ударе, лихорадочно подумал Заур, принять его на кейс, а потом постараться отнять его. А второй? Неужто он будет ждать, чем закончится эта борьба. Второй был мал ростом, но страшно широкоплеч. Палачи все еще стояли на пороге, продолжая разыгрывать удивление: как это сама подзалетела птичка? Пожалуй, самым ужасным Зауру показалось то, что второй палач, низкорослый и широкоплечий, оказался точно в такой же шляпе, какая была у того типа в поезде. Видно, часть формы, мелькнуло в сознании Заура. Но как странно, что все началось с той шляпы и теперь все прихлопывается этой шляпой. Заур был уверен, что этот низкорослый с невероятными плечами и есть главный душегуб. И ему не надо никаких инструментов.

— Кто вы такой и что вы здесь делаете? — грозно спросил первый палач и, как бы проверяя надежность инструмента, качнул его в руке.

— Я не знаю, — сказал Заур, — я спускался на лифте и оказался здесь.

— И теперь вы решили здесь жить? — насмешливо спросил первый палач.

— Я был в гостях, — сказал Заур, кивнув наверх. Он не стал уточнять, где именно был. Он решил перехитрить их. Не все же жители этого дома связаны с палачами, он мог быть у других.

Тягостное молчание.

— Надо проверить, что у него в чемоданчике, — вдруг сказал низкорослый с каким-то жадным личным любопытством.

— Пожалуйста, — охотно согласился Заур и распахнул кейс, как бы гордясь его пустотой. Он даже махнул в воздухе распахнутым кейсом. Он смутно вспомнил, что повторил жест, когда перед камином демонстрировал девушке опустошенный кейс. „Одна шайка!“ — взвизгнуло в мозгу.

— Да не нам показывайте, — явно разочарованный пустотой кейса сказал плечистый, хотя именно он и сказал, что надо проверить кейс.

Тот, что был с пыточным инструментом, вдруг приподнял зубчатое железо и стал почесывать им голову, как бы отдаленно намекая, что может им прикоснуться и к голове Заура. Заур вдруг вспомнил, что в Абхазии, прежде чем зарезать козу или барана, человек, держащий нож, символически обтачивает его о ладонь, хотя нож давно отточен и жертва у ног.

— А милиционер вас видел, когда входили в дом? — спросил первый, перестав чесать голову.

— Конечно! — вскричал Заур и стал лихорадочно рыться в карманах в поисках паспорта, одновременно с ужасом думая, что он мог вывалиться там, на диване. Нашелся! — Вот паспорт! — вскрикнул он, показывая его.

— Да на кой нам-то твой паспорт, — уныло сказал тот, что держал пыточный инструмент, — мы техники.

Последнее разъяснение нисколько не успокоило Заура. Он и так знал, что палачи — это техники и

могут никакого представления не иметь о золоте Вильгельма.

— Уже показывал, — вскрикнул Заур, — когда входил в вестибюль.

— Вы шляпа, — вдруг отчетливо и зло сказал человек в шляпе, все еще раздраженный, что кейс Заура оказался пуст, Заур это почувствовал, — вы не на ту кнопку нажали! Шляпа!

— Как не на ту? На ту! — возмущился Заур, чувствуя, что они хотят воспользоваться какой-то чудовищной бюрократической зацепкой. Нажал на ту кнопку — вышел на улицу. Нажал не на ту кнопку — попал к палачам.

— Пойдемте, — хмуро сказал человек с инструментом в руке и показал наверх. На ту первую дверь у лифта. „Оказывается, пыточная там, — удивился Заур, — а я по старинке думал, что она где-нибудь пониже“.

— Куда? — спросил Заур, стараясь скрыть ужас.

— Как куда? К выходу, — ответил тот.

Промельк надежды, но и бдительность нельзя терять.

— Только я за вами пойду, — упрямо сказал Заур, не желая подставлять спину.

— Да это псих какой-то, — сказал первый палач, тяжело под бременем инструмента взбираясь по лестнице.

— Не псих, а шляпа, — повторил человек в шляпе и последовал за первым, — а с тебя пол-литра, глухарь. Я же говорил, что кто-то барабанит в дверь, а ты не верил. — Открывая дверь ключом, человек в шляпе обернулся к Зауру: — Скажи честно, барабанил в дверь?

Заур осторожно поднимался за ними. Человек в шляпе распахнул дверь, и Заур узнал вестибюль. Вернее, часть его. Человек в шляпе продолжал смотреть на Заура, дожидаясь ответа.

— Ну, стучал, — признался Заур.

— Вот видишь, глухарь, с тебя пол-литра, — торжественно сказал широкоплечий.

И теперь Заур внезапно понял, почему тот так разочаровался в его кейсе. Он ждал, что там может оказаться бутылка водки или коньяка.

Они уже прошли в вестибюль и стояли у двери. Заур прошел мимо них и радостно увидел знакомого милиционера.

— Михеич, — крикнул человек, державший инструмент, который теперь показался Зауру вполне применимым и в мирных целях, — ты этого человека видел?

— Конечно, — раздраженно ответил милиционер и, обращаясь к Зауру: — Это вы забыли дверь в лифте закрыть? Мне уже звонили.

Он почему-то не удивился, что Заур поднялся из подвального помещения.

— Нет, — сказал Заур, окончательно приходя в себя, — я закрыл дверь лифта. После меня он поднялся наверх.

— Ну, ладно, идите, — сказал милиционер устало.

Уф! С какой радостью Заур выскочил на улицу! Свобода! Свобода! Никаких провокаций не было! Бред какой-то! Но какое завихрение жизни после долгих, однообразных часов на кафедре и в тиши архивов! „А ведь я все-таки правильно угадал, что о провокации говорил ее отец“, — с запоздалой гордостью думал он, направляясь в институт.

Вечером к соседке опять приходил джазист. И они снова устроили себе маленькую пирушку. Заур рано лег спать, чтобы завтра пораньше засесть за работу, восстановить выписки из жандармских докладов и потом продолжить работу над статьей. Часов в одиннадцать из соседней комнаты раздался первый торжественный звук трубы. „Труби, труби“, — думал Заур, с удовольствием возвращаясь к распорядку нормального безумия.

Дней через десять статья была готова. Заур пошел в архив, чтобы уточнить некоторые мелкие детали, сперва показавшиеся ему несущественными. Каково же было его удивление, однако на этот раз не переходящее в мистический страх, когда он обнаружил, что папок с жандармскими отчетами нет на месте. Он решил, что за это время была проведена очередная идеологическая ревизия и папки просто убрали оттуда.

Но тут-то нашего героя как раз подвела его прекрасная память. Дело в том, что перед выписками из жандармских докладов он автоматически ставил библиографический шифр материала. И он об этом начисто забыл. А отец Лины, читая эти выписки, как раз обратил внимание на эти шифры и переписал их в записную книжку. На следующий день он позвонил в соответствующую инстанцию и продиктовал их, после чего эти папки изъяли из архива и, вероятнее всего, уничтожили.

Заур не долго думал об исчезнувших папках. Это вообще была не его тема. Его тема была Византия, потому что он считал, что оттуда все главное пошло на Руси. Больше он Лине никогда не звонил, хотя долго помнил ее.

---

## МИМОЗА НА СЕВЕРЕ

С Раулем Аслановичем Камба мы познакомились на охоте. У села Тамыш, на огромной приморской поляне, кое-где поросшей зарослями ежевики, держидерева, сассапарилия, шла охота на перепелок. Кругом раздавались приглушенные расстоянием хлопки выстрелов, взвизги и взлаи охотничьих собак, виднелись и сами собаки, петляющие в траве, и фигурки охотников, подбегающих к ним после удачных выстрелов.

И вдруг среди этого буйства охотничьих страстей я увидел могучего увальня, лениво бредущего по тропе с ружьем, горизонтально лежащим на плечах, и двумя ручищами, как два отдыхающих хобота, с двух сторон свисающими над ружьем.

Это был человек, явно не поддающийся охотничьему азарту. Видимо, он тоже заметил, какой я охотник: я шел навстречу, и, когда мы сблизились, он остановился и неожиданно спросил:

— Выпить не хотите?

— А почему бы нет, — ответил я.

Походка его стала несколько более деловита, он подвел меня к дикой яблоне, как к хорошо знакомой закуской. Он подобрал несколько паданцев, мы присели у тенистого подножия яблони. Он снял с пояса фляжку, отвинтил колпачок, и мы стали пить из него превосходный коньяк, закусывая кислящими, в жару очень приятными паданцами.

— Люблю вот так выехать за город, — сказал он, — но охоту, честно говоря, не люблю. То ли в перепелку попадешь, то ли в собаку. И перепелку жалко, и собаку тем более. Охота для меня — это хороший способ освежить место выпивки, а вы чем занимаетесь, когда не выезжаете на охоту?

Мне показалось, что он намекает на одинаковую плодотворность обоих моих занятий. Почему-то всегда стыдновато называть свою профессию. Мир так безумен, что писатель в нем кажется неуместен, как звездочет в сумасшедшем доме. Кажется, назвав свою профессию, услышишь недоуменное: если вы писатель, почему мир так безумен? Если мир так безумен, зачем писатель?

Что тут ответить? Писательство — безумная попытка исправить безумный мир. Тут кто кого перебежумит. У меня лично более скромная задача — перевести мир из палаты буйных в палату тихих. А там посмотрим.

Тем не менее я взял себя в руки и назвал свою профессию. Он кивнул головой в том смысле, что его ничем не удивишь.

— Вот Лев Толстой всю жизнь проповедовал христианство, а охотником был азартным, — сказал он, видимо, решив начать с главного звездочета. — Неужели он сам не видел этого противоречия?

— Не знаю, — ответил я, — он вообще был очень страстным человеком.

— А как насчет выпивки? — спросил он. — Понятно, что он выступал против алкоголя? Но сам он выпивал?

— В молодости мог крепко поддать, — сказал я, — но в зрелости остерегался.

— Понятно, — сказал он, — свою норму взял, а потом стал противником алкоголя.

Большое, но пропорциональное росту лицо моего нового знакомого производило приятное впечатление: правильные, крепко вылепленные черты и об-



щее выражение добродушного мужества. Однако в его зеленоватых глазах чувствовалась какая-то тихая, затаенная печаль. Казалось, печаль эта даже как-то выцветает от долгого употребления. Выражение его глаз не совпадало с его постоянной, как я потом заметил, склонностью к шутке. Но кто знает, может, эта его склонность была неосознанной борьбой с печалью.

Пока мы пили, закусывая паданцами, он стал очень живо выклеивать юмористические сценки из произведений Толстого и радостно, а иногда и с хохотом мне пересказывать. Оказалось, что таких сценок в произведениях Льва Толстого было гораздо больше, чем я предполагал. Эти сценки выглядели особенно смешными в его смачном исполнении. Он их помнил почти дословно. Конечно, я их тоже помнил, но они для меня были затенены гениальными поэтическими картинами Толстого.

Всем этим сатирическим сценкам придавало дополнительный юмор то, что они и сейчас звучали не только современно, но даже особенно своевременно. Главным образом это касалось государственной жизни, жизни чиновничества. Захлебываясь от смеха, он пересказал то место в „Анне Карениной“, где высшее чиновничество обсуждает вопрос об инородцах. Но что именно они хотят сказать об инородцах, Толстой упорно не раскрывает, тем самым подталкивая читателя к мысли, что они ничего не знают об инородцах и им нечего о них сказать.

— Вот так, — смеясь, говорил он, — иногда на бюро обкома, дожидаясь, когда поднимут вопрос о строительстве, я слушаю, о чем они говорят, вспоминаю эту сцену Толстого и умираю от внутреннего смеха, хотя надо было бы плакать.

Вообще, Рауль оказался неплохим знатоком литературы, тем более учитывая, что по профессии он был инженером-строителем. Вот еще одно, по-моему, интересное его наблюдение над творчеством Льва

Толстого. Сами факты, о которых он рассказывал, множество раз обсуждались в критике, но психологическую природу их он объяснил достаточно оригинально.

— Когда читаешь Толстого, — вдруг сказал он без всякого юмора, — странное чувство иногда возникает. У него Наполеон повсюду глуп и смешон. И хотя умом понимаешь, что Наполеон не мог быть столь глупым и смешным, но подчиняешься невероятной уверенности его, что все было именно так, как он пишет, и не могло быть иначе. Если бы он о Наполеоне писал статью, я бы ни на минуту не поверил ему.

Видимо, здесь тайна художественного колдовства. Он создает некий свой мир, свою планету. Ты вступаешь в этот мир, и тебе там так хорошо от всей его слаженности, что ты поневоле проглатываешь и вещи, которые не соответствуют обычной логике. Тебе же было так хорошо в созданном им мире, ты так поверил в его правдивость и поэтичность, что поневоле глотаешь вещи, которые не соответствуют здравому смыслу. Ты говоришь себе: здесь, в этом мире, это правда. Иначе ты должен был бы подвергнуть сомнению и те описания жизни в этом мире, где ты был счастлив. Кто же добровольно откажется от собственного счастья и скажет, что счастье было ложно?

То же самое и Кутузов. Толстому веришь, хотя частью ума, которой не завладел его мир, понимаешь, что не мог великий полководец считать, что надо отдаваться стихии и она сама вынесет. Ничего себе — вынесет!

Вот я, например, строитель. Скажем, мы взяли за объект. Стройматериалы подвозятся, прорабы и рабочие все на местах. И я, начальник строительства, говорю себе: больше я этим объектом заниматься не буду, стихия строительства сама вынесет. Ничего себе! Я же знаю: только отведи глаза — и через неделю половину стройки раскрадут, а вторую половину исхалтурят. Вот тебе и стихия!

Он расхохотался и взглянул на меня насмешливыми глазами, как бы требуя ответа. Вместе с тем он налил в колпачок коньяку и осторожно поднес мне. Почему-то, прежде чем выпить, оправдывая угощение, надо было что-то сказать.

— Главная мысль всех великих умов, — важно заметил я, — бессилие мысли. Отсюда и культ стихии.

Вскоре к нам подошел его товарищ, увешанный перепелками. Он явно знал, где его искать. Рыжая охотничья собака его с разинутой огнедышащей пастью стала нервно тыкаться нам чуть ли не в лица, словно призывал: „Мой хозяин уже наохотился. А я еще не наохотилась. Иду с вами. Вставайте!“

— Что, если плеснуть ей в пасть коньяку, — сказал Рауль, — может, она успокоится?

Он рассмеялся, но хозяин даже обиделся.

— Плещи себе в пасть, — прошипел он, — все равно на охоте ты больше ничего не умеешь делать. Охотничья собака — это почти член семьи. Как можно так говорить!

Он наклонился, поймал собаку и стал, взъерошивая ей шерсть, тщательно исследовать состояние ее кожи, особенно на груди. Время от времени он выбирал и выщелкивал оттуда растительную труху.

— Колючки проклятые уродуют мою собаку, — сказал он, вздохнув.

— Ты бы достал ей бронжилет, — рассмеялся Рауль, — и перед охотой надрючивал бы его на нее.

— Не смейся, — отвечал хозяин, — я в самом деле хочу что-нибудь такое придумать.

Мы пошли к машине товарища Рауля. Человек, который привез меня на охоту, давно обо мне забыл и правильно сделал. Да если бы и не забыл, в отличие от товарища Рауля не знал бы, где меня искать. Мы поехали в город.

Так мы познакомились с Раулем. Я уже жил в Москве и в Абхазию обычно приезжал раз в год отдыхать. Здесь я чаще, чем в Москве, бывал в рестора-

нах. Обычно я ходил в верхний ярус ресторана „Амра“ попить кофе или чего-нибудь покрепче. Там я несколько раз встречал Рауля. Когда изредка заходишь в один и тот же ресторан и встречаешь там одного и того же человека, кажется, что он в отличие от тебя всегда здесь пропадает.

— Не слишком ли часто ты здесь бываешь, — сказал я однажды, встретившись с ним в „Амре“ и подсаживаясь к нему.

— Нет, — отвечал он, придвигая мне фужер, — но куда деваться? Мои друзья почти забыли этику домашнего застолья. Когда они бывают у меня в гостях и затевается какой-нибудь спор, они начинают подхамливать и переходить на личности. Я не могу соответствовать, потому что с молоком матери всосал: хозяин должен быть снисходителен к гостю и прощать ему неловкости. Бывая у них в гостях, я опять слышу хамские выпады и переход на личности. Но опять же, следуя этике застолья, не могу в ответ хамить и нарушать законы гостеприимства уже как гостя. Таким образом, и в гостях, и дома я оказываюсь в дерьме. Лучшее место — это нейтральная почва, и тут можно дать по рукам человеку, если он переходит границу.

В ресторане он часто перебрасывался шутками со своими знакомыми и приятелями за другими столиками, а иногда и бутылками (разумеется, через официантов), вознаграждая острыми словцами. Одним словом, он производил впечатление большого добродушного увальня, беспрерывно ищущего повод пошутить.

Однажды от нечего делать мы с одним приятелем забрели к нему в контору в рабочее время. По-моему, приятель, который затащил меня к нему, надеялся, что впоследствии выпивка по поводу нашего прихода. Мы пошли.

В передней перед его кабинетом нас встретила молодая секретарша и очень удивленно оглядела нас.

— У вас дело? — спросила она.

— Нет, — признался приятель, — мы просто друзья.

Лицо секретарши теперь выразило крайнее удивление. Она замешкалась, но потом сказала, вздохнув:

— Хорошо, я доложу...

Это прозвучало так: вы, конечно, сумасшедшие, но как будто не буйные. Она прошла в кабинет и через минуту вышла.

— Пройдите, — сказала она, выйдя из кабинета, как бы пораженная нашим успехом, но все-таки не переставая надеяться, что этот успех частичный.

Мы вошли в его обширный кабинет. На столе у него стояло несколько телефонов. По одному из них он говорил. Не прерывая разговора и окинув нас не очень узнающими глазами, он широким жестом указал нам на кресла, а потом, двинув ручищей вниз, как бы навсегда нас в них утопил.

И тут я увидел совершенно другого человека. Это был суровый капитан на капитанском мостике. Телефоны звонили почти непрерывно. Одним он давал какие-то советы, похожие на приказы, а другим отдавал приказы, похожие на дружескую просьбу.

Несколько раз входили люди с какими-то бумагами, и, если он говорил по телефону, они замирали у дверей с выражением военизированного смирения. Потом следовал короткий рапорт, который он еще ухитрялся на ходу укоротить. И они бесшумно исчезали из кабинета.

Мне уже стало неловко за наше расхлябанное посещение этой четко работающей могучей машины. Я, переглянувшись с приятелем глазами, показал ему, что нам лучше всего удалиться восвояси. Казалось, утопив нас в креслах, он вообще забыл о нашем существовании даже в качестве утопленников. Мы встали, вынырнув. В это время он говорил по телефону. Секунды три он глядел на нас, как бы пытаясь

осознать, откуда мы взялись, а потом прикрыл трубку и сказал:

— Если у вас нет конкретного дела, встретимся в восемь часов в „Амре“.

Возможно, по инерции, но его слова прозвучали как приказ. Мы вышли из кабинета, и секретарша опять удивленно оглядела нас, теперь, вероятно, пытаясь понять, во время какой паузы мы с ним общались, когда такой паузы вообще не было. Разве что общались знаками, когда он говорил по телефону. Вообще-то один такой знак он нам сделал, после чего мы утонули в креслах.

— Потрясающий человек, — сказал приятель, — даже кофе не угостил.

Блаженное солнце, блаженное море, ленивые стайки туристов и еще более ленивые старожилы, попивающие кофе в открытой кофейне и, вероятно, сравнивающие, как на вкус кофе влияло правление Сталина, правление Хрущева и теперь правление Брежнева. Судя по их лицам, разница была небольшая.

Было удивительно осознавать, что в этом городе, приятно балдеющем от жары, есть точка, где идет четкая, ясная, яростная работа. Вероятно, на таких точках все еще держится наша жизнь. Если узнать, сколько таких точек по стране, вероятно, можно было бы определить, сколько мы еще продержимся.

Вечером мы с Раулем снова встретились в „Амре“. В его облике никакой усталости не чувствовалось. Это был все тот же добродушный увалень, обменивающийся шутками с соседними столиками, а иногда и бутылками в ответ на особенно удачные остроты.

Через год в следующий свой приезд в Абхазию я узнал, что Рауль, никому ничего не сказав, внезапно покинул город и уехал работать на Север. Он уехал именно тогда, когда здесь в правительственных кругах обсуждался вопрос о назначении его министром. Местным, конечно.

— Бросил квартиру, жену, друзей и, никому ничего не сказав, уехал на Север, — жаловались наши общие знакомые.

И всегда неизменно в перечислении того, что он бросил, квартира стояла на первом месте. Жена и друзья иногда менялись местами, но квартира всегда шла первой. То, что он уехал на Север, его бесчисленные знакомые узнали от его бывшей теперь жены. Судя по их словам, она сама больше ничего не знала. Казалось, мухусчан более всего угнетала скудость информации.

— Тут обком голову ломает, хочет рискнуть и назначить его министром, — сокрушался один местный либерал, — а он фактически нелегально уезжает на Север. Плюнул на либеральное крыло обкома. Из-за него сейчас сталинисты окончательно верх взяли.

— Я думал, — рассказывал при мне тот человек, с которым он был на охоте, — может быть, он деревенским родственникам что-нибудь рассказал. Специально поехал в Лыхны, но и они ничего не знают, он и на них плюнул. Вообще, я вам про него скажу как близкий друг. Хотя он и был первоклассный инженер, с головой у него было не все в порядке. Я это в прошлом году заметил. Вдруг стал придирается к моей охотничьей собаке. Придирается и придирается! Что она тебе плохого сделала? Ты жрешь у меня в доме перепелок, которых она выносила из ужасных колючек. Нет! Придирается. В прошлом году на охоте (он, видно, забыл, что я там был) давай, говорит, вольем ей в глотку коньяк. Сам пьяница, хочет, чтобы все пьяницами стали. И уже разинул моей бедной, послушной собаке пасть и хотел туда влить коньяк. Я, клянусь матерью, психанул! Вырвал у него фляжку и изо всех сил забросил ее подальше.

— А он что?

— А что он мог сказать? На моей машине приехал. Куда денется. Как миленький молча пошел и поднял фляжку. И что характерно! Там же на месте допил из нее.

— Ну, не совсем так было, — сказал я.

Он возмущенно посмотрел на меня и вдруг вспомнил как бы мое предательское присутствие там. Однако тут же взял себя в руки и даже, повысив голос, добавил:

— При тебе, может, не совсем так было, а без тебя было именно так! Я же не говорю, что он один раз придрался к моей собаке. Если б один раз, я бы даже не вспомнил. Нет, он каждый раз к ней придирался. А перепелок наяривал, дай Бог! Спрашивается, где же принципиальность? Лишь бы похохмить, лишь бы похохотать!

Так Рауль исчез под ворчание друзей из их жизни. Из моей жизни он тоже исчез. Прошло лет десять. И вдруг в самой середине идиллического, как теперь кажется, болота брежневской эпохи его имя внезапно появилось в нескольких центральных газетах.

Оказывается, он там, на Севере, уже руководил какой-то огромной стройкой и ввел у себя новый метод оплаты труда рабочих, поощряющий частную заинтересованность каждого из них в конечном результате общих усилий. Там описывались какие-то подробности, которых я сейчас не помню. Но суть в этом.

Ради справедливости надо сказать, что некоторые журналисты и тогда поддержали его метод, но некоторые злобно высмеивали его, подтверждая уже свою частную заинтересованность в нашей идеологии, на которую он якобы покусился. При этом каждый из них ехидно отмечал, что Рауль специальным рейсом послал самолет в Абхазию, чтобы привезти оттуда на далекий Север мимозы. Что хорошего можно было ожидать от человека, спрашивали они, позволяющего себе такие сентиментальные шалости?

И вдруг однажды летом раздается звонок от одного моего приятеля-режиссера. Он жил за городом, в деревне. Он сказал, что со мной хочет поговорить мой земляк, и кому-то передал трубку. Я сразу узнал голос Рауля.



— Хотелось бы увидеться, — сказал он, — можешь приехать?

— Конечно, — ответил я.

Мне и в самом деле хотелось увидеться с ним и, может быть, наконец узнать тайну его исчезновения из Абхазии. К тому же мне вообще нравилась семья этого режиссера, их небогатый, но всегда веселый и гостеприимный дом. Я сел в электричку и поехал, по дороге гадал, как там мог оказаться Рауль, и, если они знакомы и близки, почему они о нем ни разу не вспомнили при мне.

Я вышел на станции и побрел к дому режиссера. Был теплый летний день, повсюду буйствовала зелень. Недалеко от дома режиссера я увидел очаровательную картину. На длинной скамейке сидели юноша и девушка. Девушка сидела как-то боком, стройно подобрав ноги и чуть наклонив вперед свое гибкое тело и лохматую голову: наездница в женском седле. В детстве в Абхазии я еще застал наездниц в женских седлах, и меня всегда тревожило, как они удерживаются в седле с ногами на одну сторону. Юноша сидел на скамейке верхом, как в мужском седле. Крепкое тело его и голова, тоже лохматая, были наклонены в сторону девушки. Казалось, всадник и всадница мчатся навстречу друг другу и никак не могут домчаться. Они сидели примерно на расстоянии метра друг от друга. О скорости скачки говорили только тела, наклоненные вперед, да лохматые головы. Они молчали, пока я проходил, и было похоже, что молчали гораздо дольше. Ясно было, что они влюблены. Торжественное молчание, и они мчатся навстречу друг другу.

Эта картина как-то меня взбудрила. Я даже подумал, что это хорошая примета. И вот наконец мы увиделись с Раулем. Время, время! Я его, конечно, сразу узнал. Но теперь из добродушного увальня он превратился в мрачновато-добродушную глыбу: сильно потолстел.

Рядом с ним была известная, талантливая, интересная актриса. Она работала в театре, где был режиссером хозяин дома. И стало ясно, почему он сюда попал. Как потом выяснилось, у Рауля с ней был многолетний роман, но здесь они вдвоем появились впервые. Была еще одна пара. Родственник режиссера из Ленинграда со своей женой. Они приехали сюда на несколько дней погостить. Я его здесь несколько раз встречал. Это был крупный физик, а если бы, к своему несчастью, не писал пьес, которые никто не хотел ставить, в том числе и его собственный родственник, он, вероятно, стал бы еще более крупным физиком.

— В Абхазию не тянет? — спросил я у Рауля.

— Нет, — ответил он, — отдыхать езджу, но жить уже там не могу: компот. Я привык к Северу, есть где развернуться.

Слышать про компот было неприятно. Патриотизм имеет множество оттенков, но в нем до сих пор не было оттенка смирения. Так проявим же смирение: компот так компот. Возможна и такая точка зрения.

— Это правда, что ты самолет послал в Абхазию за мимозой? — спросил я, напоминая о давней дискуссии.

— Правда, — признался он мрачно. — Далась им эта мимоза. Я ее и в глаза не видел. Но наши женщины работают там в таких зверских условиях, что мне захотелось им сделать подарок. Сколько раз писали, что я одним рейсом отправил в Абхазию самолет за мимозами. Но ни разу не писали, что в том же году, уже не по моей инициативе, самолеты сделали пятьсот рейсов на Большую землю за спиртом.

— Ты бы мне хоть раз веточку мимозы подарил, — шуточно пожаловалась актриса, — наши женщины...

— Я им сказал, — рассмеялся он, — чтобы они, пролетая над Москвой, сбросили тебе веточку мимозы. Разве они этого не сделали?

— Может, ты спутал адрес, — сказала актриса, — и они не туда ее сбросили?

— У меня нет других адресов, — отвечал он, — вот поедем в Абхазию, я тебе целое дерево мимозы подарю.

— А как мы его вывезем? — заинтересовалась она.

— На вертолете, — сказал он с мрачной серьезностью.

— Нет, уж лучше не надо, — смирилась она, — представляю, что о тебе тогда напишут.

— Уже все написали, — отвечал он.

Хозяйка дома — она тоже была актрисой — с быстротой молнии накрыла на солнечной веранде прекрасный стол из всяческих разносолов домашнего изготовления, дымящейся молодой картошки и прочей закуски. В раблезианском обилии выпивки угадывался почерк Рауля. Но с какой сказочной быстротой появился на благоухающей веранде этот цветущий оазис стола!.. Да, есть еще интеллигентные женщины в русских селеньях, которые могут играть на сцене, в антрактах рожать детей, а в свободное время быть хлебосольными хозяйками.

Кстати, четверо ее детей, три мальчика и одна девочка, прямо перед верандой, азартно крича, играли в бадминтон.

За верандой, всего в десяти шагах от нас, начинался настоящий подмосковный лес: сосны, березы, ели. Рядом с телесно-загорелыми соснами девственно белели стволы берез. Чем-то это напоминало черноморские пляжи, где рядом с забронзовевшими телами отдыхающих женщин бледнеют тела новоприбывших туристок. Глядя на загорелые стволы сосен и белые, не принимающие загара стволы берез, хотелось (после первых рюмок) выдвинуть гипотезу, по которой березы вышли к солнцу на несколько миллионов лет позже сосен. Мрачноватые ели как бы пытались доказать, что они детища еще более древнего

и более угрюмого, чем солнце, светила и не собираются ему изменять.

Мы расселись на веранде и уже выпили по две рюмки водки, закусывая ее горячей картошкой и соленьями, как вдруг раздался зычный голос женщины:

— Хозяйка!

— Это молочница, — сказал хозяин, заметно помрачнев, как если б на нас в пылу пиршества нагрянула ревизия.

Хозяйка пулей устремила в дом.

— Ну и что? — спросил Рауль, почувствовав некоторое несоответствие между мирным приходом молочницы и странным помрачением хозяина.

— Тут сложные отношения, — сказал хозяин, — жена сама расскажет.

— Если нас заставят пить парное молоко вместо водки, будем сопротивляться до последней рюмки, — сказал Рауль, с шутливой поспешностью разливая всем водку.

Вскоре вернулась хозяйка. Лицо ее выражало некоторую победную растерянность.

Вот что она нам рассказала:

— Уже месяц, как нам носит молоко местная молочница. Каждый раз, когда я пыталась ей дать деньги, она отмахивалась: „Потом-потом“.

А нас за последние годы дважды грабили, когда мы бывали на гастролях. Весь поселок говорит, что это дело рук сына молочницы. Да мы и сами знаем, что он настоящий вор. Но доказательств нет никаких. Сегодня я с ней хотела окончательно расплатиться, но она мне говорит:

— Я с вас денег не возьму. Вы нам столько хорошего сделали.

— Да уж, — не удержалась я, и на этом растались. И отказаться от нее не хватает духу: детям нужно молоко.

Все расхохотались, находя в этом случае глубокий смысл всей российской ситуации.

— Нет правового сознания, но теплится совесть: мы ее маленько ограбили, теперь маленько поможем молоком.

— Ничего себе — маленько ограбили! — подняла голос хозяйка.

— Нет, это чисто русское любопытство к крайней ситуации. Она ведь сама почти призналась в том, что это они этот дом грабили.

— Призналась по глупости!

— На Западе грабитель к ограбленному никогда добровольно не придет!

— Собственность священна — этого наш человек никогда не поймет, потому что государство всегда его грабило.

— Воровство в России уравнивает недостатки плохого правления.

— Воровство — тайна многотерпения русского народа.

— Когда воровать становится нечего, то есть когда воровство становится нерентабельным, русский народ быстро забывает о своем многотерпении и устраивает революцию. И тут уже выгребают подчистую.

— Знать бы, когда воровство станет нерентабельным, чтобы удрать отсюда.

— Успокойтесь, Россия еще очень богата.

— Дело не в русских, а в азиатчине. На Кавказе у нас воруют больше, чем в России. Когда жизнь теряет творческий смысл, люди привязываются к воровству. Воровство — тоска по творчеству, имитация творчества.

— Я имел много дел с западными издателями. Среди них попадаются такие жулики, каких у нас поискать. Но разумеется, со своими писателями они не могут себе позволить то, что позволяют себе с нашими. Это говорит об универсальной природе человека.

Ясно, что из России невозможно судиться с западным издателем. И он это знает, и это создает для него соблазн. Значит, дело в неминуемом правовом возмездии. Но в бесправном государстве правового возмездия не боятся, потому что люди и так лишены прав. Тюрма не создает этического неудобства. Нам надо, чтобы люди почувствовали сладость полноценного правового существования, и вот тогда они будут по-настоящему бояться правового возмездия.

— На это уйдет сто лет, — сказал Рауль. — Лучше я вам расскажу забавный анекдот, который я недавно слышал. Стоят два антисемита — глупый и умный. Проходит похоронная процессия. Глупый антисемит спрашивает: „Кого хороните?“ — „Еврея“, — отвечают ему из процессии. Глупый антисемит оборачивается к умному: „А разве евреи умирают?“ — „Иногда умирают, — отвечает умный, — но чаще притворяются“.

Посмеялись и снова разлили водку.

— Что ни говори, Маркс — грандиозная личность. Создать стройную теорию возмездия всем имеющим деньги во всемирном масштабе — это надо быть гением. Процесс Маркса с человечеством длится уже сто пятьдесят лет...

— Но время показало, что Маркс проиграл этот процесс.

— Еще не вечер. Возможна новая революционная волна, и скорее всего на Западе. Компьютер, создавший техническую революцию, может стать источником и социальной революции.

— Как так?

— Главный недостаток планового хозяйства — это абсолютная невозможность учета из одного центра всего, что делается в стране. Компьютер создает возможность такого учета.

— Главное противоречие России — орлиные просторы и куриное зрение правителей.

— Самоуправление всех частей России — вот спасение.

— Самоуправление у нас кончится самоуправством.

— Ну, это филология.

— А что ты думаешь, филология играет огромную роль в политике. Временное правительство было обречено на гибель уже потому, что назвало себя временным.

— Кстати, я никак не могу понять, почему бы не взять классическое стихотворение русской поэзии и не сделать его гимном страны. Например, стихи Блока „О, весна без конца и без краю“.

— Это, конечно, очень подходит России: вечная весна!

— А вы заметили, что северные, тундровые, народы имеют какое-то сходство с очень южными, например африканцами, или там всякими островитянами. Где слишком холодно и слишком жарко — там замедляется духовная жизнь.

— Точнее сказать, там, где слишком много энергии уходит на борьбу за существование, и там, где слишком мало энергии идет на борьбу за существование, замедляется духовная жизнь. Нужна середина.

— Ну что ж, у нас есть одно утешение. Сказано же: нищие духом первыми войдут в Царство Божие.

— Ничего себе — нищие духом! Русская литература за семьдесят лет, с начала зрелости Пушкина до зрелости Чехова, с блистательной быстротой прошла путь, на который европейским народам понадобилось пятьсот лет.

— Ну, это особенные условия, сложившиеся в девятнадцатом веке. Гений Пушкина еще и потому так развернулся, что у него был такой читатель, как Чаадаев. Дворянство в России не занималось практическими делами, оно читало.

— А может, Россия зачиталась и прозвала свой поезд?

— Коренную ошибку Маркса ничем нельзя исправить. Если бы социальное зло было единственным

или главным, он оказался бы прав. Но зло, как уже доказывал Достоевский, лежит в человеке глубже, чем его социальная жизнь.

— Человечеству нужен религиозный колпак.

— Но колпак как раз прикрывает небо.

— Не придирайся к словам.

— Кстати, знаменитый афоризм: бытие определяет сознание. Кажется, Энгельс его придумал. Сколько нам его вдалбливали. Но разве это так?

— Это с какой стороны посмотреть. Чем примитивнее человек, тем бесспорнее бытие определяет его сознание. Чем глубже, чем разумнее человек, тем чаще его сознание определяет его бытие.

— Всякое бытие беременно новым сознанием!

— Совершенно верно, но далеко не всякий это понимает! Для человека развитого всегда сознание определяет бытие. Если бы бытие физика Эйнштейна определяло его сознание, не было бы теории относительности.

— А может, лучше бы ее не было?

— Подожди, это другой вопрос. Совершенно ясно, что мы за разумного человека, у которого сознание определяет бытие. Но что движет народы? Вот что главное. Народами движет соблазн бытия, определяющего сознание. И потому Маркс всегда впереди. Марксизм — всегда религия примитивного сознания. А все народы были, есть и будут примитивны. Этика не передается генетически. Человек каждый раз рождается дикарем. И если первый штурм Маркса в России скорее всего не удался, это ничего не значит. Рано или поздно последуют новые штурмы в новых местах.

— Ты хочешь сказать, что культура не воздействует на жизнь народов?

— История доказала, что нет. Всякий народ, видимо, способен растворить в своих недрах культуру процентов на пять. Не больше. После чего образуется насыщенный раствор. Такова химическая сущность



всех народов. В более или менее полной мере культуру поглощают те, кто создает культуру. Таким образом, культура пожирает сама себя.

— Ты слишком мрачную картину нарисовал. Где же выход?

— По-видимому, в религии. Самый примитивный человек, если он религиозен, сам того не понимая, музыкально превращается в разумного человека. То есть в человека, для которого религиозное сознание определяет бытие. Религиозный человек за Марксом не пойдет.

— А по-моему, вся мировая история — это борьба ума с мудростью, цивилизации с культурой. Цивилизация — оголенный ум. Культура, мудрость — нравственно осмотрительный ум. Пока что на протяжении всей истории культура уступает под напором цивилизации. Цивилизация выигрывает все бои, но она сама себя неизменно истощает. Культура все время отступает, но сохраняет и накапливает свои силы. Цивилизация — это Наполеон, безостановочно наступающий на Россию и в конце концов проигрывающий решительное сражение. Ум не может понять чужую территорию, а для мудрости нет чужой территории, потому что для нее принципиально нет чужих.

— Кто-то тут говорил, что духовная жизнь замирает в слишком холодных и слишком жарких странах. А ведь все великие религии созданы в жарких странах: буддизм, христианство, магометанство.

— Оттого-то человечество такое счастливое!

— В жарких странах люди от жары раньше проснулись. В этом дело!

— В жарких странах сознание легко миражирует. Тоска по оазису создает миражи.

— Так что ж, по-твоему, христианство — это мираж?

— Конечно, красивый мираж!

— Даже если это так, нужен такт!

— Да ты, брат, пьян!

— Я не пьян. Я, как народ, — насыщенный раствор.

— В конце концов, какая разница: религия — мираж или действительность, если она действительно помогает человеку. Я в юности толкал ядро. И вот я заметил такую закономерность: если, когда толкаешь ядро, мысленно намечаешь точку, где оно упадет, примерно на метр дальше, чем ты толкаешь, то ядро действительно летит дальше, хотя и не на метр. Но если намечаешь точку, куда упадет ядро, примерно на два метра дальше, чем там, где у тебя обычно падает ядро, то оно летит даже хуже, чем когда ничего не намечаешь.

— Что из этого следует?

— Вера — это когда намечаешь на метр дальше, чем можешь. Это придает силы и, может быть, более правильную траекторию летящему ядру. Фанатизм — это когда намечаешь точку на два метра дальше своих возможностей. Фанатизм — бешенство мечты. Он все разрушает. Бог ненавидит своих бешеных приверженцев.

— Кстати, что вы скажете о философии женственности, если для нас это еще не поздно.

— Нет, нет, милая, для вас это еще не поздно!

— Спасибо за этот финишный комплимент!

— „Что мужчине нужна подруга, женщине не понять, А тех, кто знает об этом, не принято в жены брать“.

— Есть два типа женственности. Женственность публичного дома и женственность семейного дома. Женственность публичного дома рассчитана на однократный удар. Тут надо оглушить мужчину оголенностью и развязностью.

Истинная женственность состоит в бесконечном многообразии запахивающих движений. Как духовных, так и физических. И сколько бы мужчина ни делал вид, что ему нравится распахнутая женщина...

— Это он, подлец, так делает потому, что жениться не хочет...

— Совершенно верно... На самом деле ему всегда нравилась и будет нравиться вечная женственность прикрывающегося движения. Стыд — самая соблазнительная одежда женщины. Современная цивилизация словно хочет из всех женщин сделать проститутку. Кино, книги, телевидение, моды всячески поощряют оголенность. Разумеется, в этом нет какого-то дьявольского умысла. Есть желание быстрее продать свое изделие. Но вред это приносит изрядный. Женщина думает, что так мужчине легче понравиться, а мужчина уже не может порядочную женщину отличить от шлюхи.

Все три женщины в нашем застолье были в легких летних платьях, с оголенными руками и шеями.

— Прямо не знаю, как быть теперь, — сказала подруга Рауля, — не придется ли нам?

— Вы уже вне игры, — шутливо сказал Рауль, — вас это не касается.

— Ты в этом уверен? — иронически заметила его подруга и с выражением очаровательного испуга скрестила руки на груди, якобы прикрывая оголенные плечи. И в самом деле сразу сделалась соблазнительнее. Сыграла.

Мы прекрасно сидели. Подруга Рауля была хороша и лихо выпивала водку почти наравне с мужчинами. Вдруг она выразительно посмотрела на меня и рассказала:

— Еще в начале царствования Брежнева я, тогда молоденькая актриса, играла в одной пьесе секретаршу большого начальника. На сцене у меня было много пауз, и я должна была делать вид, что увлечена чтением какой-то посторонней книги и поэтому явно уклоняюсь от своих обязанностей. Это был такой сатирический ход в пьесе. А я на самом деле в это время читала один самиздатовский роман. И вдруг во время чтения я так прыснула от смеха, что страницы

рукописи, напечатанной на папиросной бумаге, разлетелись по сцене, а некоторые даже залетели в партер. Секунду я ни жива ни мертва: если начальство узнает, что именно я читала, — выгонят из театра.

И вдруг слышу аплодисменты зрителей. Они решили, что я окончательно распоясалась, что это входило в замысел постановки. Я взяла себя в руки, собрала разлетевшиеся листки, а из партера мне подали те, что залетели туда. Я села на свое место и уже как ни в чем не бывало делаю вид, что продолжаю читать. Никто ничего не узнал. Режиссер решил, что я симпровизировала эту сценку достаточно удачно, и просил меня повторить ее, когда мы в следующий раз будем играть эту пьесу. Но я, конечно, больше ее не повторяла.

Мы посмеялись ее рассказу. Скромность мешает мне назвать автора тогда подпольного романа. И вдруг в разгар пиршества, когда хотелось воскликнуть: „Остановись, мгновенье, ты прекрасно!“ — подруга Рауля сильно побледнела и сказала:

— Мне что-то плохо. Я пойду лягу.

Рауль вскочил, но хозяйка дома, опережая его, подбежала к ней и попыталась помочь ей встать. Но она отстранилась от помощи и встала сама, бледная, с капельками пота на лбу. Продолжая отстраняться от помощи хозяйки, она очень прямо и очень твердо вошла в дом. Рауль и хозяйка последовали за ней. Через некоторое время хозяйка вышла на веранду.

— Дала ей валидол, — сказала она, — кажется, лучше.

— Она выкладывается на репетициях, как на премьере, — с грустной гордостью заметил хозяин, — талант прет из нее. Но порой не выдерживает нагрузок.

Мы еще посидели за столом. Подул предзакатный ветерок, и березы, как сухопутные ивы, затрепетали струящейся зеленью веток: множество прощальных косынок. Я как бы про запас полной грудью вдохнул благоухающий воздух и как бы про запас посмотрел

на небо: под высокими перистыми облаками реяла последняя ласточка.

Я решил узнать, как дела у заболевшей, а потом ехать домой, то ли с Раулем, то ли одному. Я вошел в комнату, где лежала его подруга. Дверь в нее была распахнута. Она спала на кровати, укрытая одеялом. Рауль молча сидел у ее изголовья, погрузневший и как бы еще более погрузневший. Его грузность сейчас подчеркивала необъятность его терпения.

И вдруг что-то неуместно-комическое я увидел во всей этой сцене. Здесь, в далеком Подмоскowie, он словно вернулся к традициям абхазской народной жизни. Это у нас называется дежурить у постели больного, а если точнее переводить, караулить, вероятно, чтобы вовремя остановить его душу, не дать ей отлететь. Вошла хозяйка и пощупала пульс больной.

— Все в порядке, — шепнула она, — завтра на репетиции будет как огурчик. Езжайте.

Мы попрощались со всеми, выпили на посошок и пошли к электричке. Я обратил внимание на то, что влюбленная парочка, сидевшая на скамье, все еще сидит там в тех же позах, как бы наезжая друг на друга на конях, но кони все еще никак не доскачут. Расстояние между ними оставалось прежним, но наклоненные головы сильно приблизились. Вот оно, настоящее чудо тяги друг к другу, чудо влюбленности и стыда. Все-таки жизнь продолжается на Земле!

Что мужчине нужна подруга, женщине не понять,  
А тех, кто знает об этом, не принято в жены брать.

Это бормотал Рауль.

— Здорово сказано! Чьи стихи? — спросил Рауль.

— Киплинга, — сказал я.

Помолчали. Мне вдруг показалось, что процитированные стихи имеют какое-то отношение к его внезапному исчезновению из Абхазии и он сейчас сам все расскажет. Но он заговорил о другом.

— Слушай, — вдруг сказал Рауль, морщась от неловкости и всовывая свою лапшу во внутренний карман пиджака, — я знаю, тебя сейчас не печатают... Я хочу тебе не дать... считай, одолжить деньги до лучших дней...

Я, конечно, денег у него не взял. Но жест его был так искренен и сам он так смутился, что я был тронут.

— Ну, ладно, как хочешь, — сказал он и добавил: — Тебя, конечно, интересует, почему я внезапно уехал из Абхазии? Я тебе сейчас все расскажу.

И он мне рассказал свою историю с подробностями, на которые я и не рассчитывал.

В Москве, во время учебы в строительном институте, он познакомился с девушкой из Абхазии. Она была на несколько лет младше его и училась в Плехановском институте экономики. Они влюбились друг в друга, и у них начался бурный роман, который длился почти до окончания им института.

Первая любовь всегда оказывается несчастливой, даже когда она счастливая. Когда первая любовь счастливая, человек не понимает этого, потому что она первая. Ему ее не с чем сравнивать. Первая его любовь была и первой женщиной, которую он узнал. Так прошло несколько безоблачных лет.

Приезжая на лето в Абхазию, они расставались, потому что он жил в Гудаутах, а она в Мухусе. Ему было ужасно неловко знакомиться с ее родителями, потому что он уже жил с их дочкой, но не был на ней женат и даже не считался женихом. Все-таки она один раз затащила его в свой дом, и он навсегда запомнил ее мать, интересную женщину с большими выразительными глазами. Скорее всего, запомнил от стыда.

И так как его первая любовь и была его первой женщиной, и так как роман с ней у него был безоблачный, в конце концов перед ним встал вопрос: и это все, что можно ожидать от женщины? Не может быть!

Именно эта мысль охладила его отношение к своей девушке. Он решил, что ему жениться рано. Он решил, что у него была обыкновенная любовь, а ему надо испытать необыкновенную. Разумеется, при расставании были слезы, объяснения, ночные звонки. Однако она была гордой девушкой, и недолго длились объяснения. К тому же все эти годы — он знал об этом, да она и не скрывала — в достаточно обозримой близости от нее маячил влюбленный студент.

Итак, они расстались. После окончания института он приехал в родной город и стал там работать в строительном управлении. Там он пробыл несколько лет, быстро поднимаясь по службе. За это время у него было несколько романов с женщинами, приезжавшими отдыхать на Черноморье. И он с удивлением осознал, что ни одна из них ничего нового ему не открыла.

Более того, он с не меньшим удивлением убеждался, что на самом деле не был в них влюблен, что это ему только казалось до первой близости. И с еще большим удивлением он догадался, что и эти женщины не были в него влюблены, но в отличие от него у них не было даже этой иллюзии.

Это его потрясло. Ему казалось, что женщина по самой своей природе романтичнее мужчины. Он все больше и больше тосковал по своей первой любви, хотел что-нибудь узнать о ее судьбе, но узнать было не у кого. Обращаться к ее родителям он не рискнул. Если они что-то узнали о его истинных отношениях с их дочкой, он бы испепелился от стыда.

В конце концов он, как и многие мужчины, влюбился и женился на девушке, которая внешне чем-то была похожа на его первую любовь. Однако первая любовь не повторилась, и особенной душевной близости он с этой женщиной не испытывал. Тогда он вообще махнул рукой на любовь. Детей у них не было: жена не могла рожать, и он весь сосредоточился на работе, которая его и так захватывала. В предыдущ-

как между трудовыми запоями он предавался застольным радостям или чтению книг, в которых он искал юмор как земную замену счастья.

Вскоре из Гудаут его перевели в Мухус, и он здесь стал начальником одного из самых крупных строительных управлений. В обкоме его ценили как хорошего спеца и прощали ему некоторые странные выходы, которые не простили бы другому.

Так, перед заселением им же построенного дома какой-то чиновник горсовета вычеркнул из списка очередников рабочего из его строительного управления. Вместо него он втиснул в этот список своего родственника. Дело еще осложнялось тем, что рабочий этот задолго до заселения дома пришел к нему и сказал, что квартиру отдадут совсем другому человеку. Рауль позвонил чиновнику из горсовета, но тот его успокоил и сказал, что список остается неизменным. Рауль был удивлен такой подозрительностью рабочего и уверил его, что он обязательно получит квартиру.

— Как вы посмотрите мне в глаза, Рауль Асланович, если я окажусь прав? — сказал рабочий.

— Я вам даю право плюнуть мне в глаза, — сказал Рауль, — если вы останетесь без квартиры.

И вот в последнее мгновение этого рабочего действительно убрали из списка и квартиру дали именно тому инженеру, на которого указывал рабочий.

Бледный, с трясущимися руками, рабочий ворвался к нему в кабинет в день вселения в новый дом.

— Вы не останетесь без квартиры, — сказал ему Рауль, как бы опережая плевок, на который все же навряд ли был способен этот рабочий, — сегодня же переезжайте в мою квартиру. Меня или посадят, или дадут новую квартиру. В обоих случаях, как видите, я не останусь без квартиры.

И захохотал. И этим навсегда покорила этого рабочего. Тот и в самом деле с женой, тещей и двумя детьми в тот же день переехал к нему в квартиру. Причем



стройуправление Рауля выделило ему машину для переезда.

Весть о том, что начальник самого крупного строительного управления в знак протеста против незаконного распределения квартир поселил у себя в доме рабочего со своим семейством, потрясла чиновничий аппарат Мухуса. Такого никогда не бывало и не должно было быть! Конечно, арестовать Рауля за это не могли, но все были уверены, что его под тем или иным предлогом снимут с работы. Но кого назначат на его место, гадали в аппарате самого обкома.

Рауля спасло то, что Абхазией тогда правил знаменитый Абесоломон Нартович, человек сам лихой и тщательно коллекционировавший лихие поступки подданных его царства.

— Он поступил как настоящий большевик, — сказал на бюро обкома Абесоломон Нартович, — и мы его за это должны поддержать.

Но Абесоломон Нартович не был бы самим собой, если бы тут же, на глазах у Рауля и не предупредив его, не присочинил кое-что о своем участии в его небольшом подвиге.

— Не думайте, что все это так стихийно случилось, — добавил Абесоломон Нартович, — он мне по телефону рассказал всю историю с этим рабочим и посоветовался, как ему быть. Я ему на это ответил: „Ты рабочему обещал квартиру — значит, выполняй обещание. Мы не можем обманывать рабочий класс“.

— Да, но заигрывание с массами, — зароптали обкомовцы, напоминая знакомую формулу.

Но Абесоломон Нартович и тут нашелся.

— Шарахалесь от заигрывания с массами, — сказал он, — мы слишком заигрались в обратную сторону. Если обком не выделит квартиру этому талантливому инженеру, я его, в свою очередь, беру к себе домой. Тогда вам придется выделить новую квартиру секретарю обкома, а это вам дороже обойдется.

Через три дня Раулю выделили новую квартиру из обкомовских запасов, а рабочий со своим семейством так и остался на его старой квартире.

Вся эта история имеет типичные особенности и довольно забавно кончилась. Во-первых, никому в голову не пришло, что надо выдворить из квартиры инженера, незаконно ее занявшего. Это было не под силу даже самому Абесоломону Нартовичу. Я несколько раз в жизни сталкивался со случаями просто разбойного захвата квартир, когда захватывавшие эти квартиры даже не заручались мошеннической помощью чиновников. Они занимали самовольно квартиры, потом баррикадировали дверь, некоторое время через окно на веревке спускались за продуктами, и в конце концов их оставляли в покое. Власть, написавшая на своем знамени гимн насилию, почему-то в таких случаях остерегалась применить насилие. Что их удерживало? Загадка. То ли боязнь публичного скандала — огласки, то ли смущение перед неожиданным насилием снизу? Надо при этом учесть, что на такие отчаянные шаги обычно шли люди, многие годы бесплодно состоявшие в очередниках горсовета.

Но и для Рауля, несмотря на высочайшую защиту Абесоломона Нартовича, история эта просто так не кончилась. Когда страсти улеглись, его собственная парторганизация, конечно с подсказки обкома, вlepила ему выговор с забавной формулировкой: „За административную бестактность“. Абесоломон Нартович мог об этом и не знать. В обкоме всегда, согласно с диалектикой (единство противоположностей), действовали две силы.

Зато доподлинно известно, что сам Абесоломон Нартович не без пользы для себя неоднократно рассказывал отдыхающим в Абхазии большим московским начальникам про этот случай. При этом он искренне забывал, что Рауль к нему за советом не обращался и он ему никаких советов не давал. Большие московские начальники одобрительно кивали голова-

ми, удивляясь экзотическим крайностям на окраинах.

— Иногда с бюрократами приходится бороться парадоксальными методами, — заключал свой рассказ Абесоломон Нартович. И большие московские начальники одобрительно кивали головами, не только не подозревая, что сами они тоже бюрократы, но радуясь, что со своими бюрократами им не приходится бороться столь парадоксальными методами.

Тем не менее Рауль вел с обкомовцами сложные интриги, сущность которых сводилась к тому, чтобы уступать им во второстепенных просьбах и рекомендациях, но стоять стеной там, где эти рекомендации грозили провалом в работе. Так, он не взял на работу ни одного инженера из тех, кого ему навязывал обком. Навязывали всегда плохих.

Идти на полную независимость от обкома он не мог. По его словам, на стройке всегда найдут, к чему придраться, снимут с работы и назначат такого остола, который все обрушит. Так, по его словам, оплата земляных работ в те времена производилась по расценкам тридцатых годов, а за такую оплату ни один рабочий не пойдет на стройку. Приходилось выкручиваться, приписывая рабочим объем этих работ, чтобы они получали приличные деньги.

И вот однажды воскресным днем, сидя в „Амре“ и попивая кофе, он увидел, как через столик от него присели две женщины с чашечками кофе. Одна из них была матерью его первой любви. Он почувствовал волнение. Он встретился с ней глазами и поздоровался с осторожной почтительностью. Но она смотрела сквозь него, словно он был прозрачным. Потом отвела глаза. Он подумал, что она по рассеянности его не заметила, и снова, поймав ее взгляд, когда она посмотрела в его сторону, с подчеркнутой почтительностью поздоровался с ней. Она опять ему не ответила! Черт его знает, что ему показалось! Ему подумалось, что с ее дочкой случилось какое-то несчастье,

что мать узнала об их истинных отношениях, что, если бы он не бросил ее дочку, с ней этого несчастья не случилось бы.

Потемнев от боли, обиды, унижения и страшных предчувствий, он покинул „Амру“. Теперь девушка его первой любви и ее мать, презрительно смотревшая сквозь него, не выходили у него из головы. И так как он об этом думал день и ночь в ближайшие два месяца, он, несколько раз встречая ее на улице, издали узнавал. В первый раз он опять почтительно кивнул ей, она шла навстречу и никак не могла не заметить его, но она, не мигая своими большими синими глазами, смотрела сквозь него, оледеняя презрением. И он перестал с ней здороваться, хотя еще несколько раз встречал ее на улице. Увидев ее, он чувствовал как бы разряд тока огромного напряжения и, почти теряя сознание от ужаса, проходил мимо. Но что случилось с ее дочкой, не у кого было узнать. А вдруг она, никому ничего не сказав, покончила жизнь самоубийством? Он знал силу ее характера и теперь понимал, что от нее всего можно было ожидать.

К нему пришла бессонница, которой он никогда не ведал. Лежа рядом с беззаботно посапывающей женой и представляя океан бессонной ночи, который предстоит переплыть, он приходил в такое отчаяние, что с трудом отворачивался от сулящего покой распахнутого окна. То, что жена ничего не подозревала о его мыслях, с одной стороны, его устраивало. Но с другой стороны, приводило в невероятную ярость. Рядом с ней мучается много недель ее муж, близкий к самоубийству, так неужели можно ничего не заметить? Конечно, он ей ничего не говорил, но неужели, курдючная душа, думал он, можно ничего не замечать? Хотя бы заподозрить, что у него на работе какие-то неприятности? Нет, ничего не замечала. И может быть, именно потому воспоминания о первой любви разрастались, как раковая опухоль.

Теперь он никак не мог понять, почему он ее бросил. Как можно было, любя, бросить любящую де-

вушку? „Сам я — курдючная душа“, — злобно думал он о себе. Он вспоминал, как вершину счастья, один случай из их жизни. В то лето они несколько дней гостили за городом на даче его друга. Дача была расположена над Москвой-рекой. В тот день они на попутной лодке переплыли на другой берег, долго гуляли в лесу, поклевывая сладкую малину, заблудились, плутали, вышли в маленький городок, голодные, зашли в ресторан и так засиделись в нем, закусывая и выпивая, что, когда покинули ресторан, оказалось, что последняя электричка ушла и им не попасть на тот берег.

— Давай переплывем реку? — сказала она, посмотрев на него безумными влюбленными глазами.

— Давай, — сказал он, и они спустились к берегу. Безлунная, почти белая ночь, и никого вокруг. Он знал, что она хорошо плавает. Но кто его знает, что может случиться? Не глядя на нее, а только стараясь охватить взглядом ширь реки, он прибавил: — Но учти, что нам тонуть никак нельзя.

— Почему? — спросила она.

— Представляешь, какой ужас, — сказал он, продолжая оглядывать реку, — нас обнаружат голыми.

— Разве это так ужасно? — сказала она насмешливо. Он повернул голову — она стояла перед ним голая, стройная, юная. Когда она успела? — подумал он, удивляясь фантастической скорости, с которой она успела раздеться. В их бездомных скитаниях, рискованных уединениях бывали случаи, что их могли застукать случайные люди, и тогда она вот с такой же фантастической скоростью успевала привести себя в порядок.

Он тоже разделся догола, тщательно свернул и связал одежду обоих, взял этот узел в одну руку, и они погрузились в холодную ночную воду. Он плыл, гребя одной рукой, а другую, с одеждой, высунув над водой.

— Я знаю, что ты сделаешь, если я утону, — сказала она, тихо смеясь над водой.

— Что? — спросил он, осторожно загребая одной рукой.

— Ты сначала выплывешь на берег, наденешь трусы, а потом поплывешь доставать меня со дна.

— Точно, — ответил он, стараясь не окунуть в воду узелок с одеждой.

— Вероятно, если здесь не слишком глубоко, достанешь меня со дна и осторожно, как эту одежду, отбуксируешь к берегу, — фантазировала она.

— А потом? — спросил он, чувствуя, что рука с одеждой затекает от неподвижности.

— А потом, — продолжала она, — ты сделаешь мне искусственное дыхание, но я не оживу. А потом ты попробуешь другой способ, и я оживу.

Он так захохотал, что чуть не окунул в воду узел с одеждой.

— Он еще хохочет! — кричала она, смеясь. — Прочь от меня, труположец! Я выйду замуж за чистого мальчику, который любит меня издали! Он — рыцарь!

Безумцы! Они еще шутили! Что бы было, если б на них наткнулся какой-нибудь патрульный катер! Но никто на них не наткнулся, он только поглядывал на ее побледневшее от холода и необыкновенно похорошевшее лицо, и они благополучно добрались до берега.

И как было изумительно, когда они, уже на берегу, бросились друг другу в объятия и она, дрожа и клая зубами, искала губами его губы, и как было чудесно прижиматься к ее холодному мокрому телу, всем телом добираясь до горячо струящейся ее крови. Как долго — оказалось, на всю жизнь — длилось блаженство от холода и страха, что их все-таки кто-нибудь увидит! Но никто их не увидел! И никто их никогда не накрывал в их бездомье ни в студенческих общежитиях, ни в загородных лесах, ни когда они внезапно уединялись на молодежных сборищах в чьей-нибудь случайной квартире!

Как он мог бросить такую девушку, как он мог выдержать ее слезы, когда она в последний раз звонила и звала его на встречу, а ему казалось, что все уже ясно, что все уже и так сказано, а главное, ему было жалко покидать застолье в доме его друга, где он с ней несколько раз был счастлив и куда она ему догадалась позвонить, понимая, как унизителен ее звонок в дом его друга, где она бывала в качестве его полноправной возлюбленной!

Ужас вины перед ней сотрясал его душу. Он не знал, что думать: заболела неизлечимой болезнью, стала калекой, умерла?! А тут еще ее мать ходит по городу с широко распахнутыми глазами и смотрит сквозь него! Невыносимо! Еще две-три встречи — и он позорно грохнется на землю и потеряет сознание!

И тогда он понял, что надо навсегда покинуть Абхазию и ехать на Север. Почему на Север? Просто потому, что там работал его товарищ по студенческим временам и в своих письмах усиленно зазывал его туда. Ночью перед отъездом, преодолевая чувство вины перед женой, он ей сказал, что навсегда уезжает на Север. К этому времени она уже понимала: что-то должно случиться. В ответ она ему сказала самое глупое и самое успокоительное из всего, что можно было сказать:

— А как имущество делить будем?

И он окончательно уверился в правильности своего решения.

— Делить нечего, — сказал он, — я беру только чемодан со своими вещами.

Так он оказался на Севере, где руководил огромной стройкой, столь огромной, что ему и самолет с мостомами вынуждены были простить.

Когда он стал рассказывать о женщине, которая от презрения к нему смотрела сквозь него, я чуть не закричал, но вовремя прикрыл рот. Дело в том, что я достаточно хорошо знал эту женщину и ее семью. Они жили на нашей улице, и в ее дочь был влюблен мой

школьный товарищ и даже посвящал ей стихи. Впрочем, вероятно для рифмы, он был влюблен в еще одну девушку.

Как мило она высовывалась из окна веранды, стена которой низвергала фиолетовый водопад глициний! Цвет ее глаз! „Ее глаза подражают глицинии или глицинии подражают ее глазам?“ — философствовали тогда два школьника.

Обычно она высовывалась из окна веранды, когда мы возвращались из школы. Я думаю, что звук школьного звонка дотягивал до ее дома. И хотя она не отвечала моему другу взаимностью, ей лестно было, что этот интересный мальчик, да еще лучший школьный поэт, влюблен в нее.

Мы несколько раз бывали на вечеринках в ее доме. И хотя мы были однолетки, я понимал, что эта обаятельная девушка только оттачивает о нас зубки своей женственности. Почему-то чувствовалось, что она ждет кого-то постарше нас. Ее мать была ужасно близорука, но, видимо, из пожизненного кокетства никогда не надевала очки. Эта интересная сорокалетняя женщина тогда нам казалась безнадежной старухой. А она напропалую кокетничала с нами, над чем мы потом, оставшись наедине с другом, охотно и много смеялись. Для дочери мы как будто были слишком юны, а для матери — нет. Однажды, когда мы уже уходили, она, как бы шутливо подпрыгнув, поцеловала меня прямо в губы. Я чуть в обморок не упал: за что?! И не могла же она по близорукости спутать меня со своим мужем, который только что вошел в дом и, стоя у дверей, обалдело оглядывал нас. Боже, если б я знал тогда, куда запрыгнет ее дочь!

Разумеется, эта женщина просто не узнавала Рауля, и для презрения к нему у нее не было никакого повода. Дочь ее вполне удачно вышла замуж, живет в Киеве, у нее двое детей. Все это было мне совершенно точно известно. Уже предположительно могу сказать, что она вышла замуж именно за того влюблен-



ного студента, который все годы ее учебы терпеливо маячил в обозримой близости. Если это так, можно полагать, что тот звонок в дом друга Рауля был последней попыткой вернуть его. Думаю, сразу после этого она сказала студенту „да“.

Выслушав Рауля, что я мог ему сказать? Сказать, что близорукая женщина только из-за своей близорукости чуть не довела его до самоубийства и перевернула всю его жизнь? Этого я не мог произнести. Открыть человеку, что все его страдания — результат шутовства самой жизни? Нет, этого я не мог. Если подумать, ценность человека прямо пропорциональна возможностям его нравственного напряжения. А чем вызвано это напряжение, никакого значения не имеет. Даже если это последствие дурного сна.

В конце концов он заслужил эти страдания и с честью вышел из них. Но про его девушку я ему сказал, чтобы навсегда вырвать из его сердца эту занозу.

— Она благополучно живет в Киеве, — сказал я ему, — у нее муж и двое детей.

— А ты откуда знаешь? — спросил он, и странно посмотрел на меня, кажется, жалея, что он все это рассказал.

— Она жила на нашей улице, — пояснил я, — я ее еще школьницей знал.

— Что же ее мать так презирала меня? — с ненавистью спросил он.

— Не знаю, — сказал я, — уверен, что дочь ничего не говорила ей.

— Да, — согласился он, — это не похоже на нее. Видно, какие-то сплетни дошли. А сколько лет ее старшему... сыну или дочке?

Он с большим любопытством взглянул на меня. Даже с волнением.

— Этого я не знаю, — сказал я, — я потерял ее из виду гораздо раньше, чем ты.

— Впрочем, все это теперь не имеет никакого значения, — вздохнул он уже в метро, где мы собирались

расстаться. Он это сказал, странно озираясь с высоты своего роста. Казалось, метро вообще создано для таких крупных людей, и он сейчас тоскливо озирается, не видя соплеменников по росту.

Сейчас он мне показался особенно огромным и особенно одиноким. Всякий крупный человек всегда кажется одиноким. Но когда он и в самом деле одинок, мы утешаем себя мыслью, что он просто кажется одиноким оттого, что крупный.

— Ты женат? — спросил я и кивнул как бы на Север.

— Кажется, нет, — сказал он и сам же расхохотался, не очень уверенно нащупывая юмористическую тропу.

Мы обнялись и пошли в разные стороны. С тех пор я его никогда не видел.

Недавно я узнал, что он там, на Севере, внезапно умер от инсульта. Думаю, что туда все еще много завозят спирта, но мимозы, это уж точно, теперь туда никто не завезет. Да и какие мимозы сейчас в несчастной Абхазии!

---

## ПАСТУХ И КОСУЛЯ

Он еще раз заглянул в огромный, километровый провал, поросший кое-где кустами держидерева, лещины, рододендрона и лавровишни. В самой глубине провала шумела белопенная горная речушка. Он поежился. Холодок прошел по его спине при мысли, что он сорвется и полетит вниз. Все-таки он надеялся, что этого не случится.

Над самым обрывом росло молодое буковое дерево. Больше зацепиться было не за что, хотя голос косули, к которой он собирался спуститься, раздавался гораздо правее того места, где рос бук. Но больше зацепиться было не за что.

Дело в том, что уже два дня откуда-то с этого обрыва раздавалось жалобное блеяние косули. Видимо, она сорвалась с крутого склона и очутилась в таком месте, откуда не могла выбраться. В горах и с домашними животными, особенно с козами, это изредка случалось. В таких случаях пастухи старались добраться до животного и вытащить его на ровное место. Если животное оказывалось покалеченным, его резали, часть мяса варили и ели, а часть коптили над костром. Впрочем, за лето на альпийских лугах одну-две козы могли прирезать и так, даже если они никуда не проваливались. Пастухи, дружно евшие мясо, друг на друга донести не могли, а колхозное начальство списывало этих коз как жертв стихийного бедствия.

И вот два дня жалобно блеет косуля, застрявшая где-то на обрыве. Пастухи по гребню хребта подходили к тому месту, откуда раздавался голос косули, но самой косули не было видно, а место, по их мнению, было настолько гиблым, что никто и не подумал попробовать туда спуститься. Правда, один пастух обошел провал, спустился с карабином к речке, чтобы снизу убить ее в надежде, что туша убитой косули, нигде не зацепившись, скатится вниз. Но сколько он ни вглядывался в склон огромного обрыва, он так и не смог нащупать глазами косулю. Пастухи махнули рукой на эту соблазнительную, но недоступную добычу: близок локоть, да не укусишь.

Но пастух Датуша решил сегодня добраться до косули, вытащить ее из провала, а потом пристрелить или на веревке притащить к шалашу, прирезать ее и попить вместе с товарищами. Он сам не осознавал, что его решительность вызвана невыносимыми звуками жалобного блеяния косули. Конечно, и другие пастухи жалели косулю, но он чувствовал, что жалеет ее гораздо сильнее остальных, но ему было бы в этом стыдно признаться им. Они бы его высмеяли: какой же ты мужчина?

И вот сегодня, когда наступила его очередь дежурить в шалаше и готовить обед пастухам, которые ушли пасти стада коров и коз, он решил вытащить косулю из провала.

Датуше было пятьдесят лет. Он был выше среднего роста, крепкого сложения. На нем была сатиновая рубашка, перепоясанная не кавказским, а широким, как здесь считали, солдатским ремнем. На ногах — черные брюки галифе и крепкие, начищенные бараньим жиром ботинки. Сбоку на поясе в чехле болтался пастушеский нож.

Его загорелое лицо с большими голубыми глазами производило впечатление добродушия, что и соответствовало действительности. Однако наблюдательный человек по крутой, упрямой посадке его го-

ловы мог почувствовать в нем сильный характер и не ошибся бы.

Датуша имел прозвище Чистюля. Он был физически необычайно опрятен и, кроме того, когда брался за какое-нибудь дело, доводил его до блеска, казавшегося окружающим излишним и даже глуповатым.

Условно говоря, начиная с пастуха и кончая академиком, люди разделяются на две категории: способные и одаренные. Способные люди делают то или иное дело хорошо в силу технологической угадчивости, комбинационного любопытства, сообразительности. Одаренные люди хорошо делают то или иное дело, когда чувствуют некий этический толчок, заставляющий их действовать. Вне этического толчка часто выглядят глуповатыми. Таким и был пастух Датуша по прозвищу Чистюля.

Лет пятнадцать назад какая-то дикая туристская группа неожиданно вывалилась к их пастушеским шалашам. Пастухи встретили туристов гостеприимно, а сами туристы, среди которых женщин было больше, чем мужчин, выставили водку. Много водки. Датуша поджарил копченое мясо, приготовил мамалыгу. Водку было хорошо запивать ледяным кислым молоком.

Во время вечернего пиршества как-то само собой получилось, что женщины, свободные от кавалеров, распределились между пастухами. Вместе с Датушей их было трое. Женщина, которая по каким-то неведомым расчетам должна была переспать с Датушей, подсела к нему и блестящими, слегка пьяными глазами посматривала на него. Датуша таких вещей не терпел.

— Я женат, — разъяснил он ей, когда приблизилось время расходиться по шалашам.

Известие это вызвало всеобщий хохот, но Датуша ничуть не смутился.

— И я замужем, — сказала женщина с улыбкой, как бы успокаивая его, — тоже мне чистюля...

Тут двое пастухов грохнули от хохота, даже шутливо попадали на траву, не в силах вымолвить ни слова. Туристы удивленно смотрели на них, не понимая, что их так развеселило.

— Вы в точку попали, — наконец сказал один из них, утирая глаза, — мы его тоже называем Чистюлей, только по-абхазски.

— А что, в самом деле, — слегка распалилась женщина и, довольная поддержкой пастухов, повторила: — Да, я тоже замужем.

— Нет, — твердо ответил ей Датуша и посмотрел на нее своими ясными, голубыми глазами, — у тебя нет мужа.

Тут от хохота грохнули все, почувствовав в утверждении Датуши какой-то свой философский смысл. Женщина, может быть, по причине некоторого опьянения этот философский смысл не уловила, а стала рыться в рюкзаке в поисках своего паспорта, что вызвало у всей компании новый взрыв хохота.

Датуша и тут ничуть не смутился, но ушел в свой шалаш и лег спать. Что там происходило снаружи и в других шалашах, он не видел, но мог догадываться. То и дело раздавались голоса и смех подвыпившей компании.

— Куда лезешь, — вдруг услышал он голос одного из пастухов, — ты что, не видишь, что я уже женился?

Он обращался к другому пастуху. Опять раздался дружный хохот. Утром туристы ушли, а пастухи часто вспоминали эту женщину и, смеясь, говорили Датуше:

— Как она тебя усекла, Чистюля?!

...Датуша подошел к молодому буку, бросил моток веревки, которую держал в руке, а потом снял с плеча карабин и осторожно положил его у подножия

бука. После этого он аккуратно распутал веревку, обмотал конец ее за ствол бука и крепко, тремя узлами, прикрепил ее к стволу. После этого он обхватил веревку двумя руками и изо всех сил стал тянуть и дергать ее в стороны для проверки узлов и надежности самой веревки. Вережка была достаточно крепкой, чтобы выдержать тяжесть его тела. Так ему показалось.

Держа второй конец веревки в руке, он осторожно подошел к краю провала, скинул его туда и стал медленно, пропуская веревку сквозь пальцы, опускаться вниз. Двадцатиметровая веревка, телепалась, заскользила в провал. На полпути вниз виднелся выступ, он боялся, что веревка застрянет на нем. Когда конец веревки достал до выступа, он чуть приподнял ее, откачнул и бросил. Конец веревки обогнул выступ и заскользил дальше. Вскоре вся веревка размоталась, но конец ее не был виден из-за выступа.

Он подумал: хватит ли ему сил после того, как он спустится по веревке, снова по ней подняться? Он решил, что хватит, хотя никогда по веревке никуда не спускался и не поднимался. Но по виноградной лозе метров на пять или десять он, случалось, поднимался на дерево во время сбора винограда. Конечно, лоза потоньше веревки, она более шершавая, более ухватистая, но зато здесь можно ногами кое-как опираться о каменистую стену обрыва.

„С Богом!“ — мысленно сказал он себе и, сев на край обрыва спиной к нему, ухватился обеими руками за веревку и стал спускаться, стараясь ногами, где только можно, упираться в неровности стены, в выемки и камни, торчащие из нее. Вережка обжигала ладони, и тяжесть собственного тела показалась ему невыносимой. Он вдруг подумал: не вернуться ли ему наверх пока не поздно? Но он преодолел малодушие, как всегда в таких случаях, вспомнив

колхозного агронома, которого ненавидел всей душой.

Лет двадцать назад этот агроном, оказавшись два раза в одном застолье с Датушей, очень плотно глядел на его жену. Два раза, а не один раз. Если б этот агроном так смотрел на его жену один раз, он, вероятно, простил бы ему это. Но два раза! Он не мог об этом забыть! Правда, агроном был сильно пьян и городского происхождения и, может быть, даже не знал, что на замужную женщину так смотреть нельзя.

Но Датуша его возненавидел с тех пор. Отчасти, может быть, потому что тогда никак не мог отомстить агроному или хотя бы оскорбить его словами презрения. Не убивать же этого ничтожного человечка за его мокрые, грязные взгляды! Но и оскорбить его в самом застолье не мог, потому что не был уверен, что и другие заметили эти взгляды. Если бы он его оскорбил, все поняли бы, за что он его оскорбил. А ему это было неприятно. К тому же по чегемским обычаям портить застолье скандальной бучей считалось признаком крайней невоспитанности.

И так эту обиду Датуша с собой и унес, и с годами она несколько не затухала. Но и вспоминал он о ней в минуты крайней опасности. А так почти не вспоминал. Но в минуты крайней опасности он особенно ярко и яростно вспоминал неотомщенного агронома и те два застолья вставали перед его глазами, как одно. При этом уже постаревший агроном, он и тогда был старше его, виделся ему теперешним, расплывшимся, слегка трясущимся стариком, а жена виделась такой же молодой, какой она была двадцать лет назад. И от этого взгляды агронома в его воображении делались особенно бесстыжими и позорными.

И каждый раз в минуты крайней опасности перед его глазами вставал этот агроном, и каждый раз



ярость перешибала страх, приходила уверенность, что он должен жить и будет жить, если не для мифической мести агроному, то, во всяком случае, назо ему; агроном — казалось ему в эти минуты — только и делает, что ждет его смерти.

Итак, вспомнив агронома, он преодолел малодушие и продолжил спуск, иногда ловя носком ботинка выемки в стене или торчащие камни. Опираясь на них ногой, он несколько мгновений передыхал и снова пускался в путь. Когда он елозил ботинками по стене, от нее отрывалась каменная осыпь и, перещелкиваясь, летела вниз.

Он надеялся, добравшись до большого выступа из стены, через который он еще наверху так старательно перебрасывал веревку, там постоять обеими ногами и отдохнуть.

Он взглянул вниз и увидел, что этот выступ уже совсем недалеко от него, метрах в трех-четырех. И, увидев, что выступ близко, он почувствовал, что руки его совсем одеревенели, веревка обжигает пальцы, еще мгновение — и он полетит вниз. Но какими-то сверхусилиями он удержался на веревке, несколько раз перебрал руками и, наконец, почувствовал под подошвами ног твердость выступа.

Минут десять он старался отдышаться. Потом он еще минут пять встряхивал руками, стараясь оживить их и дать им отдохнуть. Потом он шагнул на край выступа и заглянул в глубину чудовищного провала. И он подумал, что, если бы не этот выступ, он, вероятно, рухнул бы вниз от усталости рук.

Однако, успокоившись, он подумал, что скорее всего это не так. Привычка всю жизнь иметь дело с тяжелой физической работой подсказывала другое.

Например, когда несешь на плече бревно для костра и мысленно намечаешь себе впереди место, где ты остановишься передохнуть, поставив бревно на землю, всегда перед самым этим местом, за несколько метров до него, тяжесть начинает неимоверно да-

вить на плечо и ты еленосишь бревно до этого места.

Силы человеческого тела сообразуются с местом обещанного отдыха. Он это заметил давно. Перед местом обещанного отдыха человеческое тело, как бы боясь, что воля человека отменит обещанный отдых, симулирует бессилие. Так и теперь, отдохнув, он понял, что, если бы этот выступ оказался бы дальше на несколько метров, руки его все-таки донесли бы до него и только в самой близи от выступа он почувствовал бы страшное бессилие.

Он посмотрел по ту сторону провала, где поднималась пологая зеленая гора. Поближе к вершине ее виднелся пастушеский шалаш. Там жили пастухи из другого села. На склоне горы паслись коровы и виднелась фигурка пастуха, который сидел среди своих пасущихся коров. Он играл на дудке, и довольно заунывные звуки ее порой еле слышно доносились до Датуши. И он на миг позавидовал его безмятежности.

Пора было двигаться дальше. В ботинки ему набились скальная осыпь и мелкие камушки. Он присел, расшнуровал ботинки, скинул их и тщательно выбил их о выступ. Потом полез рукой в каждый ботинок, стараясь пальцами соскрести то, что не удалось выбить. Потом он снял носки и протер ими вспотевшие ноги, вывернул, отряхнул от всякой трухи и снова надел на ноги. Потом натянул ботинки и тщательно зашнуровал их.

Он стал спускаться дальше вниз. Веревки оставалось еще метров пять, когда он ботинками нащупал под ногами выступ карниза. Встав обеими ногами на узкий, примерно в полметра, карниз, он посмотрел вдоль него направо.

Так вот, где она! Метрах в пятнадцати от себя на этом же карнизе он увидел коосулю. Там, где она стояла, карниз расширялся. Это было стройное животное. Бурая шерсть на спине коосули, поближе к хво-

сту, желтела и золотилась, превращаясь в пепельно-белую подпалину на животе. Косуля стояла к нему в профиль, но, увидев его, она повернула в его сторону голову и неподвижно смотрела на него. Почти прямо за ней карниз обрывался.

Минут десять они смотрели друг на друга. Потом он поднял глаза над ней, стараясь найти следы ее падения на этот карниз, но ничего не нашел. Обрыв над ней был гораздо более пологий и травянистый, но метров за десять от карниза, на котором она стояла, начиналась крутая, каменная стена.

Но как же подойти к ней? И как она будет вести себя, если он подойдет к ней и погонит ее впереди себя? Он мог бы ее там же прирезать ножом, но понял, что по этому узкому карнизу с мертвой косулей за плечами он не сможет вернуться назад. Нет, надо подойти к ней и гнать ее по карнизу впереди себя. Через пару шагов от того места, где он спустился, карниз снова обрывался, и косуля никуда от него уйти не смогла бы. В руках у него оставалось еще метров пять свободной веревки. Держась за нее, можно было смело пройти по карнизу до конца веревки. А дальше? Оставалось метров десять. Он тщательно осмотрел карниз между собой и косулей, ища возможного подвоха по дороге. Карниз был достаточно ровным, но и без того узкий, он поближе к косуле еще больше сужался, а там, где стояла косуля, снова расширялся.

И потом, как лучше идти? Спиной к стене, держа перед глазами распахнутое пространство, куда боишься рухнуть? Или лицом к стене, когда опасность делается еще опаснее, потому что она за спиной? Но если идти лицом к стене, можно использовать какие-то неровности в стене или щели, куда можно просунуть пальцы. Впрочем, особых неровностей в стене или тем более щелей он не заметил. „Но вдруг камни карниза подо мной обрушатся, — подумал он. — Когда больше возможностей, слетая со стены,

уцепиться за что-нибудь — если ты скользишь лицом к провалу или спиной к нему? Трудно сказать. Невозможно сказать. Как повезет. Но если я все-таки дойду до косули, а она вдруг упрется или шарахнется в мою сторону? Не дай Бог!“

Он слышал, что иногда косули, загнанные волками, выбегали на горных дорогах прямо на человека или людей, идущих по дороге. И даже какое-то время шли вместе с людьми. Он это слышал от других людей, но сам этого никогда не видел. Как это понять?

Неужели косуле кажется, что человек менее опасен, чем волк? Во время горной охоты косули чутко чувствовали человека и старались его близко не подпускать. Но вот, оказывается, когда приходится выбирать между человеком и волком, косуля выбирает человека. Бедная косуля, если б она лучше знала человека! И все-таки приятно, что она от волка бежит к человеку. Но как к ней подойти? Опасно. Страшно.

И вдруг косуля, глядя на него, жалобно заблеяла. Жалобный звук ее блеяния, прямо обращенный к нему, пронзил его насквозь. И он решил дойти до нее во что бы то ни стало. Хотя и сомнения оставались. Сумеет ли он подтащить ее к веревке, не упрется ли она на этом узком карнизе, как глупый козел. „Ну что ж, — подумал он, — если она упрется и не пойдет, я оставляю ее, и совесть моя будет чиста. Совесть“, — повторил он про себя удивленно, но и сам не мог понять, при чем тут совесть.

Он крепко взялся за веревку и, встав лицом к стене, стал боком идти в сторону косули, осторожно перебирая веревку и стараясь все время держать ее натянутой. Но вот веревка кончилась. Теперь надо было бросать ее и идти самому. Однако, прежде чем бросить веревку, он догадался, что она откачнется назад и тогда при возвращении (если оно состоится) эти пять метров тоже придется идти без веревки. Он

оглядел обрыв и увидел почти над самой головой приземистый куст самшита. Он осторожно перебрал конец веревки через куст и завязал его одним узлом. Теперь он был уверен, что веревка не уплывет.

Он посмотрел вниз, прежде чем сделать первый шаг без веревки. Теперь провал под ним показался ему еще более бездонным. Еще метров на двадцать по крутому склону кое-где росла альпийская трава, зеленели редкие кустарники, а дальше шла до самой речки голая и белая, как смерть, меловая осыпь. Там уж ни за что не зацепишься, если сорвешься.

Он решил больше вниз не смотреть, чтобы не закружилась голова. Он посмотрел на коосулю. Косуля стояла неподвижно, как изваяние, и следила за ним. Стараясь как можно плотнее вжаться спиной в стену и глядя на место, куда он поставит ногу, он сделал первый шаг, осторожно перенес на шагнувшую ногу тяжесть тела и подволок вторую ногу к ней. Он почувствовал, что ноги его стали дрожать мелкой подлой дрожью. Он эту дрожь не мог остановить и, зная, что она только усилится, осторожно поспешил вперед.

Он старался держать тело с некоторым запасом отклонения к стене, чтобы, случайно покачнувшись, не рухнуть вниз, имея перевес в сторону стены. Но от этого двигаться было труднее: спина терлась о стену. Через несколько минут он остановился. Теперь он был в пяти метрах от косули. Но карниз совсем сузился, он теперь был даже чуть короче длины его ботинка.

Ноги дрожали все сильнее и сильнее. Была безумная мысль сделать еще два-три шага и уже прыгнуть на площадку, где стояла коосуля. Но он чувствовал, что ни сил ни духу не хватит это сделать. И вдруг он понял, что отсюда никогда не выберется. Конец, подумал он, теперь ни вперед ни назад. Тело наливалось чугунной тяжестью и отказывалось ему

служить. Оно чугуново с такой быстротой, что он понял: скоро, скоро он просто не удержится на ногах и рухнет в безжалостный провал.

И тут перед его глазами снова встал агроном. Старый, расплывчатый, каким он был сейчас, он смотрел на его молоденькую жену, какой она была двадцать лет назад. И его толстые плотоядные губы были жадно приоткрыты, а слезливые глаза щурились от предвкушения... Мразь!

И ярость пронзила Датушу и выпрямила его. „Надеешься, что я рухну вниз, гадина, — сказал он про себя. — Нет, никогда этого не будет и никогда я тебе не прощу твои гяурские взгляды. Никогда!“

Видение агронома исчезло вместе со страхом. Ноги перестали дрожать, тело ожило. Но все-таки пройти последние пять метров по карнизу он и сейчас не рисковал. Что же делать?

Косуля продолжала на него смотреть. Если он не в состоянии подойти к ней, может, попробовать чем-нибудь приманить ее? Ведь она два дня ничего не ела. Он осторожно повернулся и оглядел стену над собой. Кое-где над карнизом плющились кусты ежевики и лещины. Но до них было трудно дотянуться. Прямо над ним торчал куст лещины. Он распрямился, встал на цыпочки и правой рукой дотянулся до первого листика ближайшей ветки. Он осторожно стал тянуть на себя этот листик так, чтобы пригнуть вместе с ним ветку, но и не разорвать листик и успеть цапнуть ветку левой рукой. Стоять на цыпочках и медленно тянуть ветку за листик, который мог оборваться в любой миг, было неудобно и страшно. Ноги его стали снова дрожать, а он тянул и тянул листик, стараясь не оборвать его, и наконец, почувствовав, что может ухватить ветку левой рукой, выбросил ее над собой, рискуя потерять равновесие и свалиться вниз, если листик в последний миг оборвется. Но листик не оборвался, и он успел схватить ветку левой рукой и пригнуть ее.

Весь куст лещины согнулся с этой веткой, и он теперь обеими руками держался за него и стоял на ногах, и страх исчез. Он выломал наиболее густолистую ветку лещины и осторожно, продолжая другой рукой держать за пригнутый куст, протянул ветку косуле.

Теперь между протянутой веткой и косулей было около полутора метров. Косуля с любопытством смотрела на ветку, но не двигалась. Так прошло минут пять. Он не знал, что делать. Тогда он решил подразнить ее этой веткой. Он стал сперва потряхивать ею, а потом оттягивать ее от косули. Когда он стал потряхивать веткой, и листья на ней задрожали, морда косули ожила, и глаза выразили удивление по поводу дрожащих листьев.

Когда он, продолжая потряхивать веткой, оттянул ее к себе, косуля встрепенулась, однако не последовала за веткой. Но казалось, тайна дрожащих листьев продолжает ее занимать. Он снова протянул ей ветку. Косуля замерла, глядя на ветку. Он опять стал потряхивать ветку, и листья на ней задрожали. Казалось, косуля очень хочет понять и никак не может понять, от чего дрожат эти листья. Тогда он стал медленно убирать ветку, продолжая потряхивать ею. Косуля не выдержала тайну дрожащих листьев и потянулась за веткой. Он сунул кончик трепещущей листьями ветки прямо ей под нос.

Шумя листьями, косуля стала жадно обглаживать ветку. Он продолжал ее потряхивать и заметил, что косуля чаще хватается за наиболее живодрожащие листья, как бы боясь, что они отлетят.

Обглаживая листья, она смело двигалась в его сторону все ближе и ближе. Слышалось, как жадно листья хрустят у нее на зубах. Когда она обглодала всю ветку, он хотел сломать новую, но косуля вдруг стала требовательно и быстро лизать ему руку своим шершавым языком. Совсем как коза! Возможно,

кожа человека содержит соль, подумал он, и потому все травоядные, которым всегда не хватает соли, любят лизать человеческое тело. А может, это знак благодарности? Может, она ждет от него спасения?

Он придвинул руку поближе к себе, и косуля, смело сделав шаг к нему, снова стала лизать ему руку. Тогда он, прижавшись спиной к стене, сделал осторожный шаг назад. Косуля снова потянулась к нему и снова стала лизать тыльную сторону его ладони.

И вдруг он почувствовал прилив сил и уверенности. Он подумал, что, если вдруг его нога соскользнет с карниза, он успеет ухватиться за косулю и не рухнет в провал. Он знал, что на крутых склонах животные, особенно козы, гораздо устойчивее, чем человек. Но и они иногда проваливаются. Почему-то мысль провалиться вместе с косулей и погибнуть на дне обрыва показалась ему не такой страшной, как провалиться одному.

И вот так, делая осторожный шаг боком и подставляя косуле свою ладонь, он постепенно приближался к веревке, и ноги теперь у него не дрожали. Наконец он дошел до того места, где конец веревки был перекинут за самшитовый куст. Он сдернул веревку с куста и сразу легко вздохнул. Теперь он стал лицом к стене, ухватился за веревку обеими руками и, перебирая ее, двинулся дальше все так же осторожно, но более уверенно. После каждого шага он, продолжая держать веревку правой рукой, подставлял левую косуле, и она все так же ненасытно лизала ее своим шершавым языком.

Они подошли к месту, куда он спустился по веревке. Он продел конец веревки под живот косуле возле передних ног, потом для страховки один раз перетянул тело веревкой и, туго стянув ее, завязал тройным узлом. Тело косули было горячее и плотное, и прикасаться к нему было приятно. Пока он ее



подвязывал к веревке, она ему мешала, мотая головой и все время норовя лизнуть ему руку.

Ему подумалось, что полдела сделано. Он разогнулся и почувствовал необыкновенный прилив сил. Он почему-то, сам не зная почему, отказался от мысли прирезать здесь коосулю, потом подняться самому наверх и вытянуть туда ее тушку. Теперь он решил подняться наверх, вытянуть коосулю, а потом уже наверху пристрелить ее или на веревке привести к пастушескому шалашу. Он ухватился, как можно выше, обеими руками за веревку, повис на ней и, упирался ногами, где только можно, в скальную стену, стал подниматься вверх. Под самым выступом, где он отдыхал, когда слезал, рос большой развесистый куст рододендрона. Когда он слезал по веревке, он скользнул поверх куста, подмяв его ветки. Сейчас ветки рододендрона нависли над ним, он с трудом раздвинул их и влез на выступ.

Руки у него страшно устали. Он сел на выступ и, продолжая держать веревку, заглянул вниз. Косуля снизу смотрела на него. Их взгляды встретились, и она коротко и жалобно проблеяла. Ему показалось, что ее блеяние означало: „А я?!“

— Сейчас, сейчас, — сказал он вслух, словно коосуля могла его понять. И она, словно в самом деле поняв его, поднялась на задние ноги и, упершись передними ногами в стену обрыва, замерла, глядя на него. Всей своей позой она как бы показывала ему, что стремится оказаться рядом с ним.

Немного отдохнув, он полез дальше вверх, используя в стене каждый торчащий из нее камень или выбоину, чтобы поставить ноги. Теперь, когда он лез наверх, было видно, что в стене гораздо больше неровностей, куда можно поставить ногу. Взгляд снизу вверх на стену был почему-то плодотворнее, чем взгляд сверху вниз. Он в этом убедился, но не понял, почему это так.

Наконец он вылез на гребень хребта. Он был сильным мужчиной, но руки у него здорово устали. Ладони горели. Красные рубцы от давления веревки пересекали их. Он разлегся на траве, раскинув руки и глядя на бездонный синий купол неба, где медленно кружились орлы. Сейчас он вспомнил, что орлы кружились над этим местом и тогда, когда он только вышел на гребень хребта. Теперь ему показалось, что орлы, продолжая кружиться, сдвинулись влево. Если это так, значит, они первыми почувяли, что косуля может погибнуть, и ждали этого. Но как они догадались, что живая косуля может погибнуть? Вероятно, подумал он, опыт им подсказывал, что животное, которому предстоит жить, два дня не стоит на одном месте. Пока он отдыхал, снизу несколько раз пробежала косуля. Солнце уже довольно крепко припекало.

Почувствовав, что силы вернулись к нему, он встал и подошел к обрыву. Он взял в руки веревку, поудобнее расставил ноги, чтобы не поскользнуться, и стал тянуть ее вверх. Сначала он легко вытянул часть веревки, свободную от тяжести косули, потом веревка натянулась, он напряг мышцы и стал вытягивать косулю. Привычка иметь дело с мешками, наполненными мукой или сыром, помогла ему легко определить тяжесть косули — около двух пудов. Сильными, но достаточно соразмерными движениями, чтобы косуля не разбила голову о каменистую стену, он вытягивал ее. Видно, косуля дрыгалась на веревке, потому что веревка дергалась и раскачивалась. Вдруг веревка перестала вытягиваться. Он изо всех сил, напрягая мускулы и боясь, что веревка лопнет, продолжал тянуть ее. Но веревка не двигалась, и косуля заблеяла дурным голосом. Он понял, что ей больно. Он заглянул в провал и, хотя косули не было видно, понял, что она застряла за тем самым выступом. Возможно, она запуталась между сильными и гибкими ветками рододендрона.

„Что же делать, черт возьми?“ — подумал он, волнуясь и чувствуя, что руки от напряжения немеют. Мелькнуло видение агронома, но он, тряхнув головой, освободился от него: „Без тебя обойдусь, зараза!“ Он решил, что надо отойти на несколько шагов в сторону, а потом тянуть, чтобы косуля поднялась не над выступом, а сбоку, минуя выступ. Он отошел влево метров на пять и стал тянуть веревку, но она не двигалась, а натянулась, как леска, зацепившаяся о подводную корягу. Тогда он отошел направо от выступа, надеясь сдернуть косулю с этой стороны. Но и отсюда он ее никак не мог сдернуть. Видно, она крепко застряла там между ветками рододендрона. Несколько раз, когда он тянул веревку, косуля издавала какое-то кряхтящее блеяние.

Он чувствовал, что силы его иссякают, и он не знал, что делать. Мгновениями его охватывало отчаяние, и ему хотелось выхватить нож и перерезать натянутую веревку. Но ему было жалко косулю, которая в таком случае полетит в бездонную пропасть и, конечно, насмерть разобьется. Он одолел отчаяние и стал думать, как быть дальше. Он решил больше не тянуть веревку вверх, а, наоборот, опустить ее подальше вниз и потом уже, став в сторону, вытягивать косулю мимо выступа. Он ослабил натяжение и попытался опустить веревку. И вдруг почувствовал, что тяжесть косули исчезла. Веревка болталась. У него мелькнула мысль, что косуля вообще выпала из веревки, а конец ее сам запутался в кустах рододендрона. Тогда он снова вытянул веревку и с облегчением почувствовал на ней живую тяжесть косули. Да, это была именно живая тяжесть живой косули, а не сопротивление веревки, запутавшейся в кустах. Сопротивление застрявшей веревки было бы более упругим, как и ветви рододендрона. И тогда он понял, что косулю держит куст рододендрона настолько крепко, что ее теперь ни вверх поднять, ни вниз опустить невозможно.

Надо было снова самому спуститься вниз до выступа, выпутать косулю из кустов рододендрона, взгромоздить на выступ, а потом снова подняться и тянуть ее вверх.

Для страховки все еще придерживая веревку, но не чувствуя на ней тяжести косули, он постоял у обрыва, давая рукам отдохнуть. Теперь его беспокоила сама веревка. Она столько терлась и ерзала по скалистому обрыву, что он боялся, как бы она не оборвалась под тяжестью. Ту часть веревки, которую он уже вытянул, он тщательно осмотрел, и она ему показалась все еще надежной, хотя кое-где чуть-чуть забахромилась.

Уже было жарко. От всех своих усилий он так вспотел, что рубашка на нем была совсем мокрая. Продолжая держать ослабленную веревку и перекладывая ее из одной руки в другую, он отстегнул пояс, скинул рубашку и, отряхнув, аккуратно положил ее подальше от обрыва, чтобы случайным порывом ветерка ее не сдуло в провал. Теперь он остался в майке. Он поднял ремень и, плотно перетянув его на поясице, застегнул.

Стукнув ногой по земле, он почувствовал, что в ботинки ему снова набились скальная осыпь и мелкие камушки. Присел и разулся, стараясь не забывать о веревке. Вытряхнул ботинки, вытряхнул носки и снова обулся. Подошел к провалу.

Сбросив вниз ту часть веревки, которую уже вытянул, он, снова ухватившись за нее, полез в обрыв.

Теперь он боялся, как бы косуля не сорвалась с ветвей рододендрона и не повисла в воздухе. Тогда веревке пришлось бы держать их обоих, и он не очень был уверен, что она выдержит после стольких ерзаний по скалистому обрыву. И он старался спускаться как можно быстрее. Вскоре он был на выступе. Чувствуя сильную усталость, он лег ничком на скальный выступ и, продолжая держать веревку, пролежал на нем минут пятнадцать. Скала уже на-

грелась от солнца, и лежать на ней было приятно. Вдруг он совсем рядом услышал жалобное блеяние косули. Казалось, она почуяла его близость и хотела сказать: „Ну, что ты там?“

Держась одной рукой за веревку, он заглянул вниз. В самом деле, косуля запуталась в гибких и крепких, как ремни, ветках рододендрона. Надо было очень сильно вытянуться из-за выступа, чтобы руками достать ее, а потом, выпутав из веток, взгромоздить на выступ.

Тут он почувствовал новую опасность. Если косуля выпутается из кустов, до того как он успеет крепко обхватить ее, то оттого, что сейчас свободной веревки слишком много, она может рухнуть и разбиться о карниз. Или еще хуже: пролетит мимо, оборвет веревку и скатится на дно обрыва. Он прихватил свободную часть веревки, намотал ее на свой пояс и завязал несколькими узлами.

После этого он уже смело вытянулся над выступом и стал одной рукой отодвигать упругие ветви, спеленавшие тело косули. Ветки выскальзывали из рук, потому что он едва дотягивался до них, а второй рукой не мог себе помочь, потому что упирался ею в скалу. А две ветки, накрывавшие косулю, оказались настолько крепкими и упругими, что он был не в состоянии далеко отодвинуть их. Как только он, отодвинув их, бросал, они с какой-то одушевленной злостью возвращались назад и накрывали тело косули. Он намучился с ними. От неудобной позы кровь сильно прилила к голове, и он в конце концов выхватил нож из чехла и, все больше и больше раздражаясь и даже приходя в ярость, потому что они и под ножом гибко отодвигались, все-таки кое-как перерезал их. При этом ему приходилось осторожно соразмерять свои движения, чтобы не ранить косулю. Она же, не понимая, что он делает, иногда сама неловкими движениями мешала ему, и он, теряя

терпение, порой хотел полоснуть ее ножом по горлу, чтобы она ему не мешала.

Наконец он ее выпутал из веток, положил нож на скальный выступ, дотянулся до веревки, обхватившей тело косули, крепче оперся левой рукой о скалу и с невероятным напряжением сил в уставшей руке вытянул косулю на выступ. Когда он медленно вытягивал ее на выступ, ему казалось, что он вот-вот выблюет свои внутренности вместе с сердцем. Все-таки вытянул.

Теперь он лежал на скале ничком, чувствуя, что даже шевельнуться нет сил. От страшного напряжения он тут же забылся и уснул. Косуля неистово лизала теперь его полуоткрытое и окончательно просоленное от пота тело. Минут через двадцать он проснулся, смущенно вспоминая свой сон. Ему приснилось, что он лежит в постели с женой. Черт его знает, что может присниться, подумал он и, привстав, вложил нож в чехол. Расстегнув пояс, развязал и выпутал из него веревку. Снова застегнул пояс. Косуля, стоя рядом с ним, продолжала неистово и деловито лизать его плечо.

Не прирезать ли ее здесь, подумал он и вдруг почувствовал, что ему жалко ее резать. Он подумал, что дело в том, что он слишком много сил на нее потратил и потому теперь ему жалко ее. „Ничего, — подумал он, — наверху пристрелю. Сначала отпущу метров на двадцать, а потом пристрелю. Так будет гораздо легче убить ее“.

Он снова полез вверх по веревке. Вылез на гребень хребта и сел передохнуть. Потом встал, удобнее уперся ногами в землю и стал вытягивать лишнюю веревку. Наконец она натянулась, и он стал тащить вверх косулю. Она еще один раз застряла за маленьким выступом, он попытался, собрав все силы, сдернуть ее, но она не сдернулась. Он почувствовал, что силы его оставляют, и тут снова

явилось видение агронома. „Прочь, гадина, — сказал он ему в сердцах, — обойдусь без тебя“. Видение агронома исчезло.

Он сделал несколько шагов в сторону и потянул веревку. Косуля сдернулась и пошла вверх. Наконец он ее вытянул на гребень.

Когда он стал отвязывать косулю, она, мешая ему, снова стала лизать ему руку. Он подошел к своему карабину, лежавшему у подножия бука, косуля шла рядом с ним, пытаясь лизнуть ему руку. Сейчас, здесь, он не мог убить ее. Поэтому он хлопнул ее по спине, чтобы она убежала, но она никуда не убежала, а продолжала лизать ему руку. Тогда он покрепче хлопнул ее по спине.

И вдруг косуля, словно что-то вспомнив, повернулась и побежала от него по гребню хребта. Она бежала, высоко вскидывая задние ноги. Спина ее золотилась. Левый пологий травянистый склон гребня, по которому она бежала, тоже золотился от цветущих примул.

Он поднял карабин, но вдруг понял, что стрелять ему в нее все еще жалко. „Пусть подальше отбежит“, — подумал он. Косуля бежала и бежала, и чем дальше она уносилась, тем меньше жалости оставалось в нем. „Еще секунд десять, — подумал он, — и жалости не будет, и я выстрелю в нее“.

Но жалость перехитрила его. Через десять секунд косуля уже была так далеко, что он понял — пуля ее не достанет. Грохот пустого выстрела показался ему глупым самообманом, и он даже не приложился к карабину.

И вдруг из-за гребня хребта, где пас коров тот самый пастух с дудкой, раздался пронзительный свист.

— Дурак, дурак, — кричал он ему изо всех сил, — возле тебя косуля пробежала! Куда ты смотрел!

— Сам дурак, — тихо сказал Датуша и не стал ему ничего отвечать. Он только махнул ему рукой, мол, отвяжись. Тот явно заметил коосулю, когда она от Датуши была на большом расстоянии. Он с усмешкой представил, что бы тот кричал, если бы увидел, что косуля выскочила у него прямо из-под рук. Он надел рубаху, отвязал веревку от бука и собрал ее в моток. Ему было хорошо. Он сам не знал, почему все так получилось. Он не знал, что мощная страсть спасения косули удержала его от жалкой страсти ее убийства.

Ему было хорошо, легко. В жизни оставалось только одно неудобство: в ботинки снова набились скальная осыпь и мелкие камушки. Он снова присел и разулся. Снова вытряхнул ботинки и вытряхнул носки. Снова обулся и, сидя на земле, посмотрел на небо. Приближался полдень, и пора было готовить обед пастухам. Краем глаза он отметил, что орлы перестали кружиться над гребнем хребта. Они куда-то разлетелись.

Перекинув карабин через плечо и подхватив моток веревки, Датуша поспешил к своему шалапу. Сейчас он был озабочен тем, чтобы успеть пастухам приготовить обед. Он не собирался рассказывать им о приключении с косулей. Он почувствовал, что они бы его не поняли. И тем более ему было бы стыдно опоздать с обедом — ведь времени было много.



---

---

## ПЛАМЕННЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ И ТИРАН

Он сидел в плетеном кресле напротив Сталина за столом в саду санатория, где отдыхал вождь. Сталин в белоснежном кителе, грозно нахмурившись, с карандашом в руке просматривал какие-то бумаги, время от времени что-то подчеркивая и отчеркивая в них. Посреди стола возвышалась бутылка вина и стояли рядом с ней два бокала.

Учитель истории ачандарской школы Леонтий Луарсабович ждал, когда Сталин освободится и поговорит с ним. Это был его звездный час. Он готовился к нему несколько лет, сам не веря, что это может произойти. Разумеется, в конце концов то, что он хотел сказать Сталину, он бы написал ему в письме. Но письмо — это не то. Да и попало ли бы оно ему в руки среди тысяч писем, которые пишут Сталину, кто его знает. А тут с глазу на глаз оказаться с вождем.

Помог случай. Дело в том, что начальник охраны Сталина генерал Власик уже несколько лет подряд приезжал к знаменитому сельскому виноделу, соседу учителя, и брал у него вино для Сталина.

Сталин был очень доволен этим вином. Власик дважды оставался у винодела, чтобы пообедать в его доме. Это был знак расположения Власика к виноделу за его вино, которое пришлось по вкусу Сталину.

Старый винодел по-соседски приглашал к столу

Леонтия Луарсабовича. Но дело было не только в этом. Старик умел хорошо рассказывать смешные народные байки, но он недостаточно знал русский язык, чтобы передавать все оттенки юмора. Ему хватало собственного юмора понимать, что он по-русски не сможет передать юмор. А Леонтий Луарсабович был грузином, выросшим в абхазском селе, и он прекрасно знал и абхазский язык, и русский. И он с таким искусством переводил эти народные истории, что Власик покатывался от хохота.

Оказавшись в застолье с начальником охраны Сталина и пользуясь его хорошим расположением духа, учитель сказал, что у него есть важные государственные соображения, которые он может высказать только товарищу Сталину. Он это сказал с загадочной улыбкой. Власик улыбнулся на его слова гораздо менее загадочно. Он улыбнулся ему как неопасному деревенскому дурачку и ничего не ответил.

Однако, когда в следующем году в том же застолье прозвучали те же слова сельского учителя в сопровождении той же улыбки, Власик рассказал об этом Сталину как о забавном и даже курьезном упорстве сельского учителя. И Сталин неожиданно полюбопытствовал:

— Так привезите его. Выслушаем, какие там у него соображения.

— Может, он сумасшедший, товарищ Сталин? — насторожился Власик.

— Не думаю, что более сумасшедший, чем мои министры, — неожиданно ответил Сталин.

Таким образом, после тщательной проверки учителя людьми бериевского ведомства, проверки от его биографии до его карманов, он был привезен в санаторий и усажен за садовый стол, где уже сидел Сталин и, держа в руке карандаш, перебирал какие-то государственные бумаги.

Сталин поздоровался с учителем за руку, окинул его внимательным лучистым взглядом и сказал:

— Посидите, пока я досмотрю бумаги.

Метров в двадцати от них Берия так, на всякий случай, сидел на скамейке и забавлялся с внуком Сталина. Резвому мальчику нравилась возня с дядей Лаврентием. Сидя у него на коленях, лицом к дяде Лаврентию, он пытался поднять его руки вверх, в знак того, что тот сдастся ему. А дядя Лаврентий как бы сопротивлялся ему. И хотя это была игра, Берия не хотел поднимать руки вверх, но делал вид, что мальчик близок к победе. Берия суеверно не забывал, чей это внук. Показывая мальчику, что увлечен этой возней, он все время помнил, что в кармане у него лежит особенно чуткий звукоулавливающий аппарат, недавно привезенный из-за границы. И он старался незаметно так оградить порывы разгоряченного мальчика, чтобы тот случайным движением не задел и не повредил аппарат.

Учитель истории сидел напротив Сталина. Он испытывал волнение, но не испытывал страха. Он был воодушевлен тем, что пробил его час, хотя прекрасно знал, кто такой Сталин. Но это его несколько не смущало.

У него была такая парадоксальная мысль. Только через абсолютное зло можно прийти к абсолютному добру. Только носитель абсолютной власти может бестрепетной рукой перевести стрелку компаса от полюса зла к полюсу добра. Ему казалось, что Сталин, решивший служить добру, сохранит свой непререкаемый авторитет, добытый на великом страхе, порожденном его предыдущим служением злу. Зло уйдет, а авторитет останется. Так думал он. Это было его роковой ошибкой, но он верил в это.

При этом он не считал зазорным хитростью склонить диктатора к добру. Но начинать надо с малого. Добро, как камнепад в горах, может начаться с падения одного камушка. Подсознательно, думал учи-

тель истории, человек стремится к власти для добра. Но по дороге к власти столько тысяч препятствий, что он сам забывает о своей первоначальной подсознательной цели. Надо прививать диктатору вкус к добру, будить в его душе его собственную забытую подсознательную цель.

Законы правового государства будут способствовать разжатию в сторону анархии сжатой пружины народной воли, но тут-то сыграет благотворную тормозящую роль громадный авторитет вождя.

— Так какие у вас государственные соображения? — вдруг спросил Сталин и, положив карандаш на бумаги, уставился на учителя.

— Товарищ Сталин, — начал учитель давно подготовленную речь, — у нас в стране еще слишком много веруют. Администраторы, судя по нашему району, часто дают наверх слишком радужные сведения. Это просто очковтирательство.

Что нас может избавить от лжи и воровства? Время показало, что карающий меч государства не посилен это исправить. Это может исправить ваш личный огромный авторитет. На примере вождя учится нация. У меня такие соображения.

У вас издаются книги, собрания ваших сочинений. На гонорар от этих книг достойные люди получают сталинские премии. Так думают в народе — и это прекрасно.

Хорошо бы организовать через газету „Правда“ письмо налогового управления, что товарищ Сталин забыл заплатить налог за гонорар от своей последней книги. И ответ товарища Сталина, где он извиняется за это упущение своих помощников и обещает немедленно уплатить в казну налог за свой гонорар.

Даже если это не соответствует действительности, это стало бы грандиозным примером для всех наших людей! Народная власть! Сталинский закон выше самого Сталина! Налоговое управление не по-

боялось напомнить товарищу Сталину о неуплаченном налоге, а товарищ Сталин, извинившись за это упущение, обещает немедленно уплатить причитающийся с него налог.

Для всех, кто мечется между честностью и воровством, для всех, кто цапнет, а потом призадумается, призадумается, а потом цапнет, это стало бы вдохновляющим примером. Конечно, самых злостных воров и казнокрадов это может не остановить. Но над ними как раз и будет висеть карающий меч государства. Но основная масса народа, потрясенная скромностью вождя и его законопослушностью, сама перестроится в пользу честной жизни. Вот такая мысль мне пришла в голову, когда я много раз размышлял о том, как бороться с воровством и очковтирательством.

Он остановился, высказав все, что лежало у него на душе. Сталину соображения сельского учителя очень понравились. Он уже видел мысленным взором ошарашивающее весь мир сообщение в „Правду“ налогового управления и свое скромное покаянное письмо. Какой удар по всей буржуазной пропаганде о его не ограниченной ничем власти! Какой удар по всем нашим плутоватым хозяйственникам! И как хорошо сформулировал этот сельский учитель: сталинский закон выше самого Сталина! Такой диалектике сам старик Гегель позавидовал бы! И как приятно будет народу лишний раз убедиться в исключительной скромности вождя! Такие вещи народ любит и надолго запоминает. Они действуют для сплочения государства лучше всякой пропаганды.

Однако верный своей привычке не поддаваться первому впечатлению, он не показал виду, что речь учителя ему очень понравилась, хотя и не сделал вид, что недоволен.

— Как вы думаете, — неожиданно спросил он, — где больше воруют — в Грузии или в России?

— Товарищ Сталин, — несколько растерялся учитель, — я не знаю. У меня нет никаких данных по этому вопросу.

— Даже у меня нет никаких данных по этому вопросу, — ответил Сталин, — но что вы лично думаете, что вам подсказывает ваш личный опыт жизни?

— Я думаю, — сказал учитель, — что в Грузии больше воруют, чем в России.

— Молодец! — сказал Сталин и широко улыбнулся. — Я вижу — вы не националист. Я тоже думаю, что в Грузии больше воруют. Но почему именно вы так думаете, что в Грузии больше воруют?

— Я думаю, — ответил учитель после некоторой паузы, — что тут дело в культуре застолья. У нас культ застолья настолько силен, что сплачивает тех, кто сидит за одним столом. В застолье решаются те или иные махинации, и сама огромная традиция застолья обязывает не предавать тех, кто вместе пил. Это облегчает круговую поруку.

— Молодец! — повторил Сталин и еще более лучезарно улыбнулся ему. — В селе Ачандара умеют не только делать хорошее вино, но и умеют работать головой. Я хочу выпить с вами по стаканчику вашего вина за вашу идею, с которой вы сюда пришли.

Сталин медленно потянулся к бутылке, открыл ее и осторожно и благостно разлил пунцовую жидкость по бокалам.

— Не правда ли, — вдруг спросил Сталин, взглянув на учителя своим не только лучезарным, но и пристальным взглядом, — и внутри Грузии культ застолья особенно развит в Мингрелии?

Тут учитель ничего не понял. У него не было никаких сведений, что культ застолья в Мингрелии чем-нибудь отличается от культа застолья в остальных частях Грузии. Почему-то в голове совершенно неуместно мелькнул смутный облик крадущегося хищника. И, глядя в лучезарные глаза Сталина, он почувствовал какую-то властную силу над собой,

как бы исходящую не от Сталина, а откуда-то со стороны.

— Да, товарищ Сталин, — согласился он, сам не понимая причину своего согласия, — совершенно верно — культ застолья особенно силен в Мингрелии.

Сталин потянулся и чокнулся с ним. Они выпили по бокалу.

— ...И не только для воровских махинаций, — задумчиво добавил Сталин и мягко поставил на стол свой бокал завершающим разговор жестом.

Что он имел в виду, учитель не понял. Но Сталин уже обдумывал будущее „мингрельское дело“, при помощи которого он собирался расправиться с Берией.

— Ваше соображение интересно, — сказал Сталин, — оно будет тщательно обдумано и, скорее всего, принято. Вы настоящий патриот Советского Союза.

Сталин встал из-за стола и протянул руку учителю. Тот с огромной благодарностью и любовью пожал протянутую руку. Уже с ликующим туманом в голове, ничего не видя и ничего не замечая, он сел в поданную машину и укатил к себе в деревню.

Несколько дней Сталин время от времени вспоминал этого сельского чудака и его интересное предложение. Волны сентиментальной нежности обдавали его, когда он представлял письмо налогового управления в газету „Правда“ и свой скромный покаленный ответ.

Однако прошло еще несколько дней, и вся эта картина представилась ему в ином свете. Конечно, укреплять в народе мысль о скромности вождя — государственно необходимое дело. Но писать в газете, что Сталин забыл уплатить налог за свой гононар, — дело вредное.

„В государстве нашего типа, — думал он, — необходим абсолютно ничем не погрешимый образ во-

жда. Сообщение о том, что вождь забыл заплатить налог, может посеять в головах смуту. Сегодня сам признал, что забыл уплатить налог за гонорар от книги, а завтра кое-кто начнет рассуждать о том, почему страна была не подготовлена к войне с Гитлером, и так далее и тому подобное.

Абсолютная непогрешимость образа вождя, — думал он, — не мне нужна, а нашему государству. В личном плане этот чудака хотел хорошего, но в государственном плане он вреден.

Если в „Правде“ появится письмо налогового управления о том, что вождь не уплатил налог, и его извиняющийся ответ, то это будет удар по нашей государственности.

Все потенциальные интриганы поднимут голову. Они решат, что в Кремле разногласия и антисталинская группировка организовала письмо налогового управления и вынудила Сталина дать повинный ответ. Вынудила Сталина! Черт знает к чему это все может привести!“

— Лаврентий, — обратился Сталин к Берии, думая об этой истории, — тут этот сельский учитель, который приезжал сюда, наболтал всякой чепухи...

Сталин остановился, не желая делиться с Берией подробностями беседы.

— Товарищ Сталин, мы можем взять его через час, — с радостной готовностью отозвался Берия.

Сталину стало неприятно, что этот сельский чудака окажется под пытками бериевских молодчиков. Ему было жалко его. Он снова вспомнил его вдохновенную речь и снова подумал: „Субъективно хотел помочь, но объективно вреден“. К тому же под пытками он проговорится, что в Мингрелии, по мнению Сталина, особенно сильны застольные традиции и не только в смысле круговой поруки в торгашеских махинациях, но и в смысле политических интриг. Берия может раньше времени кое-что заподозрить.



Тут осторожность Сталина была излишней, потому что Берия, сидя на скамейке с внуком Сталина, держал в кармане вышеупомянутый аппарат особенной чуткости. И аппарат работал. Берия уже много раз прокручивал для себя эту беседу и понял, что Сталин против него что-то готовит. Но и этот сельский идиот виноват! Мог же сказать, что законы застоя по всей Грузии одинаковы!

— Брат не разрешаю, — жестко обрезал его Сталин, — пусть умрет своей смертью.

— Ликвидировать? — вкрадчиво спросил Берия, как бы чувствуя дуновение полового удовольствия.

Сталин пришел в тихое бешенство, уловив в голосе Берии это личное удовольствие. Берия, как карикатурное зеркало, отражал Сталина. Хотя бы только поэтому такое зеркало надо было разбить!

Историческая необходимость уничтожать все, что подрывает могущество Советского государства, в исполнении этого похабника превращалось в личное удовольствие крутить мясорубку. И это бросает тень на Сталина. Ведь он, Сталин, жалеет этого сельского дурачка, но интересы государства превыше всего!

Сталин вдруг вспомнил эпизод из Ветхого Завета, который он читал мальчиком в духовной семинарии. Там описывался жестокий злодей по имени Берия.

Дальней памятью он точно вспомнил, что в Ветхом Завете есть такой жестокий злодей. Но более ближней памятью он забыл, что, когда назначал Берию всеильным наркомом, он и тогда вспомнил об этом легендарном злодее из Ветхого Завета, и тогда в известной степени это сыграло роль в назначении Берии главным палачом страны. Но сейчас он об этом забыл. Он цепко помнил все, что служит его сегодняшним планам, и искренне забывал все, что может им помешать.

Сейчас он думал: случайно ли такое совпадение имен? Может быть, Берия — скрытый еврей? Сталин уважал еврейское усердие, но ненавидел еврейскую иронию. Ничто так не разъедает государство, как еврейская ирония. „Пусть иронизируют в своем государстве, — думал он, — а мы посмотрим, что из этого получится“.

Он чутко уловил, что недаром Берия в борьбе с космополитизмом, хотя и исполнял все его приказы вплоть до выдачи телогреек всем чекистам, чтобы в нужный день продемонстрировать народный гнев против евреев, но не проявлял былой радостной готовности.

Кстати, Берия, в свою очередь, чутко уловил, что борьба с космополитизмом косвенно направлена против органов безопасности и против него лично. Поэтому он и не проявлял былой радостной готовности, хотя имитировал ее. Сейчас интерес Сталина к мингрельскому застолью подтверждал, что Сталин готовит прыжок на Берию. „Главное, — думал Берия, — делать вид, что я ничего не подозреваю, а там посмотрим“.

„Какая драма, — думал Сталин, — что в России никто никогда, кроме Петра Великого и меня, не понимал смысла русской идеи как воплощения безраздельной государственности. Только безраздельная государственность может преодолеть беспредельные пространства России.“

Византия погибла не от крестоносцев, не от полудиких турок-сельджуков, — подумал он, — а от собственных открытых, бесконечных богословских споров, которые допускали глупые византийские цари и которые в конце концов расшатали государство“.

Мысль его снова вернулась к Берии. „Все в нем фальшиво, — подумал Сталин, — и даже пенсне фальшивое, он и без него прекрасно видит. Труп

главного палача страны надо время от времени выбрасывать народу. Это компенсация. Это полезно для народа. Народ убеждается, что палач — не самоцель“. Так он поступил с Ягодой, так поступил с Ежовым, а с Берией припоздился.

— ...Ликвидировать, ликвидировать, — со злобной язвительностью передразнил он Берию, — одно это слово всю жизнь слышу от тебя! Я тебе ясно сказал: пусть своей смертью умрет!

Берия понял, что этот человек должен умереть вне стен ЧК и как бы без его вмешательства. „Надо будет, и ты своей смертью умрешь“, — подумал Берия.

...Дней через двадцать, когда Сталин был уже в Москве и Берия был уже в Москве, учитель истории был приглашен на большое пиршество, по иронии судьбы устроенное в мингрельском селе. После пиршества он благополучно добрался до своего села, благополучно лег спать и больше не проснулся.

---

## ВЛЮБЛЕННАЯ ПАРОЧКА

Они сели за столик, за которым до этого сидели Андрей Таркилов и Юра. Оба были необыкновенно хороши. На вид ей было лет двадцать, а ему тридцать. Он был высок и даже за столиком горделиво-нежно склонялся над ней. Он был одет в белоснежный костюм, на горле его трепыхалась бабочка. Такие галстуки-бабочки здесь носят чрезвычайно редко. У него был могучий лоб и мужественное горбоносое лицо кавказца.

Она была тонкая как тростиночка. Одета она была в желтое платье с короткими рукавами. Сев, она как бы бессильно сломалась, обратив к нему большеглазый профилек с очаровательным носиком. Густые каштановые волосы ее доходили до самых глаз, как бы готовые в случае надобности перерасти в чадру. Налетающий с моря бриз иногда смело лепил ее хрупкую фигуру. Может, боясь, что ее подхватит ветер, он положил свою крепкую ладонь на ее руку. Мне показалось, что это молодожены, сбежавшие сюда от гостей.

Молодой человек заказал бутылку шампанского, плитку шоколада и велел принести три бокала. Из этого следовало, что они кого-то ждут. Я решил, что из всех гостей они выбрали одного, самого близкого, и шепнули ему, где они собирались тайком посидеть. Я даже решил про себя, что это тот человек, который когда-то познакомил эту очаровательную пару.

Парень разлил шампанское в два бокала, дождался, когда осела пена, и долил.

— За успех нашего дела, — сказал он и, протянув бокал, чокнулся с девушкой.

Ее тонкая рука с бокалом доверчиво потянулась к его бокалу. Девичий пушок проблеснул на ее загорелой руке.

Оба они выпили свои бокалы. Он сломал плитку шоколада, выростал из нее кусок и подал ей.

— Я боюсь, что мне будет противно, — сказала девушка, прожевывая шоколад, — и он заметит это. Особенно если сауна там, массаж...

— Чепуха, — сказал он, — что ты, маленькая, что ли?! Он довольно красивый мужчина... Ему лет шестьдесят пять, но выглядит он гораздо лучше.

Он снова налил шампанское в оба бокала.

— Ты сам будешь презирать меня после этого, — сказала она.

— Глупости! — сказал он. — Я буду вечно благодарен тебе за эту услугу. Мы будем жить так, что нам все будут завидовать. — Он наклонился к ней, и его огромный лоб, казалось, пытался не столько убедить ее, сколько забодать. Кстати, по моим наблюдениям, огромные лбы свидетельствуют не столько об умственном содержании головы, сколько об умственных усилиях. А это далеко не одно и то же.

— Ты будешь всю жизнь упрекать меня этим, — сказала она, — а я только ради тебя согласилась. Ты уверен, что место, которое он тебе обещает, очень выгодно?

— Конечно, — сказал он, — я лучший специалист по табакам. Я знаю всех директоров табачных фабрик и всех председателей колхозов. На умелом манипулировании сортами мы будем делать деньги.

— Ты будешь всю жизнь упрекать меня этим, — повторила она.

— Только подлец может упрекнуть тебя этим, — сказал он.

— Ты и есть подлец, — сказала она и выругалась матом. Трудно было в это поверить, но это было так.

— Так у нас ничего не выйдет, — сказал он, — не дай Бог, если шеф услышит от тебя что-нибудь нецензурное. Старайся быть легкой! Смейся! Тебе так идет смех.

— Мне сейчас не до смеха, — сказала она, — ты представляешь, если это дойдет до твоего отца?!

— Никогда не дойдет, — строго сказал он, — если ты сама ему об этом не скажешь.

— Как глупо, что твой отец не так богат! А он старше твоего отца?

— Они однолетки. Но мой отец нищий по сравнению с ним. Он самый богатый фирмач в Абхазии. Если он возьмет меня к себе на работу, мы обеспечены на всю жизнь. Отец уже купил нам двухкомнатную квартиру. Больше он ничего не может. Пока. Пока жив, я хочу сказать. После его смерти имущество разделим. Дача достанется мне и моему младшему брату.

— Две семьи на одной даче. Пойдут скандалы.

— Может, откупимся от брата. Вот для этого мне нужна работа в этой фирме.

— Мне все-таки не по себе. Давай выпьем еще по бокалу.

Он снова разлил шампанское, и они выпили. Она достала из сумочки пачку „Мальборо“, и они закурили.

— Что ты так волнуешься? Можно подумать, что ты девушка...

— Девушка досталась тебе, паразит.

— Что-то я этого не заметил.

— Почему же ты раньше никогда об этом не говорил?

— Раньше стеснялся. Да и не в этом дело. Главное, что мы любим друг друга.

— Ты стеснялся?! Не смехи людей! А сейчас отдаешь свою девушку какому-то воротиле. Застенчи-

вый сутенер! Если он больной, я убью тебя своими руками. Отравлю.

— Это полностью исключено. Он девочек с улицы не берет никогда.

— Ну, хорошо. Как мне с ним себя вести? Изображать страсть? Я не знаю.

— Ни в коем случае. Но и коровой не будь. Настоящее джентльменство женщины в постели знаешь, в чем заключается?

— Расскажи, сукин сын, расскажи!

— Настоящее джентльменство женщины в постели заключается в том, что ты ему говоришь после первого или второго пистона: я устала, дорогой, хватит. Стареющие джентльмены это обожают.

— Теперь я понимаю, в чем моя ошибка с тобой. Я тебе этого никогда не говорила.

— Но ведь мы молодые, и мы любим друг друга.

— Еще раз скажешь про любовь, и я не знаю, что сделаю. Прыгну в море.

— Здесь утонуть невозможно. Здесь столько пловцов! Излапают, изнасилуют, но живой вытащат на палубу.

— Все-таки ты подлец, хотя я тебя люблю. Но представим, что все это случилось, он принял тебя к себе на работу, мы поженились и он к нам в гости приходит. Как я должна держаться?

— Это недосягаемая мечта, дорогая. Чтобы он, миллионер, приходил к нам в гости. Это надо заслужить. А если и придет, веди себя как добрая хозяйка, не забывающая, но и не напоминающая о сделанном добре. А он умеет себя вести, он с министрами знаком.

— Неужели ты ему сам меня предложил?

— Нет, конечно. Он нас увидел в театре. Позвал через телохранителя и спросил: „Что это за девушка рядом с тобой сидит?“ Я говорю: „Приятельница“. — „Так вот, — говорит, — познакомь меня со своей при-

ательницей, и просьба твоя на девяносто процентов будет исполнена...”

— На мое согласие всего десять процентов?

— На твое согласие ни одного процента. Он имел в виду волков, которые стремятся на это место.

— Постой, постой! Мы в театре были с Любой. Ты сидел между нами. Может, он ее имел в виду?

— В том-то и дело, что нет. Он сразу выбрал тебя. Я сделал вид, что он выбрал Любу. Он посмотрел на меня и дал первый урок житейской мудрости. Он сказал: никогда не хитри с фирмой, куда ты пытаешься поступить. Вот мы и договорились насчет этой встречи.

— Не понимаю ничего, ведь Люба такая красивая девушка. Особенно на расстоянии.

— Он давно не в том возрасте, чтобы любоваться девушкой на расстоянии.

— А представь, я после него пойду в прокуратуру и скажу, что мой жених заставил меня переспать с этим великим фирмачом. Что тогда?

— Дура! Он их всех кормит. Но если найдется неопытный дурак и вызовет меня, я скажу: эта девушка — шантажистка. Я ее пригласил в театр, а она, пока я выходил покурить, завела шашни с миллионером.

— Какой ты все-таки подлец, а еще бабочку носишь! А что, если я вскружу ему голову и выйду за него замуж?

— Я сам об этом думал, но мне тебя жалко. Жена у него есть. А если б он на старости лет с ума сошел и женился бы на тебе, тебя бы пристрелили в первую же неделю, даже если б он держал тебя в бункере. Ты что, не знаешь, сколько родственников ждет, когда он до смерти дотрахается! Зверье! Они ни перед чем не остановятся!

— Все-таки странно, что он выбрал меня. Люба ведь такая яркая! Ты ведь сам готов был за ней при-



ударить. Я видела, как вы танцевали. После этого и постели не надо.

— Готов был, если б не влюбился в тебя. Я же все это делаю ради нашей жизни. Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю, но как-то страшно.

— Так сошлось. Им нужен хороший специалист по табакам. Лучшего, чем я, в Мухусе нет. Но на это место претендуют люди, у которых бабок больше, чем табака на хорошей плантации. И он за меня горой, потому что настоящий бизнесмен, ценит хорошего специалиста.

— Постой! Постой! А если все это случится, ты будешь звать его на свадьбу?

— Не позвать на свадьбу шефа — самоубийственная глупость.

— Почему глупость?

— Потому что ты не знаешь, какие подарки здесь дарят богатые люди. Мы можем получить в подарок трехкомнатную квартиру, конечно, взамен отцовской, двухкомнатной... Впрочем, ничего заранее нельзя знать. Кстати, прикрой занавеску, он идет.

Ветерок раздул ее платье, и она, сдвинув ноги, пригладила его и скромно придержала руками.

На верхней палубе ресторана „Амра“ появился высокий человек в светлом костюме, с довольно приятными чертами лица, обрамленными благородной сединой. Он деловито огляделся, иногда кивая знакомым, а потом, заметив нашу парочку, быстро и уверенно направился к их столику.

Молодой человек вскочил, отодвинул третий стул, чтобы гостю было удобнее присесть, и стал наливать шампанское в третий бокал. Рука его явно дрожала, и видно было, что он взволнован.

Человек присел за стол, властно оглядел обоих застольцев, и было видно, что девушка ему сейчас очень нравится. Он явно был доволен собой, что не ошибся в выборе. Она сидела опустив глаза, и это делало ее еще более привлекательной.

Он поднял бокал.

— Выпьем за нашу встречу, — сказал он и, строго взглянув на молодого мужчину, добавил: — Пока ничего не получается. Но ты не огорчайся. Один из основателей нашей фирмы зуб имеет против твоего отца и из-за того выступил против тебя. Все эти кавказские штучки портят бизнес. При чем тут сын? Но скоро он свою фирму организует и тихо уйдет от нас. Тогда твоя кандидатура — верняк.

Видимо, больше у него времени не было. Он поставил свой недопитый бокал на стол. И встал во весь свой внушительный рост. Он властно взял девушку за руку и поставил рядом с собой: цветущий старик с цветущей внучкой.

— Кстати, нам нужна интеллигентная секретарша, — сказал он, — вскоре мы начнем торговать с турками. Мы можем ее оформить.

— Я знаю английский язык, — краснея и подняв лицо к шефу, сказала девушка, — я окончила Московский университет. Я могу поддержать разговор почти на любую тему.

— Очень хорошо, — сказал шеф с придыханием и, крепко прижав к себе девушку, пошел к выходу.

— Чао! — быстро обернувшись, махнула рукой девушка своему жениху. Тот ничего не ответил. Но когда они скрылись, он налил полный бокал шампанского и опрокинул его, как водку. Потом он быстро пошел куда-то звонить, и вскоре к нему явилась другая девушка. Скорее всего, это была Люба. Они кутили, но я их уже не слушал. Я только вынужден был согласиться, что выбор дальновзорного шефа был намного точнее.

---

---

## СВЕТОФОР

Маленький, очаровательный, как игрушка, древний немецкий городок. Мы, несколько членов российской делегации, поздно ночью возвращаемся к себе в гостиницу. Переходим улицу, хотя светофор показывает, что переходить нельзя. Но мы переходим улочку, потому что ни одной движущейся машины не видно.

Когда мы стали ее переходить, я услышал недовольный ропот нескольких немцев, которые стояли на тротуаре и явно, в отличие от нас, ждали зеленый свет. И ни одной машины, а они всё стоят и ждут.

Я подумал, что вот это и есть демократия на самом низовом и, может быть, самом важном уровне. Это что-то вроде негласного общественного договора между государством и гражданином.

Есть вещи, неуследимые для граждан, но государство их обязано выполнять. Есть вещи, неуследимые для государства, но граждане их обязаны выполнять.

Гражданственность — это донести свой окурок до урны. Государственность — это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным.

Гражданин демократического государства догадывается, что для его личного достоинства выгоднее, не дожидаясь полиции, самому донести свой

окурок до урны. Демократическое государство догадывается, что ему выгоднее чаще расставлять урны, чем полицейских. Это и есть взаимовыгодная практика демократии.

Но как она начинается? Можно подумать, что это одновременный процесс сверху вниз и снизу вверх. Но это неверно. Все начинается с наглядного примера. Самая наглядная для всех точка в государстве, на которую внимательно или рассеянно все смотрят, — это самая государственная власть. И когда гражданин, глядя на власть, про себя говорит: „Ты смотри — не воруют! Ты смотри — не лгут! Ты смотри — вчера ошиблись и сегодня, а не через год, признают, что вчера ошиблись! Придется донести свой окурок до урны“.

---

## МИЛОСЕРДИЕ

Прохожу по подземному переходу возле гостиницы „Советская“. Впереди нищий музыкант в черных очках сидит на скамеечке и поет, подыгрывая себе на гитаре. Переход в это время почему-то был пуст.

Поравнялся с музыкантом, гребанул из пальто мелочь и высыпал ему в железную коробку. Иду дальше.

Случайно вложил руку в карман и чувствую, что там еще много монет. Что за черт! Я был уверен, что, когда давал деньги музыканту, выгреб все, что было в кармане.

Вернулся к музыканту и, уже радуясь, что на нем черные очки и он, скорее всего, не заметил глупую сложность всей процедуры, снова гребанул из пальто жменю мелочи и высыпал ему в железную коробку.

Пошел дальше. Отошел шагов на десять и, снова сунув руку в карман, вдруг обнаружил, что там еще много монет. В первый миг я был так поражен, что впору было крикнуть: „Чудо! Чудо! Господь наполняет мой карман, опорожняемый для нищего!“

Но через миг остыл. Я понял, что монеты просто застревали в глубоких складках моего пальто. Их там много скопилось. Сдачу часто дают мелочью, а на нее вроде нечего покупать. Почему же я в первый и во второй раз недогреб монеты? Потому что делал это небрежно и автоматически. Почему же небрежно и автоматически? Потому что, увы, был равнодушен

к музыканту. Тогда почему же все-таки гребанул из кармана мелочь?

Скорее всего потому, что много раз переходил подземными переходами, где сидели нищие с протянутой рукой, и довольно часто по спешке, по лени проходил мимо. Проходил, но оставалась царापина на совести: надо было остановиться и дать им что-нибудь. Возможно, бессознательно этот мелкий акт милосердия перебрасывался на других. Обычно по этим переходам снует множество людей. А сейчас никого не было, и он как бы играл для меня одного.

Впрочем, во всем этом что-то есть. Может быть, и в большом смысле добро надо делать равнодушно, чтобы не возникало тщеславия, чтобы не ждать никакой благодарности, чтобы не озлиться оттого, что тебя никто не благодарит. Да и какое это добро, если в ответ на него человек тебе благо дарит. Значит, вы в расчете и не было никакого бескорыстного добра. Кстати, как только мы осознали бескорыстность своего поступка, мы получили тайную мзду за свое бескорыстие. Отдай равнодушно то, что можешь дать нуждающемуся, и иди дальше, не думая об этом.

Но можно поставить вопрос и так. Добро и благодарность необходимы человеку и служат развитию человечества в области духа, как торговля в материальной области. Товарообмен духовными ценностями (благодарность в ответ на добро), может быть, еще более необходим человеку, чем торговля.

---

---

## ПАЛАЧ

— Как ты относишься к палачам, исполняющим смертный приговор?

— Я испытываю к ним омерзение.

— Во все времена люди испытывали к палачам ненависть и омерзение. Но может быть, они, сами не сознаваясь себе в этом, в глубине души считали, что могут совершить преступление и тогда попадут в руки такого палача?

— Нет, я не думаю так. Люди во все времена ненавидели палачей, потому что считали, что это самая грязная работа. Любой убийца движим какой-то страстью: ревность, ненависть, жажда наживы. Палач ничего не чувствует к жертве. Он — убийца в чистом виде. Вот почему люди во все времена ненавидели палачей.

— Если народ испытывает такое омерзение к палачам, может быть, следует отменить смертную казнь и государству палачи не будут нужны? Есть же страны, где отменили смертную казнь, и, говорят, статистика показывает, что там убийц не стало больше.

— Я думаю, что эта статистика ошибочна. В этих странах за сравнительно короткое время сильно повысился уровень жизни. И тех тяжких преступлений, которые совершались от отчаяния бедняков, стало меньше. А хладнокровно обдуманных убийств стало больше. Поэтому статистика как бы осталась на месте.

— Так ты считаешь, смертную казнь в нашей стране нельзя отменить?

— Думаю, что пока нельзя. Если отменить смертную казнь, увеличится количество хладнокровно, заранее обдуманых преступлений. И никак не уменьшится количество преступлений, которые совершены от отчаяния и ярости обнищавших людей. Мы еще слишком бедны.

— Но неужели никакого воспитательного значения не имеет, что могучее государство отказалось убивать людей?

— Безусловно, для некоторых людей это будет признаком того, что государство движется в гуманном направлении. И они подобреют к такому государству и, может быть, станут лучше выполнять свои обязанности по отношению к нему. Но дело в том, что эти подобревшие люди и без того не способны к тяжким преступлениям, к убийствам. Но люди, способные на убийства, воспримут этот добрый акт государства как его очередную глупость, которой надо быстрее воспользоваться, пока оно его не отменило. Здесь, как и везде, хорошо поддаются воспитанию и без того воспитанные люди.

— В таком случае, если палач неизбежен в государстве и он выполняет справедливое наказание, почему его все ненавидят и презирают? Может быть, следует выступать в защиту палача?

— Народ такую защиту воспримет как подготовку государства к новому террору.

— Где же выход?

— Выхода нет. Здесь тупик. Палач напоминает нам о первородном грехе человека. Все с самого начала пошло не так.

— В таком случае есть ли у человечества какая-нибудь надежда?

— Единственная надежда — стойкая в веках ненависть и отвращение к палачам. Стойкое отвращение — форма веры и надежды.



- Кто имеет право пожалеть палача?
- Это его проблема.
- Палача или Бога?
- Думаю — Бога. У палача нет проблем, ибо, решив эту проблему, он потерял право на всякую проблему.
- Как ты думаешь, палач может верить в Бога?
- Не думаю.
- Но ведь Бог допустил палачество?
- Он все допускает.
- Почему?
- Он ищет только добровольцев добра.
- А если Бога нет?
- Тогда и говорить не о чем.

---

---

## ЖЕНЩИНА СО СВЕЧОЙ И ОПУЩЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

Я знал одного талантливое физика, который всю жизнь был православным и в самые трудные годы гонения на церковь ходил туда и выполнял все обряды. Сейчас он с женой и сыном уехал в Америку. Легко вычислив его большой талант, одна фирма заключила с ним контракт на всю жизнь.

Он был умным и истинно верующим человеком. Однако уже пятый раз был женат и каждый раз женился на молодых прихожанках. Как это сочетать с пламенной верой? Не знаю, но это так. Однажды он мне признался: „Когда я вижу юную женщину, со свечой и опущенными глазами стоящую в церкви, во мне все переворачивается. Верю, что мне Бог простит это“.

Вероятно, это была единственная индульгенция, которую он ждал от Бога. Возможно, он считал, что такую индульгенцию он уже получил. А может быть, он не женился бы столько раз, если бы первая жена каждый раз входила в спальню со свечой и опущенными глазами, а потом перед самой постелью задувала свечу, не поднимая глаз.

Возможно, церковь, внушающая людям необходимость очищения и обновления жизни, внушает некоторым обновление жизни в этом роде. Вспоминая его последнюю прелестную жену (я ее только и знал), я с тревогой думал: нет ли в том месте в Америке, где они живут, православной церкви? И вдруг недавно узнал, что он стал католиком. Что бы это значило?

---

## У ГОРЯЩЕГО ОЧАГА

Помню такую картину из детства. Мой дядя Кязым со своим другом Бахутом сидят на длинной скамье у гудящего пламенем очага. Они мирно беседуют то на абхазском языке, то переходя на мингрельский. Бахут — мингрелец.

Сейчас, во времена национальных безумий, я думаю, почему они были самыми близкими друзьями, хотя в Чегеме и мингрельцев было достаточно, и абхазцев было полно? И теперь со всей ясностью я понимаю, что они дружили, потому что были самыми умными крестьянами тогдашнего Чегема. В нормальных условиях люди сходятся по умственной, а не по национальной близости. Им друг с другом интереснее, чем с остальными.

Скоро жена дяди Кязыма, снующая по кухне, приготовит обед, и мы все сядем за стол. Необыкновенно уютно и приятно ожидание обеда. Мы знаем, что благодаря присутствию друга дяди Кязыма обед будет более вкусным и обильным, чем обычно.

Может быть, из-за всего этого шестилетний малыш, сын дяди Кязыма, пришел в возбуждение и бегает по кухне, время от времени пробегая между скамьей, на которой сидят хозяин и его гость, и пылающим очагом. Дядя несколько раз прикрикнул на сына, чтобы он не пробегал мимо очага, в который он мог случайно свалиться. Но малыш не слушает его. Он пришел в необыкновенное возбуждение.

Наконец, когда он в последний раз пробежал мимо них, дядя размахнулся и вдогон довольно крепко шлепнул его по попке. Малыш разревелся и выскочил из кухни, может быть, не столько от боли, сколько от обиды: посмел ударить при чужом человеке!

Друг дяди Кязыма укоризненно покачал головой и изрек: „Разве можно так бить ребенка?“

Дядя Кязым с такой знакомой нам усмешкой посмотрел на него и ответил: „Можно подумать, что ты моего ребенка любишь больше меня“.

Мне тогда было лет двенадцать. Слова его показались мне умными и неопровержимыми. Так же кажется и теперь. Дядя Кязым был совершенно неграмотным человеком и вместо подписи на своих бригадирских бумагах ставил крестик.

---

---

## ВЗГЛЯД

Кивнув в сторону города — мы проезжали Орел, — вагонный попутчик рассказал мне:

— Здесь я начал работать после окончания строительного института. Однажды я оказался в одной малознакомой компании. Выпивали за большим столом. Было много девушек и молодых людей.

Вдруг я поймал чей-то взгляд. На противоположном конце стола сидел молодой человек и смотрел на меня с выражением ледяной ненависти в глазах. Мы были совершенно незнакомы, и никакого повода глядеть на меня такими глазами у него не было. Я уже достаточно знал людей и так понял его взгляд: хочет подраться. Я не был любителем драк, но, если навязывались с дракой, принимал ее. Но на этот раз особенно неохота было драться. Может быть, потому, что в этой компании у меня почти не было знакомых.

Однако я уже был достаточно опытным, чтобы знать: такому взгляду нельзя уступать. Чем больше уступаешь такому взгляду, тем больше возбуждается хищник. Это все равно что бежать от злой собаки в чистом поле.

И я волевым усилием заставлял себя спокойно смотреть в его глаза, полные неподвижной ненависти, но все равно переглядеть я его не мог. Просто из приличия, чтобы не портить застолья. Я первым отводил глаза, но каждый раз это делал как бы лениво и равнодушно. Его серо-голубые глаза были чуть

навыкате. Мне даже подумалось, что они выпуклы, потому что на них все время давит внутренняя ярость.

В течение вечера я несколько раз замечал этот взгляд, полный неподвижной ненависти. И каждый раз я спокойно и равнодушно глядел ему в глаза, потому что только так и надо было глядеть в такие глаза. Но потом все-таки я первым отводил глаза, так как не хотел, чтобы за столом обратили на нас внимание.

А потом все напились, начались танцы, и я забыл о нем. Во время танцев ко мне подошла одна девушка и умоляющим голосом сказала: „Вы простите, пожалуйста, что он на вас так смотрел. Он такой ревнивый“.

Я понял, что это была его девушка. Я ее сейчас впервые заметил. Я уже был достаточно пьян и достаточно забыл его взгляды. „Ничего, ничего, — сказал я ей, — бывает“.

Потом мы все разошлись по домам. А через два месяца я узнал, что этот парень арестован. Ночью он встретил на улице двух молодых людей. Один из них попросил у него прикурить. Черт его знает, что ему показалось! Он молча достал финку и ударил того, кто попросил его прикурить. Тот упал. Второй побежал, но он его догнал и, несколько раз ударив финкой, убил.

Но первый, которого он сначала ударил, оказался не убит, а ранен. По его показаниям и нашли убийцу. Ярость человеконенавистничества в некоторых людях врожденна. И с этим ничего нельзя сделать. Но второго он не тронул бы, если б тот не побежал. Тут действуют звериные законы. А ведь убийца не какой-нибудь уголовник, он тоже был молодым инженером...

— Откуда вы знаете, что он не убил бы второго, если бы тот не побежал? — спросил я.

— Знаю точно, — ответил он и посмотрел на меня

ясными глазами, — он ведь тоже был инженером-строителем, как и я. Я бы на его месте тоже погнался за вторым, если бы ударил первого.

Логика его мне показалась не только странной, но и опасной. Черт знает что! Захотелось тихо выйти и оказаться в другом купе.

— Будем ложиться, — сказал он, — знаете, я, к сожалению, храплю по ночам. Вы не слишком чутко спите?

— Нет, — сказал я, стараясь растрогать его искренностью, — но я трудно засыпаю.

— Вот и хорошо, — заметил он, — я подожду, пока вы заснете, а потом и сам дам храпака. В чутком сне тоже есть что-то звериное. Опасайтесь людей с чутким сном. Особенно в пути. Они как раз просыпаются тогда, когда вы крепко спите. А что им тогда взбредет в голову, аллах его знает!

„Многообещающая концовка“, — подумал я и стал уныло стелить свою постель.

---

---

## МАВЗОЛЕИ

Сталин придумал положить труп Ленина в мавзолей, чтобы тысячи и тысячи людей, проходя через мавзолей, ежедневно воочию убеждались, что Ленин не перевернулся в гробу. Он, может, и перевернулся бы, и не раз, да кто бы ему дал перевернуться. Целый тайный подземный институт работал, чтобы не дать Ленину перевернуться в гробу, а заставить лежать в благопристойной, назначенной Сталиным позе.

Впрочем, скорее всего, Сталин тоже ошибался, он тоже был суеверным человеком. Время показало, что Ленину и незачем было переворачиваться в гробу: за что боролся, на то и напоролся.

Но, говоря всерьез, тут несколько глубочайших психологических аспектов. Власти, видимо, не до конца верят в новое демократическое устройство государства. Они подсознательно надеются, что, если все провалится, есть надежда в последний миг уцепиться за этот непотопляемый гроб и выплыть.

И другое. У нас как будто церковь восстановлена в своих правах. Если так, то почему отцы церкви терпят такое издевательство над трупом, не преданным земле? И хотя во всей русской истории не было большего ненавистника церкви, чем Ленин, они должны были бы громко и первыми восстать против такого варварства. Впрочем, и церковь до конца не верит в законность своего существования.

В России никто не верит в законность своего суще-



ствования. Но может быть, поэтому мы еще и существуем кое-как: равновесие взаимных беззаконий.

И простые люди в своем большинстве не хотят, чтобы похоронили Ленина. Подсознательно они чувствуют: сегодня похоронят Ленина, а завтра заставят работать всерьез, без пьянки и воровства. А на фига нам это надо, пусть все остается как есть.

И страна пьет, пьет, пьет, ибо решила, что поминки уместны, пока не убран из дома труп. Да и в каком доме можно трудиться на завтрашний день, когда в главной комнате стоит гроб с трупом? И время в доме стоит, пока стоит гроб с трупом.

И все грехи людей нашей страны невольно кажутся им мелкими по сравнению с главным грехом: непохороненный труп лежит в сердце страны как апофеоз смерти.

Если живые не хоронят мертвого, то, по ясному закону мистической логики, мертвый начинает хоронить живых. Миллионы загубленных. Одичание. Тысячи не преданных земле защитников родины дохлают в лесах. Вавилонское столпотворение глупостей.

Грех держать труп непохороненным в доме страны, и грех приступать к созидательной работе, которая все равно обречена, пока не похоронен труп.

---

## БАХУС И БАХ

Похмельное чувство вины! Кто же не знает эту муку мученическую! Режь себя! И ты режешь себя, вспоминая какое-то неловкое слово, какой-то фальшивый жест! На самом деле это только повод, такой муки ты не испытал бы, если бы трезвый произнес это неточное слово, сделал этот фальшивый жест! Так в чем дело? Откуда эта репетиция ада?

Выпив накануне, ты механическим способом создал себе хорошее настроение. И вот природа мстит нам за это искусственное веселье. И маятник откачнулся в обратную сторону.

Только глубоко уверившись в том, что мы в этот мир пришли не для хорошего настроения, а для чего-то большего, мы как раз и получаем шанс чаще пребывать в хорошем состоянии.

При невероятной, головокружительной изобретательности людей не удивительно ли, что человечество до сих пор не могло создать безвредное средство, приводящее человека в хорошее, веселое состояние духа? Видимо, это принципиально невозможно. Видимо, какая-то сила сверху следит за этим. Или человечество покорится уколам совести, или его ждет безумие наркотической иглы.

Взрывная похмельная боль за мелкую фальшь намекает нам, что на этом пути нас ждет деградация. Сперва сам взрываешься на собственную мелкую фальшь, а потом будешь несоразмерно взры-

ваться на эту же фальшь, замеченную другими. Это так. Это точно.

Но не слишком ли беспощадно мстит природа? А не слишком ли много ты выпил? Где выход?

Две-три рюмки на похмелье, чтобы снять эту муку и больше не пить! Год! Ну, месяц! По крайней мере неделю. Дальше отступать некуда. Держись, ибо страшен человек, переставший уважать себя.

Кстати, настоящая музыка похожа на вино. Она пьянит радостью, но опьянение музыкой не знает похмельной тяжести. По-видимому, музыка ближе всего к Богу. Она, как Бог, создает мир из ничего. Через какой гениальный очистительный аппарат прошло вино Баха!

---

---

## УБИВАЮЩИЙ

В детстве я видел такую картину. Мы с пацанами шли на море. Впереди нас, покачиваясь, шагали два пьяных человека. Один из них — богатырь, другой — довольно тощий, маленький. Тощий беспрерывно в чем-то укорял своего собутыльника. Богатырь неожиданно останавливался, приподнимал тощего и бросал его на тротуар.

После этого он сам помогал ему встать, и они шли дальше. Тощий продолжал его укорять. Богатырь терпел-терпел, а потом останавливался, поднимал его на руки и бросал на землю. После чего снова помогал ему подняться и идти дальше.

Когда богатырь в последний раз бросил тощего на тротуар, тощий сильно ударился головой о бордюр и остался недвижим. Все попытки второго пьяного поставить его на ноги ни к чему не приводили. Тощий был неподвижен и не открывал глаза.

Я помню тот ужас, который испытал тогда пацаном, он и до сих пор у меня в душе. Сейчас, по прошествии многих десятков лет, я надеюсь, что, может быть, тот пьяный и не убил своего товарища. Может быть, тот просто потерял сознание. Но тогда все мы, идущие сзади, думали, что убил.

Я тогда же почувствовал, что ужас случившегося не вмещается в границы жалости к убитому человеку. Я тогда же почувствовал, что случилось нечто более страшное. Я это почувствовал, весь окаменев,

охладевает, но что это такое — не понимал. И только теперь у меня мелькает странная догадка, объясняющая тот ужас.

Я думаю, с насильственной смертью человека обрывается информация, идущая от каждого человека к Богу. Миллиардами нитей Бог связан с человеком и нуждается в полной информации о его жизни — от рождения до естественной смерти. И вдруг эта информация искусственно прерывается убийством человека. Миллионы нитей от человека к Богу искусственно обрываются, когда люди убивают людей. И кто его знает, может быть, некое решение Бога относительно судьбы человечества из-за этого отодвигается и отодвигается в неизвестное будущее. Убийство человека — это плевок в Бога.

♦

---

---

# СКОРЬБЬ

Он летел на похороны матери. Рейс на его самолет уже несколько раз откладывали. И другие рейсы отодвигали. Аэропорт был переполнен пассажирами. Он ходил и ходил между сидящими и спящими пассажирами уже несколько часов. В ходьбе боль уменьшалась, вернее, само действие ходьбы, требуя некоторых усилий, немного приглушало боль.

Сейчас, когда он стал прилично зарабатывать и мог уже в полную силу помогать матери, она заболела и умерла. Он думал, что никто в мире никогда не узнает о самоотверженности его матери, о ее великом терпении, любви, о ее невероятных усилиях, чтобы одной вырастить своих детей.

И вот, поставив всех на ноги, почти внезапно умерла, вместо того чтобы долго и тихо угасать, лаская внуков и чувствуя на себе благодарную любовь своих взрослых детей.

Мать — короткий праздник на Земле.

Эти слова неведомого ему поэта сейчас звенели у него в голове. Какая несправедливость, думал он. И никто никогда не поймет, чем она была для своих близких, и этого никак не пересказать, потому что ее любовь и самоотверженность заключались в тысячах деталей, которые хранило его сердце, и в словах это не выразить, и не найдется человека, который все это захотел бы выслушать и понять. Какая несправедливость, думал он, шагая и шагая между людьми, сидящими на скамьях и спящими по залу аэропорта.

Мать — короткий праздник на Земле.

Вдруг его внимание привлекла женщина лет тридцати, по одежде явно крестьянка, сидевшая с узелками у ног. Его внимание привлекло выражение необычайной скорби на ее лице, и тогда он заметил мальчика лет шести, сидящего рядом с ней. Над глазом мальчика краснела чудовищная опухоль величиной с голубиное яйцо. Лицо мальчика было безмятежно, видно, он не испытывал никакой боли, тем более что руки его беспрерывно двигались, он занят был игрушечной машинкой.

Он остановился, пораженный лицом этой женщины. Конечно, выражение скорби на ее лице было связано с болезнью этого мальчика. Конечно, она прилетела в Москву показать его врачам. Что они ей сказали? Навряд ли что-нибудь утешительное. Иначе откуда такая скорбь на ее лице?

Он смотрел и смотрел на обыкновенное лицо русской женщины. В обычном смысле оно и было ни уродливым, ни красивым. Но сейчас оно было необыкновенным. Она молча смотрела в какую-то непомерную даль, и лицо ее светилось тихой, безропотной скорбью. Оно светилось скорбью и все понимало. Оно вмещало в себе всю скорбь мира, и он почувствовал, что оно вмещает в себе и скорбь по его матери, словно не хуже него знает о ее самоотверженно-мужественной, терпеливой жизни. И он вспомнил, что всю жизнь скорбь была главным выражением лица его матери, но он так привык к этому выражению, что не понимал его. И только сейчас понял. И эта женщина, которая была намного моложе не только его матери, но и его самого, вдруг показалась ему похожей на его мать.

В своей жизни он видел немало хороших, милых, красивых женских лиц. И только теперь, потрясенный, понял, что впервые видит прекрасное лицо.

И ему вдруг захотелось рухнуть на колени перед этой женщиной и поцеловать ее руку в знак благодар-

ности, что ее скорбь вмещает в себе и скорбь по его матери, и сказать ей все, что не успел сказать своей матери.

Однако он не двигался, а только смотрел на ее лицо. Он знал, что, даже если бы аэропорт был пуст и не было ни одного свидетеля, он бы не пал перед ней на колени. Он был сыном своего времени, и постыдный стыд перед откровенностью благоговения мешал ему это сделать.

Чем откровеннее хамство на этой земле, подумал он, тем более стыдится себя любовь. И сколько раз в жизни он бывал ранен и цепенел более всего от образованного хамства! Человек рождается грамотным или безграмотным, вдруг подумал он. Человек, родившийся грамотным, читая книги, расширяет свою грамотность. Человек, родившийся безграмотным, читая книги, только усугубляет свою безграмотность. Вот почему страшнее всех культурный хам. Под грузом культуры он как под мешком, который нельзя сбросить, и потому он нетерпим, раздражен, яростен и лишен мудрости, ибо под грузом мешка невозможно быть мудрым. Вероятно, только великая, всепроникающая скорбь даже из хама может сделать человека, думал он, глядя на лицо этой женщины.

И он смотрел и смотрел на это скорбящее, светящееся скорбью лицо, обращенное в непомерную даль. И ему почему-то становилось легче, просветленнее. В этом мире все прекрасное скорбит, подумал он, и все скорбящее прекрасно. И он вдруг с абсолютной уверенностью понял, что только скорбь прекрасна и только скорбь спасет мир. И разве случайно, что лицо Богоматери всегда скорбно?

...А мальчик с чудовищной опухолью над глазом безмятежно играл своей машинкой.



---

## ЭКСПЕРИМЕНТ

Как-то, моясь в ванне, я обдумывал статью, которую прочел накануне ночью. Автор писал о том, что при любых травмах головы область, ведающая высшей психической деятельностью, которая меньше всего зависит от физиологии, меньше всего страдает. Она же отказывает умирающему человеку последней.

Автор считал, что высшая психическая деятельность не столько зависит от физиологии, сколько от небесных причин, с которыми она связана более основательно.

Я так увлекся анализом этой статьи, что неожиданно поскользнулся, перевернулся, вылетел из ванны и, ударившись головой о стенку, потерял сознание.

Постепенно прихожу в себя. В голове грохот, переходящий в звон. Я сижу в ванной комнате, спиной прислонившись к стене. Слышу грохот, постепенно переходящий в звон. Мне кажется, это грохочет огромный зал, а я боксер, получивший нокаут. Первое, что я сообразил, — рефери не должен засчитать этот удар, потому что я получил удар по затылку. В боксе такой удар запрещен, и рефери должен оштрафовать моего противника.

Окончательно прихожу в себя. В голове звон, и сильно болит затылочная часть. Я затылком ударился о стену. Но значит, и в бредовой сцене, привидевшейся мне, я правильно определил место, куда получил удар. Значит, автор статьи прав.

Продолжая удивляться статье, кое-как встал, вытерся и оделся. Голова все еще болит, во всем теле слабость. А в этот вечер я должен был выступать в одном клубе. Отменять было неудобно, люди придут. Решил все-таки идти. Меня взбадривало воспоминание об этой статье, хотя голова продолжала болеть и во всем теле была слабость.

Я взял с собой два текста для чтения перед публикацией. Один текст был интонационно и по содержанию сложнее, я его решил читать еще до падения. Но сейчас прихватил и второй текст. Он был попроще. На всякий случай решил, что, если почувствую, что первый текст мне будет трудно читать, прочту второй.

Поехали с женой в клуб. Людей было много. Голова продолжала болеть. Я все-таки решил читать первый текст. Читаю. Увлёкся. Минут через десять почувствовал, что голова перестала болеть. Еще больше увлекся. Аудитория слушает внимательно: где надо смеется, где надо молчит. Читал больше часа.

В общем, вечер прошел хорошо. Потом жена сказала, что я никогда так здорово не читал. Но это, конечно, за счет волнения перед читкой: вдруг грохнусь и потеряю сознание. Но и автор статьи оказался прав, судя по всему. С тех пор прошло три дня, и никаких последствий падения я не чувствую, если не считать эту заметку. Но об этом судить читателям, однако для чистоты эксперимента желательно таким, которые сами не стучались головой об стену.

---

## СТАЛИН И ВУЧЕТИЧ

Вучетич — знаменитый скульптор, автор еще более знаменитого монумента Сталину, установленного под Сталинградом. Неподвижное бессмертие огромного монумента, видимо, согревало сердце вождя. Сталин несколько раз вызывал к себе Вучетича, и они подолгу беседовали за рюмкой коньяка.

Однажды случилось вот что. Об этом мне рассказывал один скульптор, который слышал эту историю от самого Вучетича.

Сталин мирно беседовал с Вучетичем.

— Товарищ Сталин, что такое старость? — спросил Вучетич, разумеется, имея в виду философский смысл проблемы.

И вдруг лицо Сталина мгновенно исказилось гневом и ненавистью. Он стал страшен. Вучетич помертвел, не в силах осознать, чем он разгневал Сталина.

— Молодой человек, вы плохо воспитаны, — с тихой яростью выдал Сталин, быстро встал и ушел в другую комнату, крепко хлопнув дверью.

Вучетич сидел ни жив ни мертв. Сейчас войдет стража и уведет его в подвалы Лубянки. Он не мог понять, что ткнул пальцем в самую болезненную точку сталинской психики.

Однако через некоторое время дверь открылась, Сталин спокойно вошел в комнату и сел на свое место.

— Старость — это потеря чувства современности, — победно сказал Сталин и разлил коньяк.

Беседа была мирно продолжена. По-видимому, формула, найденная Сталиным, ему самому понравилась, и к нему пришло хорошее настроение.

Сталин, как величайший бизнесмен политики, сделал ставку на смерть и выиграл полмира. Смерть всю жизнь была его самой исполнительной секретаршей. Она никогда не предавала, она была неутомимой и точной исполнительницей его воли.

Но, как трезвый человек, он понимал, что рано или поздно верная исполнительница его воли придет за ним самим. Это, вероятно, иногда приводило его в бешенство. Известно, что в быту он не любил всякое упоминание о смерти. За несколько лет до смерти, видимо, в порыве ярости он решил казнить смерть. В Советском Союзе произошло неслыханное — была отменена смертная казнь. И видимо, этот новый закон достаточно неукоснительно соблюдался.

Один уголовник мне рассказывал, что он в лагере, мстя за избитого до полусмерти друга, с невероятной дерзостью убил одного из главных вертухаев. Ему намотали новый срок, но не расстреляли.

Впрочем, не исключено, что отмена смертной казни была хитрым политическим ходом Сталина. Есть признаки, что он готовился к новому тридцать седьмому году и отменой смертной казни усыплял бдительность других партийных вождей.

Старость — это потеря чувства современности. Нет, он, Сталин, не потерял чувства современности. Значит, до истинной старости далеко. Пусть трепещут враги! Живой Сталин еще долго будет жить вместе со своим бессмертным монументом.

Но вскоре Сталин умер. Или его убили? Мы ничего не знаем. Если его убили, значит, он все-таки потерял чувство современности и на этот раз не смог перехитрить других вождей.

Сталин так или иначе умер, а через три года тысячи скульптур Сталина вместе с его знаменитым монументом были демонтированы и разрушены.

Что же такое история? Ничего. Реке все равно, что на ней ставят: бойню или мельницу.

Он вернулся из командировки, открыл ключом дверь своей квартиры и вошел в переднюю. Из гостиной доносился голос его жены. Оставив портфель в передней, он вошел туда. Там, кроме жены и его шестилетнего сына, находился какой-то незнакомый мужчина, который слишком вольготно развалился в кресле. По выражению лица жены и этого мужчины он сразу понял, что случилось нечто неисправимое.

— В нашей жизни кое-что изменилось, — сказала жена, как бы опережая его догадку и тайно упрекая его в слишком длительной командировке.

Она это сказала слегка смущенным голосом, но внутри этого смущения чувствовалось твердое решение и попытка навязать ему фальшивую уверенность в своей правоте и чистоплотности. При этом уверенность в ее чистоплотности основывалась на том, что она сразу сообщила ему о невероятной новости, хотя он сам мгновенно догадался о случившемся, как только вошел в гостиную.

Он вдруг вспомнил, что накануне ночью в поезде видел дурной сон и тогда же проснулся и подумал, что сон этот не к добру и в доме его, вероятно, какой-то неполадок. И вот явь подтверждала сон.

Все это сейчас пронеслось у него в голове, и его взорвала ее попытка навязать ему свою фальшивую правоту. Одновременно его взорвало выражение лица этого мужчины со слегка задраным, якобы волевым

подбородком. Вид у него был уверенного в себе комсомольского вожака, который, слушая слова его жены, легкими кивками как бы подтверждал всемирное право женщины самой распоряжаться своей судьбой.

В ярости он подбежал к креслу мужчины и стал бить его кулаками в подбородок. Он уже заметил, что мужчина этот гораздо крупнее его и явно сильнее, и потому решил, что точным ударом в подбородок он его сразу должен оглушить, нокаутировать.

Но когда он начал его бить, он ощутил, что от ярости руки его слишком напряжены и удары получают недостаточную резкость. И оттого что он, несмотря на душную его ярость, стараясь образумить эту ярость, перехитрить ее, пытался как можно точнее попасть ему в подбородок, сила ударов ослабевала. Одновременно он ощущал подловатость не соответствующей моменту слишком строгой целенаправленности своих ударов.

Он бил и бил этого мужчину. После каждого удара голова мужчины вздрагивала, но выражение лица не менялось, а как бы еще более сурово замыкалось на мысли, что женщина имеет полное право сама распоряжаться своей судьбой и было бы оппортунизмом предавать забвению эту часть общепролетарского дела. Выражение лица этого мужчины к тому же назойливо напоминало лицо героя знаменитой картины „Допрос коммуниста“.

„Сколько же можно бить его?“ — думал он, чувствуя, что руки начинают уставать, деревенеть. И вдруг он понял, что голова мужчины не вздрагивает после каждого удара, как ему казалось, а просто отряхивается. Так человек, слегка мотнув головой, сгоняет муху, севшую ему на лицо.

„Ему совсем не больно“, — с ужасом подумал он, продолжая молотить по резиновому подбородку мужчины. И сейчас он почувствовал фальшь собственных ударов. Ведь он уже понял, что мужчине его удары не

причиняют никакого вреда. И теперь ему ясно стало, что он перед этим мужчиной притворяется, делает вид, что не догадывается о бесполезности своих ударов, и длит бесполезное наказание.

Ведь если мужчина догадается, что он уже знает о бесполезности своих ударов, то это значило бы, что он должен найти новый способ мести или оказаться смешным. Но он не находил нового способа мести, точнее, считал преступным, скажем, схватить кухонный нож и пырнуть им ненавистного мужчину. Нет, такой выход он считал невозможным, а вот бить кулаками — в порядке вещей. Но и показаться смешным было ужасно. И он, чтобы не показаться смешным, усердно, как бы не сомневаясь в силе своих ударов, продолжал молотить кулаками по его бесчувственному подбородку. Но положение с каждым мгновением становилось все кошмарнее и кошмарнее, и руки уже стали свинцовыми от усталости.

— Что толку драться? — вдруг сказал мужчина, подставляя ладони и легко принимая на них его удары. — Мы с ней уже живем полгода. А теперь решили жениться...

— Как полгода?! — задохнулся он в крике и одновременно постыдно радуясь, что при такой вести уже бессмысленно его бить и потому наконец можно опустить руки, которыми, выбившись из сил, он с трудом двигал. И вдруг неожиданно как убийственный аргумент против этого мужчины вспомнил и выкрикнул: — Но ведь она эти полгода продолжала жить со мной!

— Ну, это чисто формально, чисто формально, — поспешно поправил его мужчина, пытаясь замять этот его сокрушительный аргумент.

— Как это — формально?! — вспыхнул он, не давая отбросить этот свой аргумент, из которого, как ему казалось, совершенно ясно вытекало, что она не могла ничего общего иметь с этим мужчиной. И он стал доказывать, что все эти полгода он не формаль-



но, а по-настоящему жил с женой, не пренебрегая и такими постельными деталями, о которых он и под пытками в другое время не стал бы кому-либо рассказывать.

Ему казалось, что мужчина этот исчезнет, как дурной сон, если его доказательства будут убедительны. Но приводя их, он старался говорить иносказательно, чтобы ребенок ничего не понял, чтобы не причинять ему боли и не оскорблять его слух.

— Только без натуралистических подробностей, — сказал вдруг мужчина и, поморщившись, махнул рукой, — мы всегда были против натурализма.

Слушая его слова, он вдруг почувствовал, что этот мужчина ведет себя как хозяин положения и в стране, и в его доме. „Как это могло получиться, — подумал он, — ведь они вроде потеряли власть? Или сделали вид, что потеряли власть?“

„Может, все это сон? — с брезжущей надеждой, подумал он. Но тут же жестко поправил себя: — Как же это может быть сном, когда как раз накануне я видел сон, который намекал мне на эту предстоящую явь. И вот она“.

А между тем мужчина, видимо, нашел его доказательства достаточно убедительными и с упреком посмотрел на его жену.

— Вот как, — сказал он, вдохнувшись, — а что ты теперь скажешь?

Жена его с вкрадчивой скромностью в голосе напомнила случай, действительно имевший место в одну из ночей этого полугодия, когда у них близость сорвалась. Тем самым доказывая, что полугодия близости в строгом смысле слова не получается. И хотя тогда близость сорвалась по ее же вине, она об этом не сказала. Но он почувствовал, что сейчас опасно об этом напоминать. Мог возникнуть спор, а во время спора они могли вспомнить, что он вообще целый месяц был в командировке. Сейчас они почему-то об

этом забыли. Если бы они об этом знали, ему было бы совсем нечем крыть. Было смертельно важно доказать, что его связь с женой не прерывалась в эти полгода.

„Как хорошо, что я портфель оставил в передней, — подумал он, — если бы я его внес сюда, они бы все вспомнили. С портфелем повезло, — подумал он. — Надо раскручивать это реальное везение, и тогда победа будет за мной“.

Раз они не видели портфель, надо делать вид, что этот мужчина появился в их доме и в их жизни, пока он выходил за сигаретами. Да, достаточно будет сказать, что он не в командировке был, а выходил из дома за сигаретами. „А если они спросят: почему ты так долго ходил за сигаретами? Очень просто, я скажу, что ближайший киоск был закрыт. Главное, что они портфель не видели“.

А вдруг кто-нибудь из них случайно выйдет в переднюю, заметит его портфель и вспомнит, что он только что вернулся из командировки? Нельзя, нельзя этого допустить, подумал он, холодея. Надо спрятать портфель.

Он вынул сигарету и похлопал себя по карманам в знак того, что ищет спички и не находит. И он сделал вид, что идет в кухню за спичками. По дороге туда он в передней подхватил свой портфель и понес на кухню. Не зная, куда его спрятать получше, он сунул его в холодильник. Нахождение портфеля в холодильнике показалось ему достаточно естественным, потому что в портфеле оставался большой кусок колбасы, недоеденной в поезде: колбаса могла испортиться.

После этого он закурил от кухонной спички, хотя знал, что зажигалка у него в кармане. Но ему хотелось, чтобы его уход на кухню хотя бы частично был оправдан.

Закурив и вернувшись в гостиную, он снова встревожился, что они все-таки могут вспомнить о его ко-

мандировке уже независимо от портфеля. Конечно, он может на это им сказать: „А где мой портфель, если я был в командировке?“

Все-таки он подумал о командировке как о запасном варианте, если ее придется признать.

По неведомым командировочным правилам день отъезда и день приезда принято было считать за один день. И он старался не забывать об этом, на случай если они вспомнят о командировке. Так он выгадывал один день. Конечно, он понимал, что выигрыш одного дня ему мало что дает, но с другой стороны, один день — это вдвое меньше, чем два дня. Но они так и не вспомнили о командировке или сочли излишним о ней вспоминать.

— Да, полгода у нас не получается, — сокрушенно согласился комсомольский вожак. Он это сказал раздумчиво, как бы взвесив ситуацию. И вдруг лицо его озарилось радостной догадкой. — Выходит, она изменила нам обоим! — вскрикнул он и расхохотался. — Еще неизвестно, кто кому должен предъявлять претензии. Вы ее вынуждали к сожителству! Я на вас подам в суд! Муж жену вынуждал к сожителству, пользуясь своим служебным положением мужа! Ха! Ха! Ха!

Острота, видимо, ему очень понравилась. Человек оживленно вскочил с места, подбежал к его сыну, схватил его в охапку и стал подбрасывать и ловить. А он, с разрывающимся от обиды сердцем, видел, что сыну эта игра нравится.

— Сыночек! — крикнул он срывающимся голосом, с последней надеждой добратся хотя бы до души собственного сына. — У тебя новый папа?!

— Да!!! — с сияющим лицом крикнул сын, задыхаясь от встречного воздуха и взлетая на руках этого мужчины. И вдруг все взорвалось!

...С глухо и страшно колотящимся сердцем он проснулся. Он был у себя дома. Сын и жена спали в других комнатах, и никакого намека на эту драму в жиз-

ни его не было. А сердце продолжало тяжело колотиться.

Он вспомнил, что и предыдущий сон, о котором он думал во сне и который как бы предупреждал об этом сне, он видел здесь, в этой же постели, несколько ночей назад. Ни в какую командировку он вообще не ездил.

Он подумал, что никогда в жизни не испытал такой боли, какую он испытал сейчас во сне. От нее он и проснулся. Так, где же настоящая жизнь — во сне или наяву, если самую ужасную боль мы испытываем во сне.

„Во сне мы беззащитны, потому что разум спит, — подумал он. — Значит, разум нас защищает, когда мы бодрствуем. Во время страшного сна кто-то тормозит разум: просыпайся, ему плохо! Но кто тормозит: организм, душа или кто-то, находящийся выше нас?

Странно, что во сне мы испытываем нравственную боль, но не испытываем нравственной брезгливости. Нравственная брезгливость, — подумал он, — плод культуры. Сон смысляет культуру. Потому во сне возможны не только фантастические ситуации, но и похабные, которые немислимы наяву“.

Он нашарил в темноте сигареты и закурил. Он подумал: как хрупка жизнь! И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни все может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступление. Ни того ни другого у них не было. Да, подумал он, прочно людей связывает или небо, или ад. Все остальное непрочно. И даже имеет право на непрочность. Он с жуткой ясностью почувствовал это право на непрочность, право на своеволие. И он затосковал о Боге и ощутил свою вину, что не затосковал о нем раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад

распалась семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, верующая, озвученная громкоголосыми детьми семья. И вот теперь все рухнуло. Вера не помогла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная крестьянская семья. В этой семье муж и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется.

Само стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как бы предполагает: тайный, только для меня солнечный день. Счастье — это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир наркомания — ответ на идеологию счастья.

...В глубокой ночной тишине только тикал будильник, и тиканье его казалось взрывоопасным.

---

---

## ОЛАДЫ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ГОДА

Мать поджарила двенадцать оладий, выложила их в тарелку и поставила ее на тумбочку. Сейчас в доме было три человека — мать, ее дочь и сын. Отец поздно возвращался с работы. Сестра ходила в школу во вторую смену, и, когда она вернулась домой, они сели обедать. И тут обнаружилось, что в тарелке не двенадцать оладий, а одиннадцать.

— Ты почему без спроса взял оладью? — спросила мать у сына.

— Я не брал, — ответил мальчик. Он в самом деле не брал оладью.

— Кто же взял? — удивилась мать. — Если бы у нас была кошка, я бы решила, что она съела одну оладью.

— Я не брал, — повторил мальчик.

— Кто же мог взять, — сказала мать, — у нас же никого не было в доме? Ты понимаешь, что ты сделал? Мало того, что ты без спроса взял оладью, ты еще врешь, что ее не брал.

— Я не брал, я честно говорю, — ответил мальчик.

— Так что, по-твоему, я сошла с ума? — возмутилась мать. — Я поджарила двенадцать оладий. На каждого по три штуки. А сейчас их одиннадцать. Ты съел одну оладью и потому теперь получишь только две.

— Хорошо, — согласился мальчик.

Легкость его согласия еще больше раздражила мать.

— Но почему же ты не признаешь, что взял одну оладью? Я же не собираюсь тебя бить за нее. Трусливо отпираться, когда ясно, что ты взял одну оладью.

— Я не брал, — повторил мальчик.

Он в самом деле не брал оладью.

У мамы по лицу пошли красные пятна.

— Ты меня убиваешь, — сказала она, — я поджарила двенадцать оладий. Когда я их поджаривала и перекладывала в тарелку, я их снова пересчитала. Их было двенадцать. Куда делась одна оладья?

— Я не знаю, — сказал мальчик.

— Кто же знает? — спросила мать. — Нас в доме всего было два человека — ты и я. Выходит, твоя мать, изверг, сама съела одну оладью, а теперь сваливает на сына. Отвечай: значит, твоя мать — изверг?

— Нет, — сказал мальчик, — я так не думаю.

— Тогда куда делась оладья?

— Не знаю, — сказал мальчик, — я не брал.

— Кто же взял, святой дух, что ли? — крикнула мать. — Ты меня в гроб загонишь своим упрямством. Ты же знаешь, что у меня больное сердце. •

Она встала из-за стола, накапала в рюмку валерьянки и выпила. Мальчику стало ужасно жалко маму. Он знал, что она не отстанет от него.

— Куда делась оладья? — сев на место и словно подкрепившись валерьянкой, снова спросила мать.

— Ну, я съел ее, — сказал мальчик, потому что ему было жалко маму.

Ему казалось, что она без такого признания от него не отстанет.

— Так бы сразу и сказал, — умиrotворенно заключила мать, — значит, это правда, что ты взял оладью?

— Нет, неправда, — ответил мальчик. Он думал, что, сказав, что он съел оладью, он на этом успокоит мать и разговор отпадет. Но теперь почувствовал, что своим признанием придал ей новые силы.

— Он меня сведет с ума, — сказала мать и заломила руки, — он съел оладью, но не брал ее. Что она сама тебе влетела в рот? Ты идиот или негодяй! В обоих случаях мне сейчас будет плохо.

Ему опять стало жалко маму.

— Ну, съел я, съел оладью! — повторил он.

— Значит, это правда, что ты взял ее? — торжественно спросила мать.

— Нет, неправда, — ответил мальчик.

Это в самом деле было неправдой, и он с неправдой никак не хотел соглашаться. Просто из жалости к матери он сказал, что съел оладью.

Мать всплеснула руками.

— Ты настоящий троцкист! — крикнула она. — Сейчас судят троцкистов, и они так же путаются в ответах. Их спрашивает прокурор: „Вы встречались со шпионами и диверсантами?“ Они отвечают: „Да, встречались“. — „Так вы признаете свою антисоветскую деятельность?“ Они отвечают: „Нет, не признаем“. — „Где же честность, где логика?“ Ты настоящий троцкист. Значит, ты съел оладью, но не брал ее?

— Да, — согласился мальчик, все-таки надеясь, что мать утихомирится.

— Как же ты ее мог съесть, если ты ее не брал? — окаменела мать от возмущения, а потом, словно озаренная догадкой, добавила: — Может, ты ее не руками, а зубами схватил? Подошел и, как собака, зубами схватил оладью?

— Да, — подтвердил мальчик, не находя выхода, — зубами схватил оладью.

— И съел? — жестко уточнила мать.

— И съел, — согласился мальчик.

— Так и не притронувшись руками? — спросила мать с раздраженным любопытством.

— Так и не притронувшись, — согласился мальчик.

— Но ведь невозможно съесть оладью, не придерживая ее рукой, — сказала мать, — она же не могла



сразу целиком войти в твой рот, хотя он у тебя большой. Значит, ты ее все-таки придерживал руками? Значит, брал? Наконец я тебя поймала!

Мальчик понял, что он сейчас будет разоблачен, и мгновенно придумал ответ.

— Я ее съел прямо с тарелки, наклонившись над тумбочкой, — сказал он.

— Какой коварный, какой коварный, — покачала мать головой, — чтобы иметь право сказать, что он не брал оладью, он схватил ее зубами. Это же надо додуматься! Но теперь ты видишь, что ты все-таки сказал неправду?

— Я сказал правду, — ответил мальчик, — я не брал оладью.

— Брал, зубами схватил! — в истерике закричала мать. — Ты все-таки съел оладью или нет?!

У мальчика от жалости к матери сжалось сердце.

— Съел, съел! — поспешно согласился он, чтобы успокоить ее.

Сейчас в его понимании истинного положения вещей все раздвоилось. С одной стороны, подумаешь, сказать, что съел оладью, даже если ее не съел. С другой стороны, признать, что он говорит неправду, он не мог. Правда и неправда для него оставались гораздо значительнее любой оладьи.

— Троцкист проклятый! — крикнула мать. — Убирайся из дому, чтобы я тебя не видела до вечера!

Он вышел на улицу, и ему было очень грустно. Он знал, что мать каждый день нервничает, боясь, что отец не придет с работы, что его арестуют. Она часто говорила отцу, что ему не хватает ясности и твердости и он из-за этого может попасть в тюрьму. Мальчик не вполне понимал, что она подразумевает под ясностью и твердостью. Но она считала, что ясность и твердость спасет их семью. Мальчик чувствовал, что в стране происходит что-то мутное и страшное, но как это понять, он не знал и не любил думать об этом.

Повсюду шли судебные процессы над вредителями. Взрослые сладострастно припадали к приемникам, по которым передавали эти процессы. Мальчик чувствовал, что они встревожены и одновременно тихо радуются, что их миновала беда. Но он не любил об этом думать.

Вскоре соседские пацаны затеяли играть в футбол и позвали его. И он гонял мяч вместе с ними. В азарте игры он забыл обо всем: и об оладьях, и о том мутном и страшном, о чем он не любил думать, — но оно само приходило в голову. Сейчас ему было легко, хорошо.

Но вдруг на улицу выбежала сестра и крикнула ему:

— Мама зовет тебя сейчас же домой!

— Что случилось? — спросил мальчик.

— За тумбочкой зашуршала мышка, — быстро проговорила сестра, — мама заглянула туда и увидела, что одна оладья свалилась за тумбочку. Скорей домой! Мама зовет тебя!

Мальчик обрадовался, что сам собой уладился вопрос о пропавшей оладье, и побежал домой. Он думал, что мама сейчас будет каяться за то, что обвинила его в пропавшей оладье.

Но мама сидела на кухне, горестно подперев ладонью лицо. Вид ее ничего хорошего не обещал мальчику. Настроение у него снова испортилось.

— Почему ты мне соврал про оладью? — горько спросила она, не сводя с него страдавших глаз.

— Я же не соврал, — сказал мальчик, — оладья же нашлась за тумбочкой.

— Но ведь ты признался, что ты ее съел, — напомнила мать. — Почему ты сказал, что ты ее съел?

Мальчик, поникнув головой, молчал. Ему стыдно было говорить, что он пожалел маму и потому так сказал.

— Я от тебя не отстану, — сказала мать, — пока ты не сознаешься, почему мучил меня, женщину с больным сердцем. Почему ты соврал, что съел ола-

дью? Да еще соврал таким извращенным способом: зубами схватил оладью. Ты иезуит! Отвечай: почему ты соврал, что съел оладью?

— Ну, ты ко мне пристала, и я решил успокоить тебя, — сказал мальчик, — пожалел тебя!

— Он меня пожалел! — воскликнула мать. — Какой сердобольный! Раз ты не взял оладью, ты должен был держаться правды, и только правды. Под любыми пытками надо говорить только правду! А ты, как гнилой интеллигент, стал выкручиваться: съел, но не брал. Я чуть с ума не сошла. Человек всегда должен говорить только правду!

И надо же, благодаря мышке, я узнала настоящую правду, которую не могла вытянуть из тебя. Ты не понимаешь, в какое время мы живем! Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости! А ты доказал, что не способен ни на то ни на другое. Поди вымой лицо и ноги. А потом приведи в порядок мышеловку. Что-то у нас снова развелись мыши. Они, кстати, чувствуют, когда в доме нет ясности и твердости.

Мальчик угрюмо отправился к умывалке. С мышами у него тоже были свои сложности. Мама выдала ему старую вилку, чтобы он ею убивал мышей, попавших в мышеловку. Но ему было противно прокалывать мышей вилкой. Если попадалась мышь, он выносил мышеловку на улицу, открывал ее над канавой, и живая мышь шлепалась туда. Может ли она снова вернуться к ним домой, он не знал. В вопросе о мышах тоже ему не хватало ясности и твердости.

---

## МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Пушкин — Гольфстрим русской культуры. И это навсегда. Благо, его влияние на нее и вливание в нее огромны, но не поддаются исчерпывающей оценке.

И те наши художники, которые сознательно отталкивались от Пушкина, пытаясь создать другой, свой художественный мир, бессознательно оглядывались на него: насколько далеко можно оттолкнуться? Он и для них оставался ориентиром.

В наш катастрофический атомный век Пушкин стал нам особенно близок. Мысленно возвращаясь к Пушкину, мы как бы говорим себе: неужели мы так хорошо начинали, чтобы так плохо кончить? Не может быть!

Пушкин в своем творчестве исследовал едва ли не все главнейшие человеческие страсти. В „Моцарте и Сальери“ он раскрывает нам истоки одной из самых злобещих человеческих страстей — зависти.

Хочется поделиться некоторыми соображениями, которые возникли у меня, когда я перечитывал эту вещь.

Итак, Сальери завидует славе Моцарта. Обычно завидующий не говорит о себе: мне хочется иметь то, что по праву должен иметь я. Страшная, смутная таинственность этого ощущения: он украл мою судьбу.

Так чувствует Сальери. Когда речь заходит о том, что Бомарше кого-то отравил, Моцарт произносит знаменитые слова:

Он же гений,  
Как ты да я. А гений и злодейство —  
Две вещи несовместные.

Почему же несовместные? Гений, по Моцарту (и Пушкину), — человек, наиболее приспособленный природой творить добро. Как же наиболее приспособленный творить добро может стать злодеем?

Но гений не только нравственно, но, можно сказать, и физически не может быть злодеем. Сейчас мы попробуем это доказать.

Всякое талантливое произведение предполагает некую полноту самоотдачи художника. Мы не всегда это осознаем, но всегда чувствуем.

Образно говоря, художник начинается тогда, когда он дает больше, чем у него просили. Идея щедрости лежит в основе искусства. В искусстве вес вещества, полученного после реакции, всегда больше веса вещества, взятого до реакции. Искусство нарушает естественно-научные законы, но именно потому искусство — чудо, Божий дар. Можно сказать, что искусство нарушает естественно-научные законы ради еще более естественных и еще более научных.

Щедрость есть высшее выражение искренности. Поэтому идея щедрости лежит в основе искусства.

Если наш знакомый держит в руках кулек с яблоками, и мы просим у него одно яблоко, и он его нам дает — это еще не означает, что он это делает доброжелательно. Возможно, он это делает из приличия или других соображений. Но если на просьбу дать одно яблоко он дает нам сразу два или три — искренность его желания угостить нас яблоками практически несомненна.

Итак, искусство — дело щедрых. Стремление к полноте самоотдачи лежит в основе искусства. Чем талантливее человек, тем полнее самоотдача. Самый талантливый, то есть гений, осуществляет абсолют-

ную полноту самоотдачи. Беспредельная щедрость подготавливается беспредельной концентрацией сил. При одержимости искусством вступает в силу некий закон, который можно назвать законом экономии энергии, или силовой заикленностью. Таким образом, гений не может быть злодеем еще и потому, что у него никогда нет свободных энергетических ресурсов на это.

В „Моцарте и Сальери“ просматривается и вопрос о влиянии мировоззрения художника на его творчество. Есть ли вообще такое влияние? С теми и иными отклонениями, безусловно, есть.

Как должен относиться к своему делу Сальери? В полном согласии со своим мировоззрением здесь должен царить культ мастерства. Сальери всего мира этот культ проповедают до сих пор.

„Ремесло поставил я подножием искусству“.

Так говорит Сальери.

„Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп“, — говорит он дальше. Так и видится постная, мрачная физиономия Сальери, роющегося во внутренностях музыкального трупа и время от времени многозначительно поглядывающего на зрителей, давая им понять, что мастерство ему дорого досталось и нечего жалеть деньги, потраченные на концерт.

Как средневековый алхимик, Сальери надеется при помощи мастерства добывать золото из железа. В усердии ему не откажешь. И терпение, и труд, и любовь к музыке, и даже на всякий случай моление — лишь бы достичь высоких результатов, которые его сравнивают с Моцартом или даже поставят над ним.

Почему же Моцарт ничего не говорит о своем мастерстве? А вместе с ним и Пушкин? Да потому, что того мастерства, о котором мечтает Сальери, для Моцарта не существует.

Ремесленная часть искусства, безусловно, есть,

но она для настоящего художника слишком элементарна, чтобы о ней говорить.

Что же такое истинное мастерство? Существует ли оно?

По-моему, существует, но заключается совсем в другом. Я бы дал такое определение мастерству. Мастерство художника — это умение заставить работать разум на уровне интуиции. Мастерство есть воспоминание о вдохновении и потому отчасти благородная имитация его.

В работе над большой вещью, а иногда и не над большой, вдохновение может быть прерывисто, и в таком случае мастерство есть заполнение пауз. Мастерство — это развитие духовного зрения художника, вспоминающего ночью пейзаж леса, который он уже видел при свете вдохновения, и по этому воспоминанию находящего дорогу в лесу.

Поэтому в серьезном смысле слова и говорить об этом нечего. Кто знал вдохновение, тот так или иначе найдет путь к истинному мастерству. А кто его не знает или знает в недостаточной степени, тому все равно не поможет „разъятие“ музыки..?

Вдохновение — радость по поводу приоткрывшейся тебе истины. Состояние это очень напоминает состояние счастливой влюбленности. Вдохновение и есть форма влюбленности, только влюбленности в приоткрывшуюся истину.

Пишущий в самые высокие минуты вдохновения чувствует, как будто кто-то ему диктует рукопись. Меняется само физическое состояние человека, он может работать по двенадцать часов в сутки и не чувствовать никакой усталости.

Вдохновение, можно сказать, есть признак благосклонности Музы к человеку, испытывающему вдохновение. Но конечно, эту благосклонность надо заслужить. Наиболее наглядной формой заслуги является то, что вдохновение чаще всего приходит по поводу вещей, которые художнику казались важны-

ми, тревожили, мучили, но он долго не мог найти формы для их воплощения.

Уныние, упадок сил есть невдохновение, неистинное состояние.

Но такое состояние бывает у каждого человека. Как быть? Я думаю, винить прежде всего самого себя и продолжать жить с мужественной верой, что, если вдохновение у меня бывало, значит, оно должно прийти снова. Но и наше уныние, с точки зрения высшей мудрости, вещь необходимая: надо нас проверить и через уныние тоже. Каковы мы в упадке? Это тоже важно для определения нашего истинного облика.

Художник всегда творит в двух направлениях. Он творец своих произведений и своей жизни одновременно. Художник интуитивно и непрерывно оплодотворяет свою жизнь, превращая ее в обогащенную руду, в бесконечный черновик, который он потом будет переплавлять в своем творческом ображении, придавая ему ту или иную форму.

Сравнительно мелкие падения в своей жизни художник может преодолеть творческим покаянием. Разумеется, субъективно он свое падение не будет воспринимать как мелкое. Он его искренно воспринимает как полный, позорный провал.

Но настоящее, серьезное падение в жизни никто еще не мог творчески преодолеть. Муза брезглива, она отворачивается от испакощенной жизни. Причину таинственного, хронического бесплодия некогда ярких талантов ищите в их жизни, и вы найдете то место, где Муза отвернулась от них.

Беспрерывное жизненное сопротивление всем видам подлости, трение от этого противоборства аккумуляруют в душе художника творческую энергию. Поэтому можно сказать, что талант — это награда за честность. Каждый талантлив в меру своей честности, понимая ее в самом широком, многослойном смысле. Самый глубокий след — жажда истины.



Теперь вернемся к Моцарту и Сальери. Зададимся таким вопросом: почему, собственно, они дружат?

То, что Сальери тянет к Моцарту, понять как будто легко. Во-первых, дружба с Моцартом льстит. Сальери при Моцарте — как мещанин во дворянстве. Сальери — мещанин, разумеется, в этическом смысле, то есть человек, для которого земные блага всегда выше духовных. Хотя и духовные блага Сальери, конечно, доступны. То есть он талантлив. Сальери талантлив в музыке, но в подлости он еще более талантлив. Земное отоваривание своего призвания для него всегда важнее самого призвания. Суть каждого человека в направленности его пафоса. Направленность пафоса Сальери в том, чтобы как можно больше благ иметь от музыки.

Быть рядом с Моцартом, более признанным музыкантом, — это получать дополнительное благо от музыки, облагородить свой облик духом моцартианства.

Для меня Моцарт не столько идеал солнечного таланта, сколько идеал солнечного бескорыстия. Если личность художника — это талант, разделенный на его корысть, то, вероятно, нищий музыкант, которого Моцарт привел в трактир, окажется ему ближе, чем Сальери.

Сальерианство возможно на достаточно высоких уровнях таланта, лишь бы при этом знаменатель, то есть корысть, был бы соответственно большим.

Однако названная причина, по которой Сальери тянется к Моцарту, не единственная. Я думаю, даже не главная. Сальери тянет к Моцарту, он липнет к нему, чтобы поймать его на неправильности его образа жизни и тем самым оправдать свой образ жизни как правильный.

В нем все-таки живет грызущая его душу змея, в нем живет догадка, что художник не так должен жить, как живет он. Он ведь все-таки был талант-

лив, хотя и предал свой талант. Человеку немислимо думать, что его образ жизни неправильный, фальшивый. Неправильно живущий — это как бы неживущий. Надо во что бы то ни стало найти доказательства невозможности, глупости, пагубности такого отношения к искусству, какое исповедует Моцарт, даже если и не говорит об этом. Но Моцарт не дает таких доказательств и тем самым обрекает себя на смерть. Не давая повода к своему духовному уничтожению, Моцарт обрекает себя на физическое уничтожение.

Своим благородством и бескорыстием Моцарт толкает Сальери на убийство. Зависть Сальери выставляет перед его мысленным взором список преступлений Моцарта с неизбежным обвинительным заключением — смерть. И так как все преступления Моцарта против Сальери неосознанны, а значит, как бы тайные, это „как бы“ дает Сальери право его так же тайно отравить.

Чем же Моцарт смертельно обидел Сальери?

С одной стороны, Моцарт громко и ясно объявляет, что он и Сальери равны. Моцарт как бы подразумевает: раз мы оба честно служим гармонии, мы равны. Какая разница в том, что мне отпущено больше таланта?

Но Сальери это молчаливое объяснение Моцарта своего понимания служения искусству не может и не хочет принять. Он усвоил только одно, что Моцарт общается с ним как с равным и сам же громко говорит, что они оба гении. Но законы понимания равенства у Сальери совсем другие. Равны — так пусть платят по труду. Моцарт, с одной стороны, признает, что Сальери равен ему, а с другой стороны, не может обеспечить ему равную славу.

Не можешь обеспечить равной славы, так и не говори, черт подери, что мы равны! А если мы равны, но у тебя гораздо больше славы, значит, ты ее украл у меня.

Конечно, восстанавливая это мысленное рассуждение Сальери, мы догадываемся, что он жульничает и все равно он искренен. Так устроен Сальери, так устроены многие люди, они способны искренне жульничать.

Раздражение Сальери усугубляется догадкой, что, будь он Моцартом, он бы никогда не сказал Сальери, что они равны, он бы постоянно извлекал удовольствие от сознания своей большей одаренности. Ведь Сальери знает, что он сам, общаясь с менее одаренными музыкантами, постоянно извлекает это удовольствие. Значит, Моцарт как бы молчаливо указывает ему на подлость такого наслаждения.

Можно предположить, что, общаясь с Моцартом, Сальери надеялся выведать кое-какие тайны ремесла у Моцарта. Но он не смог этого сделать по самой глупой причине — по причине отсутствия этих тайн у Моцарта. И тем самым Моцарт сделал смехотворными маленькие тайны ремесла Сальери. А ведь Сальери, гордясь своими тайнами, так их оберегал от чуждых глаз!

Мало всего этого, Моцарт еще приводит какого-то нищего скрипача и просит Сальери послушать его! Господи, неужели Сальери так глуп, чтобы не догадаться, что за этим стоит! Нет, Сальери вовсе не глуп, он понимает, что Моцарт отнимает у него последнее.

Ведь одно все-таки оставалось: Моцарт включил его в круг избранных, свой особый круг, куда допускаются только мастера высокого класса. И вдруг тащит туда какого-то нищего музыканта! И тем самым доказывает, что никогда не делал принципиальной разницы между Сальери и любым случайным нищим музыкантом.

Разом вдребезги разбивается столь любимая Сальери система знаков, шлагбаумов, перегородок, пропусков, чтобы сразу видно было: кто к какому месту прикреплен.

Человек не может жить, совершенно ни на что не ориентируясь. Но, отринув самый прекрасный, самый высокий жизненный ориентир и его земное продолжение — нравственный авторитет, человек всегда создает себе культ социальной и профессиональной иерархии. Он всегда холуй и хам одновременно.

Легко ли было Сальери попасть в круг Моцарта, и вдруг он тащит туда какого-то нищего музыканта. Нет, такого человека терпеть нельзя. Убийство есть идеальное завершение жизненной философии Сальери. И он приходит к неизбежному для себя выводу.

Теперь зададимся таким вопросом: почему Моцарт терпит возле себя Сальери? Причин много. Моцарт беспредельно доверчив. Тут опять же сказывается закон экономии энергии. Душа, отдающаяся творчеству со всей полнотой, не может выставлять сторожевые „посты“ самозащиты. Сторожевые „посты“ будут не оплодотворенными творчеством участками души. Не получается полноты самоотдачи.

Но это не единственная причина. Мы говорим, что великий талант — это великая душа. Великая душа — это беспредельное расширение личной ответственности за общее состояние. Если Сальери такой, значит, все человечество и сам Моцарт несут какую-то часть ответственности за это. Надо раздуть в душе Сальери полупогасшую совесть.

Таким образом, Моцарт хочет при помощи своего искусства и своей жизни, которая в идеале не может и не должна иметь ни малейшего противоречия с его искусством, возвратить Сальери к его истинной человеческой сущности. Искусство — чудо возвращения человека к его истинной человеческой сущности. И если ты действительно Моцарт, осуществляй это чудо, сделай из большого Сальери хотя бы маленького Моцарта! И в этом главная мистическая причина связи Моцарта с Сальери. Сальери возбуж-

дает в Моцарте великую творческую сверхзадачу, то, что Толстой называл энергией возбуждения.

Графоман берется за перо, чтобы бороться со злом, которое он видит в окружающей жизни.

Талант, понимая относительность возможностей человека, несколько воспаряет над жизнью и не ставит перед собой столь коренных задач.

Гений, воспарив на еще более головокружительную высоту, оттуда неизбежно возвращается к замыслу графомана. Гений кончает тем, с чего начинает графоман.

Пушкинский текст дает основание предполагать, что Моцарт знает о замысле Сальери, он даже угадывает, каким образом тот его убьет: отравит. Тут нет никакого противоречия между безоглядной доверчивостью Моцарта и его неожиданным прониканием в злодейские замыслы Сальери. Как только он понял, что Сальери потерял свою человеческую сущность и его надо возродить, он вовлекает его жизнь в сферу своей творческой задачи. Теперь его могучий дух обращен на Сальери, а раз так — он все видит.

За минуту до того, как Сальери всыплет ему в стакан яд, Моцарт напоминает, что, по слухам, Бомарше кого-то отравил. Слишком близко напоминание. Он дает Сальери последний шанс одуматься и отказаться от злодейского замысла. Он ему говорит:

Он же гений,  
Как ты да я. А гений и злодейство —  
Две вещи несовместные. Не правда ль?

В этом „Не правда ль?“ звучит грустная насмешка. Но все-таки он все еще пытается спасти Сальери, хотя только укрепляет того в его замысле.

Ведь Сальери уже готов к убийству, в душе он его уже совершил. А если гений и злодейство — две вещи несовместные, значит, он не гений, не худож-

ник высшего типа, каким он себя хочет считать и отчасти считает. В таком случае надо доказать самому себе и Моцарту, что гений способен на злодейство.

Поэтому он с такой злой иронией отвечает на слова Моцарта:

— Ты думаешь?

И подсыпает яд в стакан Моцарта. По-видимому, Моцарт медлит выпить. Сальери не по себе от этой медлительности Моцарта, и он нервно торопит его:

— Ну, пей же.

То есть давай кончать эксперимент, который мы с тобой проводим. Следующие слова Моцарта спокойны, как прощание с друзьями выпившего цикуту Сократа:

За твое  
Здоровье, друг, за искренний союз,  
Связующий Моцарта и Сальери...

Тут нет ни иронии, ни упрека. Тут последняя попытка вернуть Сальери к добру, искренности, бескорыстию.

Именно всему этому учил Моцарт своим великим искусством, а когда искусства не хватило, добавил к системе доказательств собственную жизнь, ибо жизнь, по Моцарту, — продолжение дела искусства. Такова грандиозная цельность и целеустремленность великого художника. Кажется, завершается жизненная задача, Моцарт сделал все, что мог. Он пользуется правом на усталость.

Моцарт пьет яд, и Сальери, вдруг опомнившись, с трагикомическим волнением восклицает:

— Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?

Тут особенно великолепно это „без меня“! Только что торопил: „Ну, пей же!“ — без малейшего намека на желание чокнуться бокалами, а тут оказывается неприятно удивлен торопливостью Моцарта.

Эта последняя многозначительная фраза произносится как бы под возможный тайный магнитофон полиции: не я его отравил! Мол, психологически невозможно так сказать человеку, которому подсыпал яд. Мол, из фразы явствует равнозначность содержимого обоих бокалов.

Сальери, укравший у Моцарта жизнь, выворачивается, выкручивается перед ним, благо формального доказательства у Моцарта нет.

Но он не только выворачивается, он еще и издевается над Моцартом, компенсируя униженность от самой необходимости выворачиваться и зная, что Моцарт из деликатности (по Сальери, особая форма трусости!) не скажет: „Ты убил меня“.

И это отчасти успокоит его слабую совесть. Тут Пушкин с болдинской свечой в руке провел нас по катакомбам человеческой подлости, которые позже с некоторой не вполне уместной, почти праздничной, щедкостью электрифицировал Достоевский.

Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня? .

Фраза эта, по-моему, имеет еще один, может быть, самый главный аспект. В ней угадывается ужас догадки Сальери. Догадки в чем? Что он преступник, убивший великого творца? Нет! Он догадывается, что его убийство — самоубийство! Сейчас Моцарт уйдет из жизни, и Сальери останется один. И отсюда сиротское, почти детское:

...без меня?

Можно отрицать Моцарта, пока Моцарт рядом. А что же делать, когда его не будет? Суета, копошение, бессмысленность жизни вне идеала, вне точки отсчета, вне направления.

Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?

Похоже, что опять виноват Моцарт; умирая от яда Сальери, он обрекает Сальери на сиротство. Нет чтобы умереть и одновременно как бы жить, чтобы Сальери имел человека, на которого равняться и кого отрицать.

Но круг замкнулся. Корысть Сальери заставила его убить собственную душу, потому что она мешала этой корысти. В маленькой драме Пушкин провел колоссальную кривую от возникновения идеологии бездуховности до ее практического завершения. Отказ от собственной души приводит человека к автономии от совести, автономия от совести превращает человека в автомат, автоматизированный человек выполняет заложенную в него программу, а заложенная в него программа всегда преступна.

Почему всегда? Потому что преступная корысть убивала душу человека для самоосуществления, а не для какой-нибудь другой цели. Непреступная цель не нуждалась бы в убийстве души.

Через сто лет победа сальеризма обернется пусть временной, но кровавой победой фашизма. И уже поэт нашего века Осип Мандельштам продолжит тему:

Он сказал: довольно полнозвучья, —  
Ты напрасно Моцарта любил:  
Наступает глухота паучья,  
Здесь провал сильнее наших сил.

Но вернемся к пушкинской драме, как бы к началу всего, что случилось потом, и в последний раз прокрутим слова Сальери:

Постой, постой!.. Ты вышил!.. без меня?

Наконец, кажется, Моцарту все это надоело. Он срывает с горла салфетку и восклицает:

Довольно, сыт я.



Яснее не скажешь: сыт ложью и лицемерием. Моцарт встает, чтобы разоблачить Сальери? Нет! Моцарт остается Моцартом, творчество продолжается, и, следовательно, продолжается закон экономии энергии, силовой заикленности.

Интересно с этой точки зрения перечитать „Гамлета“. Не потому ли он не может отомстить на протяжении всей пьесы, что он здесь тоже Моцарт, Моцарт мысли, анализа. Но Гамлет не прирожденный Моцарт мысли, он просто умный, думающий человек, потрясенный неслыханным коварством и вероломством людей, заикленный случившимся и превращенный в Моцарта мысли страстным желанием понять происходящее. Поняв, он перестает быть Моцартом и осуществляет возмездие по законам своего времени.

Итак, Моцарт встает, чтобы сделать еще один героический, невысказанный шаг в осуществлении своей жизненной задачи.

Своим великим искусством он не смог оживить омертвевшую душу Сальери. Готовностью пожертвовать своей жизнью, которая, как мы теперь уяснили, тоже является продолжением дела искусства, он не смог оживить мертвую душу Сальери, и самой пожертвованной жизнью, уже выпив яд, не смог.

И тогда он делает последнее, невероятное. Он действует на Сальери своей пожертвованной жизнью и искусством одновременно. Он ему играет свой реквием. Он играет своему убийце свой реквием перед собственными похоронами.

И Сальери не выдерживает. Косматая душа злодея содрогается. Он плачет. Так — впервые в жизни.

Моцарт уходит домой — уходит умирать. Моцарт победил, хотя бы потому, что до конца остался Моцартом, остался верен своей жизненной задаче.

Но сумел ли он оживить омертвевшую душу Сальери? На мгновение да. Пушкин, верный психологической правде, не дает более определенного отве-

та. Сальери остается в тревожном сомнении: а вдруг Моцарт прав — гений и злодейство две вещи несовместные? Нет! Великий Буонарроти тоже убил человека. А вдруг это клевета?

А Бонарроти? или это сказка  
Тупой, бессмысленной толпы — и не был  
Убийцею создатель Ватикана?

В голосе Сальери звучит отчаяние, страстная мольба разуверить в надвигающейся страшной догадке. Это крик во вселенную. Он хочет, чтобы вселенная ответила ему: был, был...

Но кто же ему ответит, если его низкий разум сам опустошил вселенную. И вселенная на его крик враждебно безмолвствует, потому что пустота всегда враждебна человеку.

И мы догадываемся, что теперь наконец к Сальери приходит возмездие, на которое Моцарт был неспособен. К Сальери приходит самое страшное для художника возмездие — он обречен на вечную тоску от вечного бесплодия. Ведь он, Сальери, когда-то был талантлив.

---

## ВОСПОМИНАНИЕ О РОМАНЕ

В тринадцать лет я впервые прочел „Анну Каренину“. Война подкатила к самому Туапсе. Сухуми несколько раз небрежно бомбили, и мы с мамой и сестрой переехали в деревню Атары, где жила мамина сестра. Мы наняли комнату у одной соломенной вдовушки, нам выделили землю под огород, где мы выращивали тыквы, дыни, помидоры и другие не менее изумительные по тем временам овощи.

В этом доме я случайно обнаружил книгу Толстого и прочел ее, сидя под лавровишней в зеленом дворике. Разумеется, навряд ли я тогда понимал многие особенности этого романа, но главное понял. Это видно из того, что я был потрясен так, как никогда не бывал ни до, ни после чтения этой книги.

Дня три я ходил как пьяный и мычал какой-то дикарский реквием по поводу смерти героини. И без того не склонный усердствовать лопатой и мотыгой, в эти дни я даже не откликнулся, когда мама и сестра звали меня на огород.

Опалывать глупые тыквы, когда мир вместе с Анной Карениной раздавлен под колесами паровоза?! Я шагал по селу, и траурный шлейф реквиема развевался за моей спиной. К сожалению, этот шедевр погиб навсегда по причине моей музыкальной безграмотности, а также отсутствия музыкальной памяти. Впрочем, возможно, я его вспомню, когда начну впадать в детство, из которого никак не могу до сих пор выпасть.

Чувствую, что начинаю сворачивать на знакомую колею. Каждый раз, когда мне предлагают все-речь говорить о литературе, меня начинает раз-бираться смех. Литература настолько серьезное дело, что говорить о ней серьезно — опасно. Кстати, аб-солютная серьезность фанатиков всякого дела — не прямое ли следствие иллюзорного сознания, что они полностью овладели истиной?

Вспоминаю впечатления, которые я вынес от того первого знакомства с „Анной Карениной“. Было жаркое лето, и я скучал по морю. Мелкие деревен-ские ручьи, где невозможно было всплыть, не уто-ляли мою тоску. И вот, может быть, поэтому во вре-мя чтения я испытывал приятное чувство, как буд-то плыву по морю. Впервые я читал книгу, под ко-торой не мог нащупать дна. Каким-то образом воз-никло ощущение моря.

Незнакомые сцены усадебной жизни воспринимал-ись как родные. Хотелось к ним. Хотелось посмо-треть, как аппетитно косит Левин, побывать с ним на охоте, поиграть с его умной собакой, посидеть с женщинами, которые варят варенье, и дожидаться своей доли пенек. Это был роман-дом, где хочется жить, но я еще этого не понимал.

И еще одно незнакомое ощущение — физическое обилие, необычайная телесность книги. Такого тоже я не замечал, читая другие книги. Телесность выла-мывалась из страниц, как перегруженная плодами ветка. Я как будто бы чувствовал, что это для чего-то автору нужно, а для чего — не мог понять.

Сейчас я думаю, что вот этим обилием телес-ности Толстой уравнивал свою психическую перегруженность, оздоравливал, заземлял себя.

Слишком большое количество французского тек-ста в „Войне и мире“ всегда раздражало. Указание Толстого, мол, наши деды не только говорили по-французски, но и думали на нем, ничего не объясня-ет. Достаточно было в конце длинного монолога, на-

писанного по-русски, добавить, что это было сказано по-французски, и это было бы ясно. Чем же это объяснить? Избыток сил, молодечество — другой причины я не нахожу. Толстой так хорошо знал французский язык, что на уровне Золя, вероятно, мог бы написать роман и по-французски.

Читаешь „Войну и мир“ и мгновениями кажется, что автор стыдится непомерности своих сил, то и дело сдерживает себя, роман развивается в могучем, спокойном ритме движения земного шара. Полный лад с собственной совестью, семьей, народом. И это счастье передается читателю. И что нам каторжные черновики!

Тургенев в одном письме раздраженно полемизирует с методом Толстого. Он говорит: Толстой описывает, как блестяли сапоги Наполеона, и читателю кажется, что Толстой все знает о Наполеоне. На самом деле он ни черта о нем не знает.

Наполеон — мировоззренческий враг Толстого. По Толстому, обновить человечество можно, только если человек, сам себя воспитывая, освободит себя изнутри. Именно этим Толстой и занимался всю жизнь. По Толстому, только так можно было и нужно было завоевывать человечество.

Наполеон, мечом завоевавший человечество, как бы заранее пародировал Толстого. Псевдограндиозность великого завоевателя дискредитировала всякую грандиозную задачу. Крайне неприятно для человека, поставившего перед собой именно такую задачу. И Толстой, как новый Кутузов, изгоняет Наполеона из области духа. Поэтому, по Толстому, Наполеон — это огромный солдафон и судить о нем никак выше сапога.

Пускать в ход собственный могучий психологический аппарат даже для отрицательной характеристики Наполеона Толстой не намерен. Он боится этим самым его перетончить. По Толстому, сложность зла есть надуманная сложность. В Наполеоне

Толстого никакого обаяния. Словно предчувствуя трагические события двадцатого века, он пытается удержать человека от увлечения сильной личностью, от еще более кровавых триумфаторов.

Свежеиспеченным студентом Литинститута в переделкинском общежитии я впервые читал „Бесов“ Достоевского, хохоча как сумасшедший над стихами капитана Лебядкина. Я уже знал, что Достоевский никогда стихов не писал. Тогда откуда такое пародийное мастерство? Я решил, что это плод фантазии тогдашнего графомана и Достоевский извлек его из тогдашней редакционной почты. Притом именно одного графомана. Единство почерка не оставляло никакого сомнения.

Через множество лет один знаток творчества Достоевского сказал мне, что это его собственные стихи. Все объяснялось просто. Достоевский так глубоко проникся сущностью своего героя, что во время работы над образом капитана Лебядкина сам превратился в него, и потому стихи получились подлинными в своем идиотизме.

Но зачем в сатирическом романе о левых экстремистах, выражаясь современным языком, этот псевдопоэт? Вольно или невольно Достоевский, обращаясь к своим героям, говорит: вот вы, а вот ваше искусство. Таким оно будет, если вы победите. У большого писателя ничего не бывает случайным.

Но это я понял позже. А в тот вечер, несколько приустав от чтения, я пошел в конторку, где наши студенты вместе с местной молодежью устраивали танцульки. И сразу же из скандальной атмосферы романа попал в скандальную атмосферу слободских страстей. Местные ребята не без основания приревновали своих крепконогих красавиц к нашим студентам.

Как бы изощренный многочасовым чтением Достоевского, я понял, что скандал грядет, и вни-

мательно вглядывался в шевелящуюся, стиснутую узким помещением толпу, как бы самой своей долгой стиснутостью порождающей желание размахнуться. Именно этого мгновения я старался не пропустить, и именно поэтому я его пропустил: неожиданно сам получил по морде. Парень, танцевавший возле меня, брякнулся и почему-то решил, что это я ему подставил ногу. Не успев осмыслить происходящее, я ударил его в ответ, и он опять упал. Видимо, склонность к падению заключалась в нем самом. Так он подготовился к вечеринке. Я пробрался к выходу, явно предпочитая скандал на страницах романа скандалу в жизни.

За ночь я дочитал роман, а утром в состоянии наркотической бодрости (разумеется, от чтения) вышел на улицу и увидел такую картину. Наша конторка начисто сгорела. Последние головешки устало дымились. Возле пепелища стоял наш студент и, эпическим жестом приподняв головешку, прикуривал. Оказывается, после моего ухода все передрались, а конторка сгорела.

Я почувствовал, что содержание прочитанного романа имеет таинственное сходство с тем, что случилось с конторкой, но тогда до конца осознать суть этого сходства не мог.

Всякого большого писателя можно сравнить и сравнивают с могучими явлениями природы: море, река, горный хребет, дуб, гроза. Единственный великий писатель, которого невозможно сравнить ни с одним явлением природы, — это Достоевский. Не получается.

Достоевский первый заметил, что изменился химический состав человека. Поэтому его противоположные герои столь естественны в своей противоположности. Главное его открытие — человек. Его романы — экологическое предупреждение человечеству: „Внимание, на тебя идет человек подполья!“

В сырости подполья человека греет лихорадка болезненной мечты. Исчезает самоирония, и ничто не мешает человеку подполья считать себя Наполеоном, которого заела среда. Количество унижений переходит в чудовищное качество самолюбия. Дай ему только вырваться, и он так отомстит за все свои унижения, как еще никто не мстил. Энергия самоутверждения распадающейся души, цепная реакция скандалов, предвестье атомной энергии. На этой энергии и держатся романы Достоевского. Никогда не возникало желания открыть роман Достоевского и прочесть какой-то отрывок. Не тянет. Только включившись в роман целиком (условия возникновения цепной реакции), мы проникнемся силой его адской энергии.

Однажды, когда я в течение многих дней не мог ни писать, ни читать, все книги казались невыносимо пресными, я автоматически открыл один из томов Толстого и стал читать случайно попавшийся мне кавказский рассказ.

И вдруг что-то сдвинулось внутри меня, словно заработал мотор души. Я с необычайным наслаждением прочел рассказ и почувствовал, что он встряхнул меня, привел в хорошее состояние. Я стал размышлять, в чем тайна этого рассказа. Казалось, в холодный, промозглый день после долгого плутания по улицам я вошел в теплый дом, полный дружественных, милых людей.

Да, Лев Толстой в каждом своем произведении создает дом, даже если внутри этого дома сомневаются, спорят: честно ли иметь дом? Даже если в конце „Анны Карениной“ этот дом (для нее) разрушается со страшным трагедийным скрежетом, даже если сам он не вынес свой собственный дом и покинул его. (Чтоб уйти из своего дома, надо было придавать ему очень большое значение.)

Но все его творчество — это добрый, разумный дом и самый уютный дом — „Война и мир“, где, мож-



но сказать, вся Россия покинула свой дом, чтобы защитить дом — Россию, и в силу диалектики творчества — невероятная домашность этого огромного эпоса.

И тут я вспомнил то давнее смутное впечатление сходства утреннего пожарища с ночным чтением Достоевского. Так вот в чем дело! Принципиальная бездомность, открытость всем ветрам в искусстве Достоевского.

Два типа творчества в русской литературе — дом и бездомье. Между ними кибитка Гоголя — не то движущийся дом, не то движущееся бездомье. Перед какой бы российской усадьбой ни останавливался ее великий путешественник, каждый раз он прощается с горьком смехом — Голодаловка Плюшкина, Обьедаловка Собакевича, Нахаловка Ноздрева... И только один раз прощается с нежностью и любовью — „Старосветские помещики“. С ними ему явно хотелось бы пожить.

Дом-Пушкин и почти сразу же бездомье-Лермонтов. Вот первые же строчки Лермонтова, которые приходят на ум: „...люблю отчизну я, но странною любовью...“, „Выхожу один я на дорогу...“, „Насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом...“

Какой тут может быть дом, если дом промотался. Все связано таинственной, но существующей связью. Непредставимо, чтобы Пушкин сказал: „Люблю отчизну я, но странною любовью“. Но и нет у него стихотворения с Родине, равного гениальному „Бородино“. Почему? Потому что мучительная раздвоенность Лермонтова в этом стихотворении счастливо преодолевается правотой великого дела защиты Родины и возможностью любить ее без всяких странностей. Поэтому его тоскующая душа с такой легкостью поднимает громадину „Бородино“.

Боевитость Пушкина при всем внешнем блеске

сомнительна. В знаменитом „Делибаше“ он любит-ся лихостью делибаша и казака. Но сам над схваткой. И любит, и посмеивается:

Мчатся, сшиблись в общем крике.

Посмотрите! Каковы?

— Делибаш уже на пике,

— А казак без головы.

Мы улыбаемся, а казак без головы, да и делибаш на пике. Одно дело — личная храбрость в жизни, другое дело — личная мудрость в творчестве. Гёте признавался, что талант его лишен боевитости. Очень характерно.

Пушкин стремится увидеть войну как еще одно проявление сгустка жизни. Лермонтов еще юношей догадался:

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой.

Это не сарказм, а психоаналитическая догадка. Только внешняя буря может уравновесить внутреннюю и дать покой.

Лермонтовский Печорин, сам того не желая, невольно разрушает дом контрабандиста, дом Бэлы, и даже маловероятный дом Грушницкого. И сам бездомный погибает где-то в Персии.

Пушкинский Евгений в „Медном всаднике“, защищая свое право на дом, восстал против Петра, за что поплатился безумием и в безумии переходит в естественное теперь для него состояние бездомности.

Конечно, как всякий образ, дом и бездомье носительны. Но я лично, читая Пушкина, Толстого, Тургенева, Гончарова, Чехова (поэтика дома), чувствую уют огороженности, одомашненности, окультуренности восплаемого пространства жизни. Отсюда обилие и красота жизнеутверждающих де-

талей — очей очарованье. В „Дорожных жалобах“ Пушкин пишет:

Долго ль мне в тоске голодной  
Пост невольный соблюдать  
И телятиной холодной  
Трюфли Яра помянуть?

То ли дело быть на месте,  
По Мясницкой разъезжать,  
О деревне, о невесте  
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,  
Ночью сон, поутру чай;  
То ли дело, братцы, дома!..  
Ну, пошел же, погоняй!

Очарование дома мы находим и в Белгородской крепости, и в семье Лариных, и даже в гениальном „Выстреле“, где, кажется, рассматривается совсем другой вопрос — философия мужества. По-моему, в этой вещи Пушкин разделил свою душу и отдал ее двум своим героям. Пушкин-Сильвио, как бы живущий строками:

И мщенья бурная мечта  
Ожесточенного страданья.

Пушкин, враг Сильвио, бесстрашный офицер, поедаящий черешни во время дуэли и выплевывающий косточки почти к ногам своего противника. Это прямой эпизод из жизни самого Пушкина. Таким он был во время одной из молдавских дуэлей. Сильвио, видя, что его противник несколько не страшится выстрела, оставляет его за собой: посмотрим, будешь ли ты таким, когда будет что терять, кроме собственной жизни. И действительно, в следующую встречу противник его дрогнул, боясь не за себя, конечно, а за любимую и любящую жену. Дом. Тема

ответственности. И Сильвио-Пушкин, дважды имея право на выстрел, не решается разрушить дом. Уходит.

Обаяние Пушкина, обаяние домашнего тепла. Он словно предвидел: придет многое другое, но этого будет не хватать. У Пушкина и снег теплый. Мы до сих пор греемся возле его веселого очага. Пушкин одомашнил всемирное, подобно тому, как Достоевский позже овсемирнил домашнее. Этим, я думаю, объясняется отсутствие у Пушкина космических мотивов. Космос невозможно утеплить, и Пушкин оставляет его Лермонтову и Тютчеву.

Возвращаясь к истокам, повторим: Пушкин — уют, упорядоченность, мудрость. Литература — дом. Если и трагедия — дома стены помогают. Обаяние Лермонтова — сила ума, красота дикости, бестрашие анализа.

Итак, литература дома и бездомья. Литература достигнутой гармонии и литература тоски по гармонии, как бы гармония настроенности перед воротами гармонии.

Под этим углом зрения можно рассматривать и всю мировую литературу. Пруст — дом. Хемингуэй — бездомье, но при этом настолько безнадежное и одновременно стоическое, что черты дома тщательно вносятся в бездомный быт: дружеская рыбалка, кафе, ресторан. Официант — ближайший родственник. Он лучшим образом накормит и напоит, справится о твоих делах, попросит не забывать и почаще заходить на огонек.

Отстоять свой дом пытается только Гарри Морган. Читая двухтомник Хемингуэя, изданный у нас после большого перерыва, я дошел до романа „Иметь и не иметь“ и вспомнил, что я его читал в детстве. По-видимому, я его читал в журнале „Интернациональная литература“. Это было совсем раннее детство, и воспоминание было сновиденче-

ским. Отчетливо запомнилось: болезненное, колющее, неприятное восприятие однурукости героя.

Уже взрослым, читая роман, я понял, что детское впечатление было верным, но суть его я тогда, конечно, не понимал. Только сейчас я понял, какая это гениальная деталь. Сильный, ловкий, мужественный человек потерял руку, но надо жить, надо кормить семью, надо добывать деньги. Положиться не на кого: думай своей головой, рискуй своей головой. Одинокий раненый волк, но и со своими твердыми понятиями о чести и справедливости.

Писатель множество раз подчеркивает затрудненность физических действий однурукого человека и мужественную пластичность, с которой герой все-таки преодолевает свою инвалидность, но до конца преодолеть не может, потому что это образ его внутреннего состояния. Однорукий, однукий, одинокий. Несмотря на то что в романе много движения, мы все время чувствуем какую-то заторможенность героя: он думает, думает, думает.

Как невозможно одной рукой поднять арбуз, так одинокому невозможно поднять социальную истину. И только уже погибая, в бреду, он понял то, чего не мог понять всю жизнь: человек не может один. Только вместе с жизнью исчерпав шанс одиночки, он понял, что этого шанса не было. Какая трагическая честность мышления. Это прекрасный социальный роман, думаю, еще недооцененный.

В начале двадцатого века в русской литературе утечка пушкинского тепла становится катастрофической. Философствующие босяки, плотоядные маги, спившиеся купцы, наглые репортеры, наркоманы, динамитчики, богоискатели. Нет дома, но есть кабак, нет свободы, но есть своеволие, нет бодрости духа, но есть алкоголь или идеи, возбуждающие, как алкоголь.

Кажется, о потерянном доме тоскует только Бунин, как бы насильственно выдворенный из девят-

надцатого века в двадцатый, как бы заранее уверенный, что из двадцатого века ничего путного не получится.

В революционных мотивах творчества Горького и Маяковского намечается совершенно новая тема: дом-будущее.

Идея дома и поэтика литературы дома с огромной силой выплеснулись в „Тихом Доне“. Тихий Дон — тихий дом. Горькая ирония. Это во многом загадочный роман. Я не знаю в мировой литературе произведения, где было бы описано столько смертей. Каждая смерть выстрадана автором, независимо от социального происхождения убитого. Каждый убитый лежит в своей неповторимой позе, потому что автор пристально вглядывается в каждого. Что это — песнь гибели казачества как особой нации внутри русской нации? Не знаю. Может быть.

Отказ от традиционного психологизма русского романа. Психологическая жизнь передается только через жест, через сказанное слово, через движение-поступок. При этом бесконечная поэтизация дома, казацкого быта, где каждая вещь ощупывается, рисуется, оплакивается с прощальной любовью.

Григорий Мелехов мечется между красными и белыми, он мучительно всматривается и вслушивается в их речи и каждый раз убеждается, что дом его обречен на гибель. Осознать гибель собственного дома как начало нового, будущего дома он не может и не хочет.

Дом-будущее, борьба за этот дом, ностальгия по этому дому — вот главная тема советской литературы, утвержденная творчеством Маяковского.

Пафос жертвенности, походного братства, романтического порыва, от целомудренной простоты в лучших произведениях советской литературы до симуляции индустриальных радостей (дом-домна), с оттенком мании преследования прошлым (кулаки, вредители); — в худших.

В какой-то момент наша литературная армия оторвалась от тылов нравственного снабжения. Тревожные сигналы „Нового мира“ Твардовского целенаправленно глушились критикой.

Но тема отчего дома должна была появиться, и она появилась почти одновременно у „деревенщиков“ и в городских повестях Юрия Трифонова. В философском плане они гораздо ближе друг другу, чем принято думать. Когда-то почти антигосударственный вопрос (этика похода) стал вопросом государственной важности:

— Ты жива еще, моя старушка?

От горького анализа того, что случилось с обитателями „Дома на набережной“ Трифонова, до „Последнего срока“ Распутина, от яростной борьбы за „Дом“ Федора Абрамова до „Живого“ (жив курилка!) Бориса Можая — все это общей лирики лента.

Наши современные споры о романе нередко отдают схоластикой. Например: должен ли положительный герой иметь недостатки и, если должен, какое приблизительно количество?

Я уверен, что когда художник почувствовал положительного героя и начинает его лепить, он вообще не задумывается о его недостатках. Писатель интуитивно и естественно ставит положительного героя в такие ситуации, когда недостатки его натуры могут вызвать только дружескую улыбку читателя. Так, любимый герой Толстого Пьер Безухов, если бы, скажем, стал командиром партизанского отряда, он бы, конечно, все развалил и вызвал бы наш читательский гнев. Но Толстой не мог и не хотел так испытывать непрактичность своего героя. Он любился его способностью при всех обстоятельствах жизни полностью отдаваться работе мысли и внушает читателю любить его именно за это.

Представления о равновесии положительного и отрицательного внутри романа — плод той же схоластики. Живое равновесие, гармония внутри рома-

на определяются только верностью внутренней задаче художника. Парад уродов в „Мертвых душах“ принимается таким же уродом Чичиковым, и у нас нет потребности иметь для равновесия положительного героя. Высокое нравственное небо самого Гоголя внутри романа считать положительным героем было бы демагогией.

Точно так же бесконечное количество положительных героев в „Войне и мире“ не вызывает ни малейшего ощущения, что Толстой намеренно приукрашивает своих героев. Все дело в верности внутренней задачи. Критика, в первую очередь, должна проникнуться ею и указать художнику на ошибки и фальшь в достижении его же собственной задачи.

Чем объяснить серость многих наших романов? Я думаю, главная причина — слабость или отсутствие вдохновения. Иногда большие художники признавались, мол, я не знаю вдохновения, я просто работаю. Верить им — заблуждение. Это говорится для красного словца, или вдохновение для них настолько естественное состояние, что они его и в самом деле не замечают.

Вдохновенное произведение сразу же дает нам ощущение сладостной победы разума. Нас подхватывает движение текста к цели, радостное — как езда в детство. Вдохновение — это состояние одержимости истиной, а истина бодрит.

Правильная идея сама по себе недостаточна. Правильная идея срабатывает только тогда, когда ее освежающая душу правильность открылась в личном опыте самого художника.

Представим себе ручей. До сих пор считалось, что его нельзя перейти, не замочив ноги. И вдруг нам открылась такая комбинация торчащих из воды камней, что, оказывается, можно его перебежать, не замочив ноги. Вдохновение — танец перебежки через этот ручей.



Вдохновение даже тогда, когда оно раскрывает нам трагическую истину, таит в себе некую радость. Истина бодрит. Радость познания истины в природе человека. Иначе не объяснишь, почему нам доставляет горькое удовольствие „Реквием“ Моцарта или сцена гибели Хаджи-Мурата.

Трагическое в искусстве можно уподобить прививке от смертельной болезни. Оно умудряет душу и облегчает встречу с трагическим в жизни.

Маятник литературы, не достигающий трагического, откачнувшись в обратную сторону, не достигает и комического. Нашим романам не хватает игры, смеха, шуток, гиперболы. Половина прелести Пушкина в игре. А как смеются Гоголь, Достоевский, Чехов, Маяковский!

Мы серьезные, как страховые агенты. Может, литература не наш дом? Может, нам слышится грозный шепоток: „Барин спит. Не разбудите барина“?

Вдохновение — это еще и чувство хозяина откровеннейшей истины: это я знаю, как никто другой, и я за это несу всю полноту ответственности.

Вдохновению может помешать многое. \*Собственное тщеславие, жадность: не дал созреть замыслу, поспешил. Талантливому, но по-человечески слабому писателю может помешать воспоминание о копье редакторского карандаша. Опережая движение этого копья, он может сам обойти острые углы, утешая себя мыслью, что и без этого много интересного в его вещи. Но себя не обманешь. Вдохновение требует абсолютной полноты самоотдачи, и, когда нет этой полноты, оно улечивается.

**Фазиль Абдулович Искандер**

**Софичка**

*Выпускающий Н.С.Мавлевич.*

*Художественный редактор Ю.В.Архангельский.*

*Технолог М.С.Белоусова.*

*Оператор компьютерной верстки А.В.Волков.*

*Зав. корректорской А.Ю.Минаева.*

*Зам. зав. корректорской Н.Ш.Таласбаева.*

*Корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский.*

Издательская лицензия № 101 053 от 4 апреля 1997 года.

Подписано в печать 24.03.97. Формат 60 × 90/16. Гарнитура Антикwa.

Печать офсетная. Объем 31 печ. л. Тираж 5000 экз. Изд. № 444. Заказ 3805.

Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казакова, 18.

*Отпечатано с готовых диапозитивов*

*в Государственном ордена Октябрьской Революции,*

*ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии*

*«Первая Образцовая типография»*

*Государственного комитета Российской Федерации по печати*

*113054, Москва, Валовая, 28.*

**И**мя Фазиля Искандера вошло на литературном горизонте вместе с "Созвездием Козлотура". Позднее "зоопарк" писателя пополнили "Кролики и удавы". Читателям полюбились абхазские картины "Дерева детства", давно стал знаменит и даже переключался на киноэкран Сандро из Чегема. Палитра Искандера – это терпкий юмор, язвительная сатира, тонкая лирика и высокая романтика. В последнее десятилетие усилились философские и трагические тона его прозы. Ими проникнуты включенные в сборник новые повести, рассказы и статьи, в которых слиты воедино актуальность, традиция и вечность.

